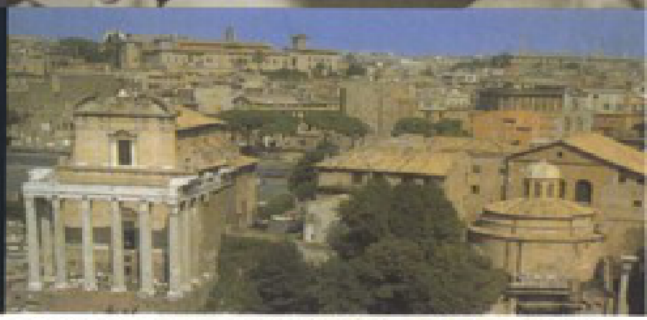
МАРК АВРЕЛИЙ



Франсуа Фонтен

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Известный профессиональный политик, автор работ «Кровь Цезарей», «Из злата бронзы», «Смерть в Селинонте» и других — Франсуа Фонтен, принимавший участие в создании современной единой Европы — Евросоюза, посвятил настоящую книгу римскому императору Марку Аврелию. Задачу автор поставил перед собой непростую: показать нам императора через анализ его удивительного и своеобразного дневника под названием «Размышления». Удачно вплетая внутреннюю историю жизни, историю души Марка Аврелия в ткань повествования, его рассуждения и мысли, он создает портрет императора-философа, императора-праведника. Перед нами предстает человек, который считает, что надо любить всех людей, даже своих врагов, человек, для которого все земные соблазны — богатство, власть, роскошь, раболепие окружающих — просто не существовали в природе.

- Франсуа Фонтен
  -
  - СВЯТОЙ ИМПЕРАТОР
  - Глава 1
    - Полтора века истории
    - Когда умирала Республика (44–27 гг. до н. э.)
    - Основатель (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.)
    - Деградация (14–98 гг. н. э.)
    - Реставрация (98 г. н. э.)
    - Исторические источники
    - Честный фальсификатор
    - Статистика Империи
  - Глава 2
    - Ученик Цезаря
    - Либеральная Империя
    - Каталог благодарностей
    - Размеченная карьера
    - Наследники Адриана
    - Плечи из слоновой кости
    - Первые перемены
    - Здоровый дух…
    - …в здоровом теле
    - Царевич-эрудит
    - Философия против риторики
    - Рустик, учитель стоицизма
  - Глава 3

- Возраст посвящения во власть
- Безмятежное терпение Антонина
- Марк и Фаустина на Палатине
- Душа в мраморе
- Третье лицо
- «Общий рынок по всей земле»
- Новая софистика
- Недвижный страж
- Свет и тени

○ Глава 4
- Безупречная интронизация
- Рождение и свадьба
- Первая волна бед
- Непогода в Европе
- Разгром на Ближнем Востоке
- Старый спор об Армении
- Парфянская война
- Ставка главнокомандующего на Палатине
- Сады на Оронте
- Трон Дария
- Есть ли обратный путь?
- Призрак третьей державы
- Месопотамская кампания
- Страшная победа Авидия Кассия
- Иранское убежище

○ Глава 5
- Империя доброй воли
- Умение принимать помощь
- Либерализм ограниченной власти
- Необычайный правитель
- Сенат: реальность мифа
- В средоточии исполнительной власти
- Бессмертные законники
- «Самую малость продвинуться»
- Коронация Фаустины
- Любовь к детям
- Психотерапия
- Мир и мор
- Парфянский триумф
- Апогей
- Передислокация

○ Глава 6
- Прорыв
- Неподвластная Германия

- Историческая туманность
- Великое переселение
- Подъем по тревоге
- Стечение обстоятельств
- Exit Lucius[44]
- Неравный брак
- Гален на просторе
- Марк Аврелий в строю
- Неизвестная война
- Прочие враги
- Как изучать историю по барельефам
- Неоднозначное величие

○ Глава 7
- Столица Империи — Карнунт
- «Писано в области квадов»
- Другое понимание
- Медицинская карта
- Детские травмы
- Язвенная болезнь
- Стратегия и магия
- Неизвестные сражения и тайная дипломатия
- Неверные союзники, ненадежный мир
- Беспорядки по всей Империи
- Процесс Герода Аттика

○ Глава 8
- Кассий: жребий брошен
- Марк Аврелий принимает вызов
- Невидимая трещина
- После Кассия
- Путешествие на Восток
- Ослепительный Египет
- Возвышение Коммода
- Апофеоз Фаустины
- Слово и таинство
- Град космический и град земной

○ Глава 9
- Коммод представлен Риму
- Ласковый отец
- Признаки спада
- Высшая государственная должность
- Правовое государство
- Люди за кулисами

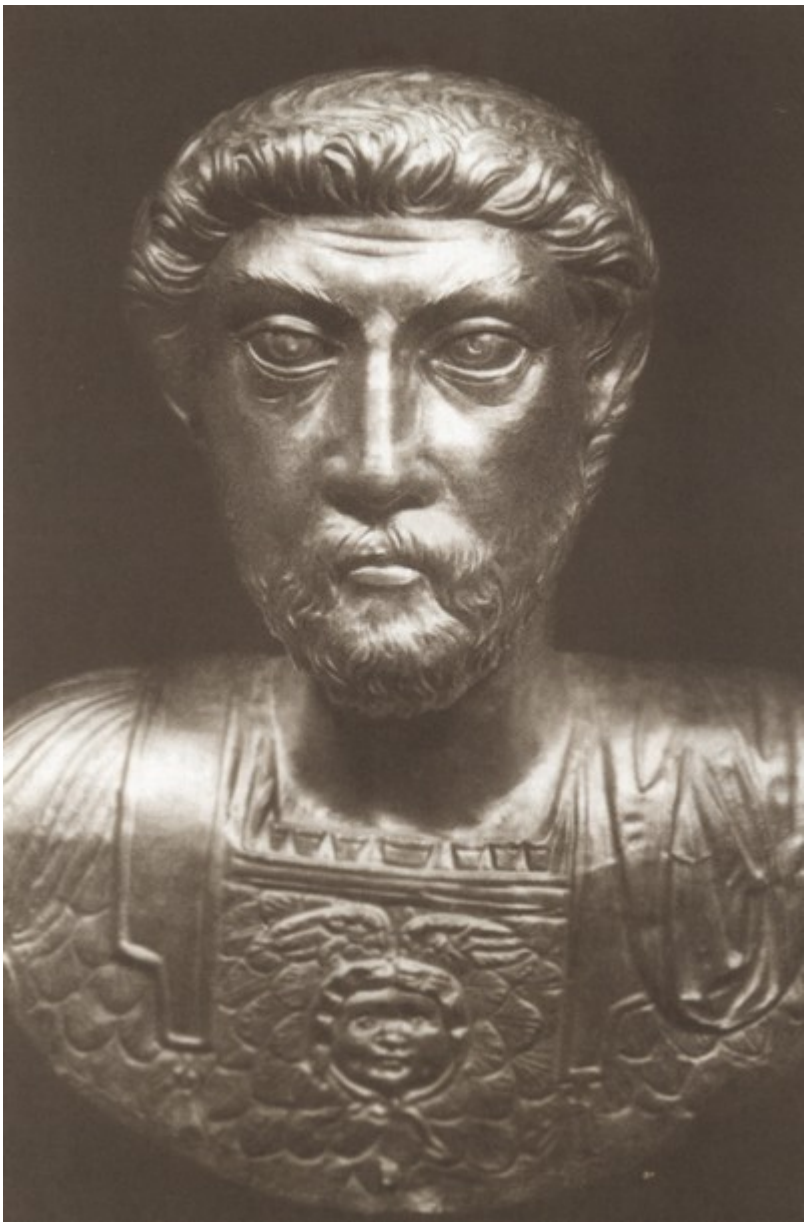
○ Глава 10
- Мы граждане

        - Лион, 177 год
        - Порог терпимости
        - Диалог невозможен
        - Добрый гонитель
        - Это свойственно человеку
        - Улей и пчела
        - Постылые зрелища
        - Идущие на смерть
    - Глава 11
        - «Поспешай к своему назначению»
        - «Погасить желание»
        - Вторая германская экспедиция
        - Одышка Империи
        - «Я клонюсь к закату»
        - Конец Антонинов
    - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
        - Легенда веков
        - Святой язычник
        - Политика возможного
        - Взгляд с другой орбиты
        - Был ли упадок?
        - Уроки для нас
        - Ошибка с противником
    - ПРИЛОЖЕНИЯ
        - БЕЗ ПИСАТЕЛЕЙ
        - БАЛЕТ ФАМИЛИЙ
        - РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ
        - ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СТАТУИ
        - СТИЛЬ МАРКА АВРЕЛИЯ
    - ИЛЛЮСТРАЦИИ
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
    - СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

Франсуа Фонтен
Марк Аврелий



Марк Аврелий.

СВЯТОЙ ИМПЕРАТОР
Вступительная статья

Марк Аврелий занимает уникальное место в истории. И не потому, что это был философ на троне. Философов на троне было много. Марк Аврелий был *праведник* на троне. При этих словах мы обыкновенно представляем себе царя Федора Иоанновича, милого, кроткого добряка, бросившего неприятные его чистой душе дела управления на умного преступного Годунова. Но Марк Аврелий не был Федором Иоанновичем. Дни напролет, без отдыха он занимался делами государства. Даже в цирке римляне видели своего императора погруженным в чтение официальных бумаг. При этом управлял он прекрасно. Империя при нем благоденствовала. Когда же началась война с северными варварами, император, облаченный в доспехи, сел на коня, возглавив армию, и разбил врага. Какой уж тут Федор Иоаннович! Но кто же тогда?

Не было ни одного из современных Марку Аврелию писателей, кто оставил бы нам портрет императора. Не то чтобы век этот беден был талантами. Напротив, то время иногда называют «Греческое Возрождение». Тогда жили Лукиан, Апулей, Элий Аристид, астроном Клавдий Птолемей, возможно, Лонг, автор «Дафниса и Хлои», и математик Диофант Александрийский. Но эта эпоха не родила великого историка. Мы как живого видим перед собой Нерона, нарисованного Тацитом, а образ Марка Аврелия остается для нас далеким и туманным.

Но есть один памятник, который приоткрывает завесу, скрывающую от нас императора. Марк Аврелий говорил, что человек часто ищет уединения. Это самое естественное чувство. Только уединение это надо искать не в глуши, среди гор и дерев, но уходя внутрь себя, в свою душу. И вот это-то уединение *внутри себя* он описал в удивительной книге, которая называется «Размышления» и адресована «самому себе». Это не философский трактат, не поучение потомкам; это своего рода дневник. Вел его император всю жизнь. Многие страницы написаны в палатке, в диких варварских землях, когда полководец сидел ночью перед скудным ночником после дня, полного боевых трудов. Это не описание событий, которым он был свидетелем, не история жизни *внешней.* Это, если хотите, история его жизни *внутренней,* история его души. Это не связный текст, не рассуждения, а отрывочные мысли, из которых вырисовывается портрет их автора.

Он живет во дворце среди роскоши и великолепия. Но ему чужд весь этот блеск. Пышный церемониал вызывает у него одно отвращение (I, 17). Он смотрит на драгоценное пурпурное платье и думает: «Это просто шерсть овцы, окрашенная выделениями улитки». Он глядит на стол, уставленный аппетитнейшими блюдами, и говорит себе: «Вот труп рыбы. Вот труп птицы. А это труп поросенка» (I, 13). Ночью он лежит на голых досках, прикрытых лишь звериной шкурой (I, 1–6). Он живет в согласии с природой с «безыскусственной серьезностью» (I, 9). Он всегда завален делами, но ни одно самое неотложное дело не служит ему оправданием, чтобы не выслушать ближнего, не помочь ему (I, 12). Иногда его мучат острые боли, иногда еще более страшные душевные страдания, когда умер его ребенок. Но окружающие не видят в нем перемены. Он всегда верен себе (1, 8).

Слова его иногда звучат сурово. Но суровость эта обманчива. Перед нами человек, полный глубочайшей любви к людям, кротости и смирения. Подчас, если бы мы не знали имени автора, мы готовы были бы поклясться, что строки эти писал христианин, притом христианин истинный, не на словах только, а на деле. Какой подлинно христианской кротостью проникнуты его слова. Я, говорит он, благодарю богов за то, что меня всегда окружали такие хорошие люди. И еще я благодарю богов за то, что «мне ни разу не пришлось обидеть никого из них, хотя у меня такой характер, что… я мог сделать что-нибудь подобное» (I, 19)[1]. И еще он смиренно благодарит небеса за то, что «не было случая, чтобы я хотел помочь бедному или вообще нуждающемуся, но должен был отказаться за неимением средств» (I, 17).

Никогда не следует отвечать злом на зло, говорит Марк Аврелий. «Лучший способ оборониться — это не уподобляться обидчику» (VI, 6). «Если можешь, исправь заблуждающегося; если же не можешь, то вспомни, что на этот случай дана тебе благожелательность. И боги благожелательны» (IX, 11). Если же ты все-таки поддашься гневу, есть верный способ его обуздать. Обрати свои взоры на самого себя и подумай, безгрешен ли ты сам? Наверняка у тебя самого есть сходный грех. Быть может, преступника толкнула на грех страсть к наживе. Тогда подумай, свободен ли ты сам от сребролюбия? Вспомни затем, что его наверно грызла нужда, которой ты не знаешь. Так лучше не осуждай, а помоги этой нужде (X, 30).

Любить надо всех, даже своих врагов. Помни — «даже ненавидящие тебя по природе твои друзья» (IX, 26). «Благожелательность, если она искренняя… есть нечто неодолимое. Что, в самом деле, сделает тебе самый разнузданный насильник, если ты останешься неизменно благожелательным к

нему… а в тот самый момент, когда он собирается сделать тебе зло, ты, сохраняя спокойствие, обратишься к нему: „Не нужно, сын мой: мы рождены для другого. Я-то не потерплю вреда, но ты потерпишь“». Только сказать это надо без внутренней обиды, без тайного желания покрасоваться собственным благородством, без снисходительного презрения к нечестивцу. И ни в коем случае не принимай вид наставника. Нет. Держись просто и смиренно (XI, 18).

Некоторые воображают, что гнев — признак мужественности. Неправда. Кротость и мягкость гораздо более достойны мужчины (ibid.).

А вот мысль, почти дословно повторяющая толстовскую: «Не живи так, точно тебе предстоит еще десять тысяч лет жизни. Уж близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим» (IV, 17). «И каждое дело исполняй так, словно оно последнее в твоей жизни» (II, 5).

Однако искренен ли император? Многие владыки прикрывали медовыми словами дела темные и страшные. Да и не только владыки. Сколько прекрасных истин изрек Сенека. Но современники поговаривали, что, проповедуя аскетизм и бедность, он грязными путями наживает неслыханные богатства, а толкуя о смирении, безудержно рвется к власти. Не тот ли случай мы имеем с записками императора-философа?

Но нет. Все современники и ближайшие потомки хором твердят нам, что Марк Аврелий — праведник, святой, равного которому не бывало. «Не было человека в империи, который бы принял без слез известие о кончине императора. В один голос все называли его кто лучшим из отцов… кто великодушным, образцовым и полным мудрости императором — и все говорили правду» (Геродиан)[2]. На похоронах его случилось неслыханное. Недавно еще люди рыдали и бурно сетовали. Но сейчас вдруг все успокоились и явились с ясными лицами. «Несмотря на всеобщую скорбь, никто не считал возможным оплакивать его участь; так все были убеждены, что он возвратился в обитель богов, которые лишь на время дали его земле» (Капитолин)[3]. Все последующие императоры громогласно утверждали, что будут подражать ему. Он был идеалом для Юлиана Отступника. Но и враги Отступника, христиане, гонений на которых, кстати, Марк Аврелий не отменил, называют его добрым, великим и мудрым. Его лечащий врач Гален говорит о доброте императора как о вещи общеизвестной.

Почти каждое положение из «Размышлений» Марка Аврелия доказывается его жизнью. Он говорит, что нельзя ни на кого гневаться. И вот мы знаем, как взбалмошные капризные риторы

бросали ему в лицо едкие и несправедливые упреки, а он неизменно сохранял доброжелательное спокойствие. Ни одно резкое слово не сорвалось с его языка. Он говорит, что надо быть снисходительным к ближним своим. Но судьба подвергла эту снисходительность большим испытаниям. Жена его была развратна; весь Рим гремел слухами о ее грязных и скандальных похождениях. Считали, что в конце жизни она вошла в заговор против мужа. Источники говорят нам, что император видел все, но терпел и прощал. В своих же «Размышлениях» он благодарит богов за то, что они послали ему такую жену (I, 17). Его легкомысленный и беспутный брат отравлял ему жизнь. Он был соправителем, но палец о палец не ударил, чтобы помочь Марку Аврелию. Вдобавок он кутил, бросал на ветер то, что годами скапливал в казне император. Его даже называли маленьким Нероном, хотя он и не был жесток. «Марк Аврелий, зная о нем все, делал вид, что не знает ничего, стыдясь упрекать брата»[4].

Против Марка Аврелия восстал Авидий Кассий, которого он облагодетельствовал. Сам Кассий был убит солдатами. «Для всех было ясно, что он (император. — *Т. Б.)* пощадил бы его, если бы от него зависело»[5]. Всех же остальных бунтовщиков он простил. Город Антиохия за свое восстание поплатился лишь тем, что на некоторое время был лишен права на публичные игры.

Марк Аврелий говорит, что всегда старался помочь ближним. И мы знаем, как усердно занимался он благотворительностью. Как заботился о воспитании бедных детей и сирот.

Он пишет: «Умирая, не ропщи, а благодари богов» (II, 3). И он умер именно так. Все поражались его спокойствию, благости и терпению в страданиях.

Мы должны признать, что Марк Аврелий был искренен. Таково было единодушное мнение всей Античности. Итак, некогда существовал такой праведник, и праведник этот управлял Империей. Но как это возможно? Неужели политик, облеченный вдобавок огромной властью, может быть, не говорю уже святым, но просто хорошим человеком? Как удалось достичь святости Марку Аврелию? С этим тесно связан другой вопрос: что вообще удерживает человека на трудной стезе добродетели? Ради чего должен он быть хорошим? Обратимся вновь к его дневнику.

Марк Аврелий был стоик, а значит, верил, что миром управляют благие и разумные боги. Он не раз говорил об этом. И первая мысль, которая приходит в голову, что награда ждет праведника на небесах. Эту мысль часто высказывали стоики. Персей, ученик Зенона Китийского, считал, что души праведников становятся божествами. Цицерон, одно время близкий к стоикам, уверенно утверждал в каждом своем диалоге,

что душа бессмертна. В «Сне Сципиона» герой поднимается на небо и видит на Млечном Пути сонм праведников. Именно там, когда душа сбросит оковы тела, начинается истинная жизнь. Убежденный стоик Катон Младший, когда Цезарь при нем сказал, что смерть — вечный сон, резко возразил: «Различны пути добрых и злых, и грешники попадают в места мрачные, бесплодные и отвратительные». Сенека же восклицает: «Этот краткий смертный век — только пролог к лучшей и долгой жизни». И он сравнивает земную жизнь с существованием зародыша в тесной темной материнской утробе. Но настанет день — день твоей земной смерти — и ты выйдешь оттуда. Тогда откроются перед тобой тайны природы, рассеется туман и в глаза тебе хлынет ослепительный свет. «Представь себе, каково будет это сияние, в котором сольется блеск бесчисленных звезд». Как же рисует рай для праведников Марк Аврелий?

И тут нас ждет неожиданность. Никакого рая нет, ибо нет вообще вечной жизни. Это не значит, что нет у нас души. Душа есть, это божественное начало в нас; о ней надо думать в первую очередь, махнув рукой на навязчивые требования тела. Но когда мы умираем, тело наше рассыпается на составные элементы, становясь землей, частью материи. Также и души наши разлагаются на элементы и возвращаются к «семенообразному разуму» (IV, 21). «Ты существуешь как часть Целого. Тебе придется исчезнуть в породившем тебя, правильнее, ты в силу изменений будешь поглочен его семенообразным разумом» (IV, 14).

Иногда говорят, что гелиоцентрическая картина мира мрачна. Ведь ранее Земля была в центре мироздания, человек же — в центре Земли. Само Солнце ежедневно совершало свой круг, чтобы согреть его, осветить его жизнь и дать созреть плодам земным, которые должны его насытить. Наука же разбила эту картину. Оказывается, Земля — ничтожная былинка, затерянная во Вселенной.

Но если мы рассмотрим мировоззрение Марка Аврелия, геоцентриста, религиознейшего человека, эта научная концепция покажется почти радостной. Земля, говорит он, — точка. Человек — былинка. Он стоит перед двумя безднами — прошлым и будущем. В них тонет все. «Сколько Сократов, сколько Эпиктетов поглотила уже вечность» (VII, 19). «Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет» (III, 10). Природа все время находится в движении — она рождает одно, поглащает другое, но ничего нового не производит. Все идет по кругу. Поэтому «безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую жизнь в течение сорока лет или десяти тысяч лет. Ибо что ты

увидишь нового?» (VII, 49) (IV, 14). «Что было вчера в зародыше, завтра уже мумия и прах» (IV, 49). «Сущность Целого подобна стремительному потоку; она все уносит с собой. Как жалки все эти политики!.. Хвастливые глупцы» (IX, 29). И самое сильное и страшное сравнение: «Для природы Целого вся мировая сущность подобна воску. Вот она слепила из нее лошадку; сломав ее, она воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревце, затем человека, затем что-нибудь еще» (VII, 33).

Смерть не зло, говорит Марк Аврелий. Она столь же естественна, как рождение или любовь. И принимать ее мы должны смиренно, безропотно, даже радостно. Это лишь простое разложение элементов, из которых слагается каждое живое существо (II, 17). «Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани; пора слезать» (III, 3).

Но, быть может, надо жить для славы, этого идола древних римлян, ради которого они готовы были пожертвовать всем? Увы! Она вызывала у Марка Аврелия только грустную и презрительную улыбку. «Время человеческой жизни — миг… Ощущение — смутно; строение всего тела — бренно; душа — неустойчива; судьба — загадочна; слава — недостоверна… Жизнь — странствование по чужбине; посмертная слава — забвение» (III, 17). И далее: «Все земное ничтожно. Ничтожна даже посмертная память — слава. Она ничто для умершего, ничто для живого, суетный дар» (IV, 19). Бездна забвения поглотит все дела человеческие. «Скоро ты забудешь обо всем, и все, в свою очередь, забудет о тебе» (VII, 21).

Итак, после смерти тебя ждет ничто. Даже память о тебе погибнет. Где же тогда получит праведник свою награду? Здесь, на земле, отвечает Марк Аврелий. Ибо «боги существуют и проявляют заботливость по отношению к людям» (II, 11). Но как же так, спросит читатель. Разве мы все не знаем, как часто праведников гонят, мучат, не ценят при жизни; как часто умирает честный труженик в нищете, всеми забытый. А вор или разбойник живет, как царь. А сколько прекраснейших людей погибали в ранней юности! Какие страшные болезни испытали! Это ли мировая справедливость? Это ли забота богов? Дело в том, объясняет Марк Аврелий, что все эти якобы блага — всего лишь горсть пепла (V, 33). «Смерть и жизнь, слава и бесчестье, страдание и наслаждение, богатство и бедность — все это одинаково выпадает на долю как хорошим людям, так и дурным» (II, 11). Все это и не добро и не зло. Ибо *зло для человека — только его собственный дурной поступок, добро — только его собственный добрый поступок* (VII, 74; 13). И боги позаботились о людях и дали им свободу воли и способность творить добро. «Они

устроили так, что всецело от самого человека зависит, впасть или нет в истинное зло» (II, 11).

Что остается в этом зыбком, темном и равнодушном мире? «Есть ли что-нибудь, к чему следовало бы отнестись серьезно?» Только одно — твори добро и покорно принимай все, что ни пошлют тебе боги (IV, 33). И «пусть будет тебе безразлично, терпишь ли ты, исполняя свой долг, от холода и зноя, клонит ли тебя ко сну или ты уже выспался, плохо ли о тебе отзываются или хорошо» (VI, 2). Ноги не требуют награды за то, что ходят. Ведь на то они и созданы. «Точно так же человек, рожденный, чтобы творить добро; сделав какое-нибудь доброе дело… выполняет тем свое назначение и должен считать себя удовлетворенным» (IX, 42). «Все человеческое — есть дым… Чего же ты еще добиваешься? Почему тебе недостаточно достойно провести свой краткий век?» (X, 31).

Некоторые находят эти слова странными. Одно чувство долга, говорят они, не может заставить человека держаться пути добродетели. Христианский богослов Лактанций писал: «Без надежды на бессмертие, которое Бог обещает своим верным, было бы величайшим неразумием гоняться за добродетелями, которые приносят человеку бесполезные страдания и труд» (Div. Inst., IV, 9). Один пассаж из «Размышлений», как мне кажется, объясняет поведение Марка Аврелия. Есть люди, говорит он, которые, сделав добро, немедленно требуют у должника благодарности. Другие не требуют, но так гордятся своим поступком, что в самой этой гордости находят награду. Но поступать надо иначе. Надо делать добро, не отдавая в этом себе отчета. Будь как лоза, для которой естественно приносить виноград (V, 6). В этом, мне кажется, разгадка. Не философия заставляла Марка Аврелия делать добро, не вера в богов, не мечта о загробных наградах, не страх перед вечными муками. Нет. Для него добро было естественной потребностью, и он творил его так, как дерево, приносящее плоды.

Вряд ли кто-нибудь усомнится, что для такого государя, как Марк Аврелий, высокий сан был в тягость. Все те соблазны, которые неодолимо влекут людей к трону — богатство, власть, роскошь, раболепие окружающих, — для него не существовали. Были лишь каждодневные утомительные обязанности и еще более утомительный из-за своей бессмысленности церемониал. И несмотря на всю силу воли императора, ему порой бывало нелегко. Вот один из примеров. Марк Аврелий много лет воевал, даже умер в военном лагере. И вот мы раскрываем его дневник и с изумлением узнаем, что войну он презирал и ненавидел, недорого ценил славу. Но слава полководца казалась ему уж

совсем ничтожной. Все полководцы в его глазах не стоили одного философа (VIII, 3). А вот, пожалуй, самая поразительная запись: «Паук горд, завлекши муху; кто гордится, подстрелив зайчонка, кто — одолев вепря… а кто — сарматов. Но разве не окажутся все они разбойниками, если поисследовать их основоположения» (X, 10). Действительно странные слова в устах императора, которого современники называли «доблестнейшим из полководцев» (Капитолин, 58).

Но он неуклонно следовал своему долгу, не жалуясь, не отлынивая от дела, не зная отдыха. «Есть люди, превосходящие тебя в искусстве борьбы. Но пусть никто не превзойдет тебя в преданности общественному благу» (VII, 52). А как он понимал это благо и свой долг государя? Тщетно мы будем искать в «Размышлениях» хоть какие-нибудь мысли о государстве и способе правления. Какая форма лучше — республика или монархия? Какой должна быть роль сената в Риме? Должна ли власть императора быть чем-то ограниченной? Все эти вопросы, так интересовавшие республиканца Цицерона, очевидно, совершенно не занимали Марка Аврелия. Многие философы увлекались построением утопий и идеального общества. Но Марк Аврелий, как мы узнаем из его дневника, относился ко всем этим проектам с полнейшим равнодушием. Чем объяснить этот странный феномен? Могут сказать, что политика вообще была противна Марку Аврелию. Верно. Но то был человек с необыкновенно развитым чувством долга. Боги поставили его во главе государства. Все свои силы он отдавал служению ему и просто обязан был думать о его устроении. Как же совместить с этим подобное странное равнодушие?

Дело в том, что император был убежден, что зло не в общественном строе, а в душах человеческих. «Кто изменит образ мыслей людей? А что может выйти без этого изменения, кроме рабства, стенаний и лицемерного повиновения?» (IX, 29). Поистине прекрасные слова! Но что же в таком случае остается правителю? Он должен заботиться о подданных и быть счастлив, если хоть немного облегчит их судьбу (ibid.). Так работал он изо дня в день. Внешние бури потрясали государство. Его самого терзали мучительные болезни. Дети один за другим умирали у него на руках. Жена, которую он так любил, строила за его спиной козни и позорила его имя. Его сын, единственный, которого сохранила ему судьба, был извергом и негодяем. Но ничто не могло заставить Марка Аврелия согнуться, отступить и бросить порученное ему Богом дело. «Я буду идти, неуклонно держась природы, пока не свалюсь; лишь тогда я отдохну, отдав свое дыхание тому, из чего я черпал его ежедневно, и

возвратившись… в ту землю, которая столько лет кормила и поила меня, которая носит меня, топчущего ее и пользующегося сверх меры ее дарами» (V, 4). Поистине у этого человека был железный дух.

* * *

Фигура Марка Аврелия во все времена привлекала к себе внимание. Однако предлагаемая читателю книга отличается от остальных. Дело в том, что писал ее не историк. Франсуа Фонтен — высокопоставленный чиновник в Европейском сообществе. Он много работал над созданием единой Европы. Иными словами, перед нами профессиональный политик. Римской империей он увлекается, увидев в ней прообраз единой Европы. Это может шокировать историков: как, о такой сложной переломной эпохе пишет человек, который даже источников в подлиннике прочесть не может! Но именно личность автора придает определенный интерес книге. В самом деле, математик лучше разберется в «Началах» Евклида, а астроном — в сочинениях Клавдия Птолемея, нежели любой историк. Быть может, и политик современный лучше поймет политика римского?

И действительно, Фонтен сумел взглянуть на Рим со стороны. Наши историки называют Рим первых веков нашей эры деспотией. И это естественно. Ведь они мысленно сравнивают его с Республикой, причем и ее-то считают недостаточно демократичной, потому что в свою очередь сравнивают с Афинской демократией. Но Фонтен сравнивает Империю с тем, что видит перед глазами и так хорошо знает — с современными демократиями. И он находит, что Рим мало чем от них отличался. Общество времен Антонинов было, по его словам, «либеральным и открытым». Была полная свобода слова, работало местное самоуправление. Император — тот же президент, только управляющий длительное время. Можно возразить, что императорская власть была наследственной. Но автор парирует этот довод. Во-первых, говорит он, «президентская власть имеет тоже тенденцию делаться наследственной»; во-вторых, императорская власть, строго говоря, не переходила по наследству. Считалось, что император выбирает самого достойного, усыновляет и передает ему власть. Поэтому Фонтен невольно представляет себе Антонина «затянутым в черный костюм, приносящим присягу на Библии в одном из современных англосаксонских парламентах».

При этом оба «президента» — и Антонин, и его преемник

Марк Аврелий — были выше всяких похвал. Антонин — образец бескорыстного служения обществу. Марк Аврелий — вообще «один из самых добросовестных правителей, когда-либо существовавших». Команда у них тоже была великолепная. Римская администрация работала честно, энергично и необыкновенно добросовестно.

Точно так же мы привыкли представлять себе Рим кровавым колонизатором, который соорудил свой трон на костях покоренных народов. Фонтен рисует совершенно иную картину. Он приводит слова грека Элия Аристида, современника своего героя: «Благодаря вам (римлянам — *Т. Б.)* весь мир стал общей родиной людям. Варвар и грек безопасно могут отправляться, куда заблагорассудится. Чужестранцы повсюду встречают гостеприимство. Каждое ваше дело подтверждает слова Гомера, сказавшего, что мир есть общее достояние… Повсюду вы улучшили жизнь, утвердили закон и порядок… Человечество… благодаря вам наслаждается благоденствием и процветанием». И автор говорит, что Рим действительно осуществил вековечные чаяния человечества. Все народы Средиземноморья цивилизовались, земли очищены от разбойников, повсюду проведены широкие безопасные дороги, введена единая монета, общие меры, честная администрация и, главное, всеобщий мир и порядок. «Появилась новая идея: идея общечеловеческой солидарности». Он описывает жизнь римской Галлии: тихая мирная страна процветала под надежной защитой Рима. Приведя множество фактов, автор иронически замечает: «Понятно, до какой степени мифичен образ распятой и растоптанной завоевателями провинции».

Фонтен приходит к парадоксальному на первый взгляд выводу: внешняя политика Рима в то время была самой миролюбивой! Действительно, Рим, утверждает он, занят был только тем, чтобы защитить своих цивилизованных и совершенно отвыкших от войны подданных от натиска агрессивных соседей. С одной стороны, была Парфия во главе с экстремистами-фанатиками, стремившимися смести с лица земли ненавистную западную культуру. С другой — варвары-германцы, которые напирали на границы империи, желая разграбить богатые культурные города.

Эта точка зрения полезна особенно нам, ибо в нашей науке долго бытовал односторонний взгляд на Рим как на мрачную тюрьму народов. При таком взгляде становится совершенно непонятно, почему в течение первых веков нашей эры все жители империи получили римское гражданство; почему жители завоеванных силой оружия Испании и Галлии с гордостью

называли себя римлянами; почему все средневековые папы и германские императоры пытались возродить Римскую империю. Мы знаем подобные колоссальные империи Востока, например Ассирию. Восставшие народы разрушили ее, стерли с лица земли великолепную столицу Ниневию, «логово львов», как называли ее пророки. Сама память о ней была предана проклятию. И греческие ученые тщетно спрашивали, где же находилась столица некогда мощной державы. Да и персы не оставили у покоренных народов доброй памяти. Между тем все европейские народы спешат возвести себя к римлянам, а папа называет себя pontifex maximus. Сам Фонтен, потомок галлов, завоеванных Юлием Цезарем, с гордостью утверждает, что его страна — истинная наследница великого Рима.

Все это, на мой взгляд, хотя и спорные, но удачные моменты. Менее удачно другое. Книга посвящена Марку Аврелию. Действительно, мы узнаем, чем болел император, имена его учителей, хронологию его походов. Но это только рамка портрета, а внутри нее пустота. Марк Аврелий для нас остается загадкой. Автор и сам это, видимо, ощущает. И вот он зовет на помощь врачей, сексологов, психоаналитиков. Мы не знаем, что это за человек, который среди грязи политики остался чистым, среди роскоши — нищим и всегда самим собой. Видимо, Фонтен полагает, что и добр-то император был от слабости. Между тем у каждого, кто прочтет «Размышления», остается впечатление огромной, хотя и мрачной силы.

Но почему же такое прекрасное, совершенное государство, каким была Римская империя, так быстро после Марка Аврелия погрузилось во мрак и смуту? Общество это, говорит Фонтен, не имело перспектив, ибо оно не знало научно-технического прогресса с его неисчерпаемыми возможностями роста. Поэтому кончается книга на оптимистической ноте — Рим погиб, но нам предстоит светлое будущее.

Из труда Фонтена рисуется такой образ. Марк Аврелий — последний осколок прежней культуры. На империю вот-вот хлынут варвары. Изнутри ее разрушает анархия и новое могучее духовное течение — христианство. Он же ничего не видит и не слышит, но мягко и бессильно протягивает руку, чтобы их остановить.

Татьяна Бобровникова

Глава 1
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИМПЕРИИ (27 г. до н. э. — 121 г. н. э.)

Когда-то привычные слова, а теперь ученая редкость. Так же имена прославленных ныне людей нынче некоторым образом — забытые слова: Камилл, Цезон, Волез, Дентат; а там, понемножку, и Сципион с Катоном, затем и Август, потом Адриан, Антонин… И это я говорю о тех, кто, некоторым образом, великолепно просиял… Вздор все это. Так что же есть такого, ради чего стоит усердствовать? Единственно справедливое сознание, деяние общественное и разум, никогда не способный ошибаться, и душевный склад, принимающий все происходящее как необходимое, как знакомое, как проистекающее из того самого начала и источника.

Марк Аврелий. Размышления, IV, 33[6]

Полтора века истории

По официальной римской хронологии, считавшейся от мифического основания Города Ромулом, Марк Аврелий родился 26 апреля 874 года. В нашем летоисчислении эта дата соответствует 121 году н. э. Чтобы точнее соотнести ее с течением римской истории, скажем, что это был сто сорок восьмой год Империи, основанной Августом: 16 января 27 года до н. э. Октавий, внучатый племянник Юлия Цезаря, взял себе новое имя и на дымящихся руинах Республики установил новый режим. Природа этого режима была неопределенной, конституции не существовало, но он казался вечным. Государство возглавляли уже пятнадцать Цезарей — вернее одиннадцать, если не считать эфемерных носителей этого титула, обладателями которого

становились отныне все правители. Одни из них были лучше, другие хуже; иногда их власть раздувалась сверх всякой меры, иногда правители вели себя очень скромно. Пресеклись уже две династии: Юлиев-Клавдиев (от Августа до Нерона, 27 г. до н. э. — 68 г. н. э.) и Флавиев (Веспасиан и его сыновья — Тит и Домициан, 68–96 г. н. э.). Вакуум, оставленный падением второй династии, которая, в свою очередь, утвердилась на развалинах первой, заполнила новая, которую в 121 году представлял Адриан. Прямой преемственности между всеми тремя вовсе не было.

В общем, фундамент у здания был солидный. Его архитектор Август оказался очень умелым; ему непрестанно воздавали хвалу. Наследники принимали его имя как залог благоденствия и зорко следили, чтобы поклонение ему не прекращалось повсеместно. Более того: только его имя они и почитали, делая все возможное, чтобы стереть из памяти людей или опорочить имя его непосредственного предшественника, в то время как сами вовсе не блистали добродетелями. В Риме не знали, что такое прогресс. Адриан был всем обязан Траяну и все делал наперекор ему. Но каков бы ни был по природе государь, будь он гениален, тщеславен или безумен, природа системы, налаженной Августом, пересиливала все — очевидно, потому, что была задумана в согласии с природой вещей. Поэтому надо вернуться к эпохе основания Империи: иначе нельзя понять политический, экономический и нравственный строй общества, при котором у сенатора Анния Вера III родился сын по имени Марк.

Когда умирала Республика (44–27 гг. до н. э.)

В результате убийства Цезаря, совершенного в Мартовские иды 44 года, образовалась пустота, заполнить которую преступникам было не под силу. Если Брут и Кассий думали восстановить Республику, уничтожив ее убийцу, то это были пустые мечты. Может быть, они хотели, чтобы не сбылась мечта Цезаря, но и это было неосуществимо. Никто никогда так и не смог сказать, что именно задумывал божественный Юлий и задумывал ли что-нибудь вообще. Понятно, что он хотел занять место, подобающее его необычайным способностям, а для этого надо было убрать старую элиту Города. Цезарь стал пожизненным диктатором, но собирался ли он, как подозревали, стать царем и основать монархию эллинистического типа со столицей в Риме или в Александрии?

Если он действительно вынашивал такие планы, то в глазах всякого истинного римлянина заслуживал смерти. После

изгнания Тарквиниев все потомки Капитолийской волчицы инстинктивно ненавидели царей. Они были не против временного или даже пожизненного единовластия[7], но не переносили мысли, что такая власть может быть наследственной, стать чьим-то личным достоянием. Мы никогда не узнаем, справедливо ли Цезарю вменяли эти намерения. Некоторые думают, что он и сам не понимал, куда шел. Как ни велик был его гений, время, чтобы Рим получил институты, соответствовавшие его новой всемирной роли, еще не пришло.

Но система кланов, соперничавших на Форуме, уже не подходила для потребностей завоеванного мира. Так можно было с грехом пополам управлять областями Италии вдоль Тибра, но дальними провинциями муниципальная администрация ни технически, ни морально править не могла. Время грабежа и эгоцентризма кончалось — надо было изобретать новые сбалансированные структуры, что еще не укладывалось в сознании. Помпей и Цезарь соревновались, кто больше совершит подвигов в дальних походах, покоряли миллионы квадратных километров ради расположения нескольких тысяч римских избирателей. Хотели они только одного: триумфа в Капитолии и избрания на государственную должность. Но при том они должны были управлять огромными территориями: от Африки до Испании и Галлии, от Атлантического океана до Черного моря и Ближнего Востока. Что они собирались делать, лихорадочно расширяя границы колониальной империи, никто так и не узнал, потому что они ушли из жизни раньше, чем это стало понятно.

В какой-то момент показалось, что их наследство перейдет к Марку Антонию, в чьих руках находилось завещание Цезаря. Но никто не принял в расчет незаметно появившегося в Риме провинциала Октавия[8], внучатого племянника диктатора. Этот девятнадцатилетний юноша мог законно предъявить свои права как приемный сын, но рядом с великолепным помощником Цезаря он казался хрупким и невзрачным. Октавий же повел дело в высшей степени ловко; после десяти с лишним лет беспокойного, противоестественного, страшно циничного и бесчеловечного союза, благодаря которому соперники сдерживали друг друга, первым занял боевую позицию. Он выбрал себе Рим, Италию и Запад, Антоний поставил на Египет, Клеопатру и Восток: реальность против мечты, два стремления римской души. Дело в конечном счете решил ветер: посреди Средиземного моря, при Акции, флот Октавия 2 сентября 31 года до н. э. обратил в бегство флот Антония. Большой вклад в победу внес главный флотоводец Августа Агриппа. Безумная любовь Антония к Клеопатре ускорила его поражение. Известно, как

победитель преследовал их и как они трагически кончили жизнь в Александрии.

Основатель (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.)

Завоевание Египта и овладение Востоком не вскружили голову Октавию. Он вернулся в Рим, чтобы установить законный порядок для объединившихся наконец-то частей необъятных владений Рима. Октавий замыслил изменить этот порядок, делая вид, что скрупулезно восстанавливает его. Его сдержанность, так непохожая на беспощадную жестокость при завоевании власти, была лишь простой осторожностью. Римляне и италийцы в любом случае желали, чтобы для великого дела общего примирения руки у него были развязаны. Пятнадцать лет гражданской войны разорили весь полуостров, семьи носили траур, частные состояния погибли.

Ради гражданского мира Октавий осторожно, ничего не нарушая, стал смещать центр тяжести власти. С помощью небольших перемен он присвоил себе все самые почетные и влиятельные старые должности. Он посадил в сенат новых сановников на место уничтоженных проскрипциями, но законы исходили от него. Впрочем, он был и принцепсом — первоприсутствующим в собрании сената. Консулы сохранили свои вековые атрибуты, но Октавий временно сам стал одним из консулов. Он оставил и институт народных трибунов, но ему были делегированы их неприкосновенность и право вето. Само собой, он сохранил «империй» над Италией и провинциями, в которых стояли войска, а потому получил и титул «императора войск», или просто императора. Наконец, он получил верховный понтификат, что сделало его главным лицом государственной религии. Осталось лишь констатировать его верховную власть, дав ему особый титул Августа — он предпочел его слишком устаревшему и скомпрометированному имени Ромула. Имя Август имеет религиозные коннотации (авгуры) и происходит от глагола *augere* — умножать, увеличивать. Так оно и было: Август все оставил на месте, но имел большую власть, чем любой другой, и обладал ни с кем не сравнимым почетом.

Деградация (14–98 гг. н. э.)

Республику никто не упразднял; законы утверждались сенатом и издавались от имени римского народа. Держа под контролем эту двусмысленную ситуацию, Август процарствовал еще сорок лет. Времени у него было достаточно, чтобы укрепить

воздвигнутое им здание, сочетая мелкие хитрости с большим здравым смыслом. Граждане не жаловались, что больше не избирали власть, — взамен они получили мир и стали лучше жить. Но в самый день смерти Августа режим разладился: император не установил неоспоримой процедуры наследования, что ослабляло Империю. Он надеялся передать власть естественным наследникам, но судьба распорядилась иначе. Поневоле пришлось передать престол нелюбимому зятю Тиберию. Этот мрачный, уже пожилой аристократ[9], возможно, предпочел бы олигархическое правление — республику благородного сословия. Но сенат был уже не тот, что раньше: он пал ниц перед Тиберием. Презиравший его Тиберий замкнулся в старческой мизантропии, а кончил отвратительнейшей тиранией.

Государственный аппарат остался без контроля, а поскольку институтов, стоявших выше отдельных личностей, не существовало, стало вообще трудно что-либо менять. Как можно было помешать полоумным и ненормальным злоупотреблять властью, сдержать которых могла только она сама? Мы не будем здесь останавливаться на эксцентричных царствованиях Калигулы, Клавдия, Нерона — они и так хорошо известны и не улучшают в наших глазах образ Империи. Здравый смысл мог быть привнесен только извне. В конце концов он воплотился в начальнике восточных армий Веспасиане, в Тите. Но после них полоумный Домициан в последние годы своего царствования вновь привел в действие машину чистки сената. У сената были и свои недостатки. Хотя он часто обновлялся, в нем по-прежнему царили кастовость и консерватизм, но императоры, имевшие добрую волю, могли с ним ладить. Кроме того, там было много компетентных людей. Именно в сенате отыскали и выдающегося юриста Нерву на смену убитому Домициану. С воцарением этого либерала на время показалось, что Республика восстановлена и в правящем классе установилось согласие. Но Нерва был стар, а преторианцы хотели запугать его. Тогда он совершил еще один отчаянный поступок — из тех, совершать которые совершенно неожиданно способны лишь так называемые «переходные фигуры», старые и безобидные правители: Нерва объявил, что наследовать ему будет безупречный, популярный военачальник Траян. Вскоре он умер. Этот эпизод продолжался всего шестнадцать месяцев.

Реставрация (98 г. н. э.)

Это было в 98 году. Весь облик Империи изменился. Впервые в Риме правила провинциальная династия: Траян происходил из

римских поселенцев, осевших в Испании. Его отец был сенатором, командовал легионом. Сам Траян тоже был командиром легиона в Рейнской армии. Он был силен и энергичен; его благородная натура открыла Риму путь к свободе и величию. Военачальник в нем, конечно, бывал слишком самовластен и нетерпелив, но его административный гений возродил Империю, которую он расчертил дорогами и обставил памятниками. Он был великим стратегом, но, пожалуй, слишком далеко продвинул границы своих завоеваний. Дакия (нынешняя Румыния) была понятной целью, но зачем он пошел в глубь Парфии до самого Персидского залива? Траяну пришлось отступить и на обратном пути бесславно скончаться в малоазиатском городе Селинонте. Рим, рыдая, похоронил его.

Племянник Траяна Адриан, тоже выходец из Бетики, принял наследство при неясных обстоятельствах[10] — но кому тогда приходило в голову оспорить права престолонаследия? Как мы увидим из биографии Марка Аврелия, «выбор лучшего лучшим» всегда оставался лишь мечтой тоскующих республиканцев. Впрочем, Адриан не сомневался и никому не позволял сомневаться, что он действительно лучший. Этот эстет, страстно влюбленный в эллинство, прекратил завоевательную политику, но легионы держал в боевой готовности. Все его двадцатилетнее царствование прошло в беспрерывных инспекционных и туристических поездках. Его не любил никто, а он любил самого себя и Антиноя. Проницательность позволила ему разглядеть ум и душевные достоинства мальчика Анния Вера, по первому имени Марк, своего внучатого племянника. На всякий случай он оставил его запасным наследником.

Исторические источники

В 121 году, когда родился Марк, Тацита уже наверняка не было в живых. Историк-консул свел все счеты с прошлым, и это были счеты не сенаторской касты, как часто говорят, а образованного общества, которому хотелось видеть главу государства серьезным и скромным. «Анналы» и «История» вынесли безапелляционный приговор безответственным правителям из династии Августа, и безусловно не могли не помочь наведению порядка, начатому Антонинами. В то же самое время и Светоний прославился «Жизнью двенадцати Цезарей». Впрочем, Светоний, как и Тацит, благоразумно оборвал рассказ на смерти Домициана. Тем не менее он навлек на себя гнев надменного Адриана, который уволил его с должности заведующего государственной перепиской — как говорят, за

слишком короткие отношения с императрицей. Обличил он и злоупотребления I века, правда, не столь высоким слогом, как Тацит. Несомненно, юный Марк вскоре прочел их сочинения, которые произвели на него определенное впечатление, хотя он нигде их не упоминает.

Впрочем, до конца столетия не явилось больше ни одного историка. Лишь около 160 года появилось новое поколение, которое вступило на службу, когда на престол взошел сын Марка Аврелия Коммод и начались десятилетия смуты. Свидетельства о Марке Аврелии оставили три современника, которые могли его видеть и, вероятно, были воспитаны на его культе. Двое из них, Дион Кассий и Геродиан, писали по-гречески, третий, Марий Максим, очевидно, по-латыни, но его сочинение утрачено.

Дион Кассий родился около 155 года в семье сенатора. При Коммоде он сам стал сенатором, при Северах был консулом, при Гелиогабале проконсулом. Его карьера развивалась успешней и ярче, чем его литературное дарование, которому он дал волю, сочинив «Римскую историю» в восьмидесяти книгах. Лишь некоторые из них дошли до нас отчасти в подлинном виде или в сокращении, составленные восемь столетий спустя византийским монахом Ксифилином. Но за неимением лучшего эти отрывки имеют для нас неоценимое значение. Геродиан тоже мог бы быть ценнейшим свидетелем жизни Марка Аврелия, но он смотрел с точки зрения скромного чиновника императорской администрации. Его произведение начинается с самых последних моментов жизни императора, но тем яснее в нем чувствуется смятение среднего класса от внезапного падения порядка так называемого века Антонинов.

Существование третьего историка, Мария Максима — соблазнительная и удобная гипотеза современных исследователей. Утверждается, что этот человек, о блестящей карьере которого нам достоверно известно, как известно и то, что она вполне соответствовала карьере Диона Кассия, написал продолжение «Двенадцати Цезарей» Светония, на которое ссылались позднейшие историки, располагавшие этим трудом. Конкретно речь идет о позднем сочинении, дошедшем до нас под общим названием «Жизнеописания Августов». Сочинение это посредственное, шероховатое, не слишком достоверное. Тем не менее оно остается основным источником по интересующему нас периоду. Содержащиеся в нем сведения о первых Антонинах говорят о существовании утраченного более раннего источника, а консул Марий Максим, имевший больше всего сведений о Марке Аврелии, представляется самым вероятным соединительным звеном между ним и автором его самой пространной биографии,

который в «Жизнеописаниях» именует себя Юлием Капитолином.

Честный фальсификатор

Капитолин — один из шести авторов сборника тридцати девяти биографий императоров, начиная с Адриана. Некоторые из них посвящены императору Диоклетиану, что позволяло датировать сборник самым концом III века. Так и полагали историки Нового времени, ничего не подозревая до тех пор, пока один немецкий ученый не догадался о масштабной литературной мистификации. Пришлось признать факт: Капитолина и его товарищей вовсе не существовало, а их произведение написано по крайней мере на сто лет позднее и, вероятно, одним автором. Зачем был нужен этот обман, к чему анонимность? На закате Империи «Жизнеописания Августов» должны были служить каким-то непонятным для нас целям политического воспитания. Во всяком случае, нас интересует лишь историческая ценность этих жизнеописаний, особенно биографий Антонина Пия и Марка Аврелия, подписанных нашим апокрифическим автором.

Уже несколько десятилетий целые коллективы исследователей бьются над этой проблемой; псевдо-Капитолина подвергли самой суровой проверке. Обнаружилось, что это довольно бездарный, примитивный, лишенный воображения писатель, который, очевидно, наспех и по заказу скомпилировал массу данных из книг своей библиотеки. Может быть, для нас и лучше: он ничего не выдумывал, а факты, поддающиеся проверке, обычно сходятся. Детали текста, скроенного из кусочков и обрезков, соотносятся с множеством свидетельств эпохи Антонинов: археологическими находками, монетами, надписями, памятниками, литературными произведениями. Автор не погрешил даже против хронологии — в общем, это был вполне добросовестный фальсификатор. Вот почему мы для удобства оставили ему его псевдоним, а из его свидетельств ссылаемся только на те, которые подтверждаются другими.

Статистика Империи

По оценке, в начале II века н. э. Империя в самой широкой части, от Марокко до Евфрата, простиралась примерно на 5000 километров, а с севера на юг, от Шотландии до Аравии и Асуана, примерно на 3000 километров. Ее защищала граница (limes) протяженностью 12 000 километров, хорошо охранявшаяся тридцатью легионами, стоявшими в постоянных лагерях. Лагеря были связаны между собой линиями укреплений, защищены

рвами и палисадами, прикрывались большими реками (Рейном и Дунаем), стенами (вал Адриана в Шотландии) или нейтральными зонами (Десятинные поля между Бонном и Регенсбургом в Германии, Сирийская пустыня). Буферными зонами служили и вассальные государства вокруг Черного моря, на Кавказе, в Армении. Мирные провинции управлялись сенатом, те, в которых находились войска, — императором. Всего провинций насчитывалось около сорока четырех. Половина из них завоевана или присоединена в эпоху Империи: германские провинции, Паннония к югу от Дуная, Каппадокия — Августом и Тиберием; Британия и Фракия — Клавдием; Дакия, Аравия, Армения — Траяном и т. д. Египет, который Октавий отобрал у Клеопатры, был владением императора.

Каждый из тридцати легионов, как правило, состоял из пяти тысяч человек под началом шестидесяти офицеров — центурионов, шести трибунов и легата. Армию составляли также вспомогательные войска, равные легионам по численности, и кавалерия — итого, 350 тысяч человек. К этим силам надо прибавить военно-морской флот с базами во Фрежюсе, Мизене, Равенне и Александрии. Еще один вооруженный отряд — преторианские и городские когорты, кроме которых никаким войскам не дозволялось находиться в Италии, — насчитывали около двенадцати тысяч отборных воинов.

Военный бюджет может быть оценен в 415 миллионов сестерциев плюс 40 миллионов пенсий отставникам, что составляло от 40 до 70 процентов всего государственного бюджета. Для сравнения: прокуратор (финансовый инспектор) получал жалованье от 60 до 200 тысяч сестерциев в год.

Доходы бюджета обеспечивались поземельной таксой (от нее освобождались Рим и Италия), податью, которую платили провинции, косвенными налогами (5 процентов — налог на наследство, 1 процент — сбор с аукционных продаж, шедший на военные нужды, 4 процента — на продажи рабов, 5 процентов — с выкупа вольноотпущенника, в среднем 2 процента — на ввоз товаров и подорожные) и как минимум наполовину доходами с императорских владений, поступавших в «казну Цезаря» (fiscus Caesaris). Император лично платил жалованье чиновникам и легионерам. Отдельно следует считать суммы, взятые от почти принудительного меценатства — они покрывали огромные расходы Империи на постройки, которыми кичились ее города.

Сведения о населении Империи ненадежны. По переписи 47 года н. э., насчитывалось 5900 тысяч полноправных римских граждан, то есть глав семейств. Но общее число жителей всех сословий в Риме и в провинциях, включая рабов, вероятно,

достигало 70–80 миллионов человек. Только в Сирии было 10 миллионов, а в Египте 8,5 миллиона жителей.

Глава 2
В НЕГО БЫЛО ВЛОЖЕНО ВСЕ (121–145 гг. н. э.)

Из меня что-нибудь выйдет, если ты пожелаешь.

Марк Аврелий. Письмо Фронтону

Ученик Цезаря

«У нас все хорошо. Сегодня я, соблюдая добрый распорядок дня, работал с трех до семи часов утра. С семи до восьми гулял в одних сандалиях перед своим покоем. Это было поистине очень приятно. Потом я надел сапоги и плащ — нам было велено представляться именно в таком виде — и пошел поклониться своему владыке и господину.

Мы поехали на охоту, где проявили доблесть. Говорят, мы взяли несколько кабанов, но мне не удалось их видеть. Потом мы поднялись верхами на очень крутой холм. После полудня вернулись домой, что до меня — к книгам. Я разделся, разулся, лег на постель и прочел две речи Катона. Окончив чтение, написал два отрывка, посвященных божествам огня и воды. Поистине сегодня я был не в духе: опыт дурен, в точности достоин тех охотников и сборщиков винограда, от гама которых я не могу укрыться и в комнате.

Кажется, я простудился. Потому ли, что на рассвете гулял, или потому, что написал дурную вещь, — не знаю. У меня обыкновенно бывает насморк, но сегодня он стал сильнее. Итак, долой масло из светильника, колпак на голову — и в постель! От верховой езды и насморка я вовсе лишился сил. Будь же в добром здравии, дражайший и любимейший из наставников, которого мне, смею сказать, не хватает больше, чем самого Рима…

Спал я долго, и моя простуда прошла. Сегодня с пяти до семи часов утра снова читал Катона и писал, немного получше, чем вчера. Пошел поклониться отцу, лечил горло водой с медом, которую после выплевывал, — так я передаю слово „полоскать“, которое встречается у древних писателей. Был рядом с отцом при жертвоприношении, и мы сели завтракать. Что я ел? Немного хлеба, а другие насыщались хлебом, луком и рыбою. Затем мы пошли помогать виноградарям. В полдень — снова домой.

Я немного поработал, потом долго разговаривал с матушкой, которая присела ко мне на постель. Я спросил ее: „Как ты думаешь, что делает сейчас мой Фронтон“? И она: „А ты как думаешь, что делает Грация“? И я в ответ: „А их воробушек“? Мы спорили, кто из нас больше любит тебя и ее, и тут ударили в било: оповещали, что отец отправился в баню. Ужинали после бани в давильне (не баня была в давильне, а ужин после нее). Шутки виноградарей весьма забавляли нас. А теперь, собираясь лечь на бок и опочить, я отчитываюсь о прожитом дне любимому учителю».

Автор этих простодушных писем — двадцатитрехлетний Цезарь, соправитель Империи, назначенный консулом следующего года. Он живет в сельской вилле в двадцати километрах юго-восточнее Рима. Его корреспондент — знаменитый адвокат, друг семьи, его наставник, преподающий ему также высший курс риторики. Неотложные дела задержали его в столице с женой и маленькой дочкой. «Отец», о котором говорится в письме, — царствующий император, дядя автора, усыновивший его согласно династическому плану своего предшественника, скончавшегося семь лет тому назад. «Матушка» — родная мать Цезаря, двадцать лет назад овдовевшая.

Все эти люди несметно богаты, владеют огромными угодьями и мануфактурами, не говоря уже об императорской казне, вполне легально не отделенной от частного состояния государя. В их распоряжении десятки дворцов в Риме, в Италии и по всей империи. Но атавистическая любовь к простоте удерживает их в деревенских домах — старых ухоженных поместьях, где к хозяйскому дому примыкают службы, а рядом с термами стоит давильня. Да и создан этот тип виллы для полного самообеспечения. Кузницы, ткацкие станы, мельницы, стада дают все необходимое для семьи в течение ее отдыха. Когда самый богатый человек на земле именуется просто Антонином, он живет только тем, что дает ему маленькое имение Лорий в Лациуме. Он вовсе не скуп. Просто он — богатый провинциальный помещик, родом галло-римлянин.

Те же склонности и у его приемного сына Марка Аврелия. Но воспитан Марк не приемным отцом, а в Риме собственной матерью и родителями отца, по происхождению тоже провинциалами — испано-римлянами. И если в его письмах чувствуется некоторая похвальба самодисциплиной, которую он соблюдает сверх меры, — быть может, это потому, что некогда его предки дышали сухим воздухом и обитали на скудной почве Бетики. У него нет, как у его отца-императора, интуитивной, непосредственной связи с плодородной почвой Лациума, для него

она служит только подходящей метафорой, да и то случайно.

И вообще кратчайший путь к любым вещам для юного Цезаря в этот момент проходит через риторику, которую преподает ему адвокат Фронтон. Но он уже начал заниматься и философией — главной соперницей риторики в римском воспитании. Честолюбивые дед с бабкой рано стали развивать и культивировать естественную склонность молодого Марка к самонаблюдению и диалектике: они спешили раз и навсегда связать себя с самой верхушкой государства. И это им прекрасно удалось: именно образованность мальчика привлекла к нему внимание двоюродного деда Адриана, не имевшего детей.

Марк Аврелий стал императором: дело было блестяще доведено до конца. Он получил надлежащее воспитание для исполнения властных полномочий: при Адриане власть стала обязанностью, требующей высочайших административных и юридических знаний. Главным теперь было хорошо распоряжаться наследством: завоевания и новые идеи после неубедительных походов Траяна полувековой давности не стояли на повестке дня. Что касается моральных качеств юного кандидата на престол, избранного помимо собственной воли, они явно соответствовали его прямому и честному уму. Раньше и серьезнее, чем могли научить его лекции двадцати пяти профессоров, он впитал в себя «колониальные» традиции ригоризма и сосредоточенного труда. А сравнительно недавно он, к великому неудовольствию Фронтона, увлекся учением стоиков. Пока великий император удил рыбу, он читал Катона[11].

У обоих первых лиц империи была общая страсть: прогулки верхом. Пятидесятидевятилетний высокорослый Антонин выезжал с образцовой для римского сенатора статью и элегантностью. Он был красив и дороден. Император благоразумно поддерживал телесное и душевное здоровье. В частности, когда в аристократическом обществе практиковалась ежедневная охота. Марк был ниже ростом, хрупче телом, часто жаловался на боли в горле и желудке. Он плохо спал и ел, а наложенные им на себя стоические ограничения возвышали его дух, но плохо сказывались на физическом состоянии, что вызывало беспокойство матери. И все-таки он ездил верхом: это еще почти две тысячи лет оставалось необходимо для человека, занятого активной деятельностью.

Его мать Домиция Луцилла — редкий уже в то время тип настоящей древней римской матроны. Вопреки обычаю, при Августе узаконенному, после смерти мужа Анния Вера она больше не вышла замуж. Конечно, она при этом потеряла в наследственных правах и социальном статусе, но богатства и

почета у нее оставалось достаточно, чтобы вдова, которая могла сделать самую блестящую партию, позволила себе предпочесть независимость. По всей видимости, она употребила ее только для воспитания и возвышения своего сына. Еще у нее была дочь, которой три года назад справили пышную свадьбу с богатым приданым. Домиция разговаривает с двадцатитрехлетним сыном как с маленьким, сидя у него на постели. Она все еще главная женщина в его жизни — и, похоже, останется ею навсегда. Между тем Марк уже семь лет как обручен со своей кузиной, дочерью императора Фаустиной, которой теперь шестнадцать лет. Он давно мог бы на ней жениться, но, видимо, попросил еще время подумать. Все с уважением отнеслись к его осторожности, но дальше откладывать решительный час уже нельзя. Фаустина — несущий элемент династической конструкции, и Марку ее не миновать. Императрица-мать, которую теперь называют Фаустиной Старшей, умерла пять лет тому назад. Дочь унаследовала ее красоту и, без сомнения, властный характер. Будущей весной Марк совершит обряд, а пока болтает с матушкой, которая все время оставалась с ним рядом — неприметная, но бдительная. Она не успокоится, пока ее сын не станет зятем Антонина и отцом новых Цезарей, пока его связь с династией не станет неразрывной. После этого он получит и tribunicia potestas — «неприкосновенность народного трибуна», которая сделает его личность священной.

Старому Катону, великому Вергилию, моралисту Сенеке, гуманисту Плинию понравилась бы эта царственная простота. И в самом деле, перед нами совершенный пример исполнения очень древних и глубоких чаяний римлянина. Возврат к природе был не только литературной модой, а желание поселиться в деревне — не только мечтой горожан. В упорных буколических стремлениях следует видеть инстинктивную потребность существа, живущего в постоянной тревоге, агрессивного и подверженного агрессии, обеспечить себе тыл, почерпнуть сил у своих истоков перед лицом бесконечных сражений, избранных им добровольно или ему навязанных. Гражданину, рожденному свободным и желающему остаться свободным, природа кажется последней защитой от смертельного риска, связанного с политикой, а если он философ — еще и от скверны жизни в обществе.

В племенном обществе, где изолированный человек не имеет ни малейшего шанса выжить, попытки убежать и скрыться или сосредоточиться на себе одном совершенно иллюзорны. Но миф был прочнее любых опровержений. Крупный землевладелец Антонин, ставший хозяином всех провинций, думал, что можно уйти от физического и морального гнета Города. Вундеркинд

Марк Аврелий в уединении искал философию, предмет которой — единение всего человеческого рода. Они прожили свою жизнь гармонично, и это заставляет нас верить, что они преодолели в себе внутренние противоречия. Но ценой каких компромиссов и скорбей — это тайна, к разгадке которой надо приблизиться.

Либеральная Империя

Династия Антонинов правила большую часть II века н. э. Древние историки дали ей имя двух самых почитаемых императоров: Антонина, прозванного Пием (Благочестивым), и его приемного сына Марка Аврелия, прозванного Антонином Философом. С тем же правом она могла бы называться именем своего первого эфемерного императора Нервы, или, еще лучше, своего настоящего основателя Траяна.

Нерва, как мы видели, был старый юрист, уполномоченный сенатом восстановить мифические республиканские вольности, о которых мечтала римская элита при тирании Домициана. Когда тот был наконец убит своими приближенными, Нерва поклялся никогда не осуждать на смерть ни одного сенатора. Это соглашение о перемирии, заключенное людьми высшего общества между собой и всегда должным образом соблюдавшееся, не могло не иметь серьезного влияния. Пусть оно было вызвано чисто эгоистическим инстинктом самосохранения правящего класса, но, опосредованно действуя на клиентуру высокопоставленных лиц, чем дальше, тем больше вело к восстановлению личной безопасности и обеспечению собственности в римском обществе. Нерва запретил доносы и произвольные конфискации, попытался вернуть преторианцев в казармы, а главное — постарался как можно скорее передать власть весьма уважаемому военачальнику Ульпию Траяну. Тот установил в Риме самый толерантный, если не либеральный, и уж во всяком случае самый гуманный режим, который когда-либо видели там. Он заслужил имя Optimus Princeps, но испанская династия, которую Траян привел к власти, стала называться династией Антонинов, а не Ульпиев, и это лишний раз указывает, чем в то время больше всего дорожили. Народное чувство, которому неприступность и равнодушие Адриана, преемника Траяна, были неприятны, а его интеллектуальные достоинства безразличны, узнало себя в двух следующих государях — простых и добрых. Религиозная душа Империи нашла своих святых, и потомство утвердило этот выбор. Даже современная историческая критика почти не ставит под сомнение эту легенду — разве что указывает, что крупный землевладелец Адриан был консерватором, а стоик Марк Аврелий

— фаталистом. И действительно, эти святые не были пророками. Но тогда, во второй половине II века, богатое общество желало прочного общественного порядка, цивилизованной морали, миролюбивого государственного строя, надежного управления. Скорее всего, там не было места для масштабных политических прозрений. Никто ясно не видел, чего желают неудовлетворенные классы, не слышал подземного гула новых духовных течений. Империя была совершенной административной, судебной и военной машиной. Проблемы в ней решались неторопливо, тогда, когда их уже нельзя было не заметить или отложить. Все устраивалось надолго. Никто не забывал о совершенствовании нравов, гуманизме, равенстве возможностей, но ощущения неотложной надобности перемен, которые могли бы потрясти общественный порядок, тогда не было. Самые жгучие амбиции сводятся к личной карьере, тысячи клапанов предохраняют от взрывов. Господствующая философия, которую будет разделять и наследник, готовый соответствовать всем ее требованиям, исходит из представления о линейном времени, о вечном возвращении.

В поместье под Римом была не только удобная вилла с жилыми покоями и термами да сельскохозяйственные угодья с винными погребами и давильнями. Другие здания в парке были заняты административными службами, жилищами чиновников и сановников всех рангов, охраны. За исключением виллы Адриана в Тиволи, время ничего не сохранило для нас из этих центров принятия решений — филиалов Палатинского дворца, рассеянных по уютным местам Италии, куда переселялись Антонины, чтобы избежать давления не любимого ими Рима. Мы должны представить себе рассредоточенный аппарат поразительной машины, управлявшей миром от Шотландии до Аравии, от Пиренейского полуострова до Каппадокии. Его деятельность координировал префект претория, сидевший в Риме на Виминале и принадлежавший к сословию всадников; ему подчинялись ведомства администрации, также возглавляемые всадниками (второе по рангу сословие после сенаторов). В распоряжении префекта находились также силы безопасности в составе преторианских когорт, которыми он сам командовал, и учрежденных Адрианом «страторов» и «фрументариев». Курьеры постоянно скакали по дорогам Лациума и большим стратегическим дорогам, протянутым Адрианом по всему миру (он занимался этим почти все свое царствование).

Средства сообщения играли главную роль в укреплении Римской империи, и это делает понятными фантазии, которые нам кажутся совершенно нелепыми. Тиберий затворился на

Капри, Адриан вел бродячую жизнь — и это при том, что оба императора имели репутацию чрезвычайно дотошных и превосходно информированных. Конечно, эти фантазии очень дорого стоили: недаром ведь Антонин, решив сократить расходы, обе свои загородные резиденции устроил вблизи Рима: одну к северо-востоку от него, в Лории на Аврелиевой дороге, где он был воспитан, другую к югу, в Ланувии, где родился. Но в действительности ссылка на экономию служила только для того, чтобы как-нибудь его не упрекнули в чрезмерном домоседстве. Марк Аврелий рядом с ним настолько привык к тому же, что, говорят, только два раза за двадцать лет, проведенных при Антонине, отлучался из его резиденции, и то лишь на одну ночь. Потом же он удалялся от Рима только тогда, когда этого требовали драматические обстоятельства — в последний раз навстречу смерти.

Такое постоянство было совершенно необычно для римских императоров. «Куда ты бежишь, Друз?» — спросила брата Тиберия германская жрица, предсказавшая его гибель. Причин куда-то отправиться находилось множество: чувство долга, удовольствие, угроза государственной границе. Среди причин мог быть и тяжелый характер (как у Калигулы и Нерона), и мечты о славе (как у Траяна) или любознательность эстета (как у Адриана). Но надо поискать и более глубокую причину: на деле римский император держался благодаря своим солдатам. Он не мог находиться в безопасности среди роскоши своих дворцов, среди непостоянного римского народа. Его охраняла преторианская гвардия, но следовало надзирать и за легионами в провинциях с их блестящими полководцами. Чтобы их слава стала в первую очередь императорской, ему нужно было иногда ходить в походы вместе с ними, а поскольку вместе с ним шли и преторианцы, безопасность его была обеспечена, а по возвращении именно его ожидал триумф.

Но если это было условием безопасности и популярности, то каким образом два государя, поставленные на царство только сенатом, а армией лишь пассивно признанные и никогда не командовавшие легионом, могли спокойно править, живя в загородном доме и не считая нужным показываться перед строем своего войска? Как два владыки провинций заслужили любовь и почитание миллионов людей, принадлежавших к тысячам племен, которые видели их разве что на редких в то время монетах? И чем была обеспечена безопасность Империи, окруженной неспокойными народами, если у ее верховных командующих не было никакого военного опыта?

Возможно, ответ на этот вопрос дает дальнейший ход

истории, в конце столетия увидевшей падение династии слишком благоразумных управленцев: перед лицом беспорядков, которых даже представить себе не могли, они оказались слепы. Но было бы несправедливо ставить упадок Рима в вину толерантности и миролюбию Антонина и Марка Аврелия, если только не считать виновным всякое цивилизованное или цивилизующееся общество. Если ответственные лица и элиты Империи думали — и не без причины, — что сложились благоприятные условия для серьезного нравственного прогресса, правильно ли было бы отказаться от такой возможности ради унылого реализма? Рядом с ними, конечно, были и такие, что утверждали именно так (ниже мы увидим свидетельства тому), и теперь в свете дальнейших событий многие говорят, что они были правы. Эту проблему надо рассмотреть внимательно, потому что mutatis mutandis мы видим, что она остается одной из центральных и в современном западном обществе, когда многие боятся, что прогресс мира и благосостояния может привести к анемии и безволию. Так что приготовимся, говоря о Марке Аврелии, постоянно сталкиваться со спорами о величии и упадке Рима.

Каталог благодарностей

«1. От деда моего Вера — изящество нрава и негневливость.

2. От славы и памяти, оставленной по себе родителем, скромное, мужеское.

3. От матери благочестие и щедрость, воздержание не только от дурного дела, но и от помысла такого. И еще — неприхотливость ее стола, совсем не как у богачей.

4. От прадеда то, что не пошел я в общие школы, а учился дома у хороших учителей и понял, что на такие вещи надо тратиться не жалея» (I, 1–4).

Так, главой о том, кому чем обязан автор, начинается книга «Размышления». Марк Аврелий без гордыни и, кажется, не без резона думает сам о себе как о редком, образцовом продукте своего времени, чье предназначение — служить людям. Как будет видно дальше, он имеет в виду не предопределение, а особую удачу, за которую он благодарен богам. Сверхъестественная удача — иметь замечательных родителей. А дальше все зависит от среды и тщательного выбора наставников и друзей. Перед нами крупным планом разворачивается картина воспитания правящего класса в Риме. Как правило, это воспитание было очень строгим, а в случае юного Вера — ни с чем не соразмерным, а вернее, соразмерным с тайными амбициями клана, стремившегося к власти. Вот почему все имеющиеся у нас сведения о том, каким

образом все это было задумано, проведено и доведено до конца, могут помочь нам проникнуть в тайну римского могущества.

Ведь это действительно тайна. На первый взгляд случай Марка Аврелия доказывает, что обычный человек в Империи мог достичь вершины власти без наследственных прав и без государственного переворота. Он был избран лучшими как лучший. Такова была, по крайней мере теоретически, система передачи власти при Антонинах; Плиний Младший в «Панегирике Траяну» потратил много труда для ее обоснования. Реальность была в общем-то немного другая. Однако верно, что воцарение Марка Аврелия было достаточно близко к идеалу стоиков и сторонников небывалой имперской республики. Если вообще существует система демократической передачи аристократической власти, то юный Анний Вер был ее совершенным примером.

Дед, доброту и негневливость которого внук хвалил на склоне лет, — это Марк Анний Вер, трехкратный консул, префект Рима, занимавший эти должности как раз в 121 году, когда родился маленький Марк. Он первым из своего рода поселился в Риме, а, как считается, родился в городке Уккуби (ныне Эспаго) в Бетике, куда его семья переехала за несколько поколений до него. Это, несомненно, были италийские поселенцы — возможно, солдаты Сципиона Африканского, получившие земельный надел во II веке до н. э., — богатые хозяева, занимавшие все муниципальные должности. В то же самое время мы видим точно такие же семьи в соседнем городке Италика — на родине Траяна и Адриана. Эти семьи, по всей вероятности, смешивались с туземцами-иберами или с африканцами из Мавритании.

Взглянем еще назад и разглядим императорского прадеда из Уккуби, первого известного (только по имени) Анния Вера, назначенного римским сенатором в 69 году в числе многих, когда Веспасиан заново пополнял сенат, униженный и даже физически почти уничтоженный Нероном и его предшественниками, а также гражданскими войнами. Многие италийцы и провинциалы получили тогда награду за помощь, оказанную против несчастливых конкурентов начальнику восточных легионов, чрезвычайно одаренному выскочке, типичнейшему homo novus Флавию Веспасиану, который вместе с сыном Титом вновь привел к власти в Риме здравый смысл. В Курии этот Анний Вер не заседал, но его семье (как и семье Траяна) был открыт путь наверх. Испанский клан устремился в Город.

Анний Вер-сын был, несомненно, очень значительной персоной: ведь префектура Рима — весьма высокая должность со значительной судебной и административной властью над

обширной территорией вокруг столицы, куда, между прочим, входило командование над городской милицией — соперницей преторианцев. Что касается третьего консульства, оно было совершенно исключительным отличием. В том, что этот человек был «изящен нравом и негневлив», мы не имеем оснований сомневаться: Марк Аврелий, росший под его кровлей с десяти до семнадцати лет, помнил его лучше, чем собственного отца, который умер в его раннем детстве и о котором он сохранил лишь смутное воспоминание («скромное, мужеское»). И других свидетельств об отце — третьем Аннии Вере — осталось немного. Мы знаем, что он скончался около 125 года, незадолго до тридцатилетия, в должности претора (это был этап сенаторской карьеры, предшествовавший консулату). Его смерть была очень серьезной неудачей для всего клана. И тогда Марк был тотчас усыновлен дедом по отцу, принял его имя и вместе с матерью поселился у него на Эсквилине.

Где он с родителями жил до тех пор и какое носил имя? Предание доносит, что сначала он звался Катилием Севером, как прадед по матери, в доме которого на холме Целий жили молодые супруги. Тут мы подходим к области, почти не поддающейся изучению: семейным отношениям в Риме, где смешивались уважение к традициям и корыстные расчеты, законный патриархат и фактический матриархат, наследственное право и многочисленные новые браки. Все это в одних случаях упрощалось, в других усложнялось принятой процедурой усыновления, после которого разом менялись все права, родовые связи и даже имя лица[12].

У матери Марка — простой и строгой нравом Домиции Луциллы — были могущественные, но отнюдь не блестящие предки. Ее отцом был некий Русон, консул и сын консула. В руках ее матери Домиции Луциллы I, или, как говорили, Старшей, вдруг оказалось сказочное наследство нечистого происхождения: в основном это было состояние Домиция Афра, крупного нимского адвоката, который при Тиберии, Клавдии и Нероне прославился тем, что затевал и чаще всего выигрывал процессы о конфискациях. Он играл роль «делатора», что буквально значит «доносчик», но должно переводиться как «общественный обвинитель». В римской системе правосудия должность прокурора была частной, и исполнявший ее гражданин в случае выигрыша процесса получал четверть состояния обвиненного. Если в иске ему отказывали, он подвергался штрафу. Эта практика была безнравственна не сама по себе, а вследствие злоупотреблений, когда правитель давал волю произволу. При Юлиях — Клавдиях, а потом при Домициане она была средством

жестокого сведения счетов и циничного захвата чужих состояний.

Мы знаем из Плиния, что Домиций Афр довел до казни богача Тулла, присвоил его богатства, а двух его сыновей взял на свое содержание. Один из его братьев был незаконным или приемным отцом Домиции Луциллы Старшей, которая оказалась единственной наследницей проклятого семейства. Еще большее богатство, нажитое в основном на кирпичных заводах — ключевой промышленной отрасли в это время усиленного строительства, — сосредоточилось в руках ее дочери.

Остается сказать, кто такой был знаменитый прадед Катилий Север, великодушно взявшийся дать воспитание Марку. Нам известна его карьера, похожая на карьеру Линия Вера-деда: дважды консул и префект Рима. Но он исполнял эту должность в тот самый момент, когда умирал Адриан, и не мог скрыть желания стать его наследником. В беспокойное время конца царствования в глазах больного императора это было преступлением. Катилию удалось отделаться отставкой от должности. Можно заподозрить его в эгоистическом желании испортить карьеру правнуку Марку, который вместе с дядей по отцу Антонином был фаворитом в этом соревновании. Но он, вероятно, просто счел, что регентство над малолетним наследником, избранным Адрианом — а обойтись без регента было никак нельзя — в первую очередь должно принадлежать воспитавшему его предку. Но Катилий был старше, причем, вероятно, деспотичнее и честолюбивее Антонина, и предпочтение было отдано ему — поразительный проблеск прозорливости Адриана!

Откуда взялся этот Катилий Север — родич, которому историки затрудняются найти место на генеалогическом древе? Был ли он приемным отцом или свекром Домиции Луциллы-бабки, вопрос спорный, но несомненно одно: он готовил Марку очень высокое место в обществе, вложив в его воспитание значительные средства, ради него одного создав хорошую частную школу. Учеником мальчик, может быть, и жаловался на нее, но пятьдесят лет спустя был от нее в восторге. Кроме прочего, большой удачей в его глазах было то, что он не провел детство на женской половине, то есть на кухне, как все маленькие принцы в мире. Он благодарит богов, что «не воспитывался дольше у наложницы деда» (I, 17).

Размеченная карьера

Мальчика опекали со всех сторон — мы видели, как робок и наивен он был еще в двадцать три года, — но в то же время рано,

с самых малых лет, он держал испытания на зрелость. Шести лет от роду специальным указом дяди Адриана он зачисляется в сословие всадников и возглавляет его с почетными титулом «принцепса юношей». Благодаря этому раннему скачку в карьере он сразу перепрыгнул через несколько этапов. Ему был предоставлен «конь от государства», и он символически поступил на государственную службу. Более того — семи лет он был принят в высоко аристократическую корпорацию салиев. Это была жреческая коллегия, созданная в незапамятные времена и поддерживавшая непонятные уже традиции. Ее название происходило от глагола «salire» (прыгать), и дважды в год двадцать четыре члена коллегии исполняли священную пляску в честь Марса, ударяя копьем по щиту и громко читая хором заклинания, смысл которых был уже давно утрачен. Предание гласит, что маленький Марк, кинув, как и старшие, свой венок в сторону статуи, попал ей прямо на голову. Весь его клан, искавший предзнаменований в свою пользу, не упустил и это.

Другое дело разглядел ли в нем Адриан, как любили утверждать впоследствии, необыкновенные дарования. В то время он разъезжал по свету и не думал о наследнике. Но ему было важно связать себя с могущественной галло-испанской партией, с которой у него к тому же были и родственные узы. Чтобы понять динамику властных отношений в Риме, надо вкратце описать эти связи.

Клан Анния Вера был связан с кланом Аррия Антонина через брак тетки Марка (сестры его отца) Аннии Галерии Фаустины и консула Антонина. Бабкой Фаустины была, как думают, Матидия — племянница Траяна и теща Адриана. Так соткалась сеть политических союзов, обладавшая неизмеримой финансовой мощью, к которой мужчины трех семейств — все превосходные юристы и испытанные руководители — добавляли и административные возможности. Как ни парадоксально, в империи Цезарей военное искусство в системе воспитания правящих классов не было приоритетным. Хотя в принципе командные должности и привилегии в войсках были закреплены за патрициями[13], военная служба для латиклавиев (имевших право носить широкую красную полосу на тоге[14] — знак сенаторского достоинства) была недолгой (три года при штабе легиона), а то и вовсе факультативной. Подчас они предпочитали проходить гражданские должности. Рим уже давно не был военно-аристократическим обществом: оборону он доверил профессиональным солдатам, из которых, в порядке старшинства и заслуг, и набирался командный состав, пригодный для поля боя.

Впрочем, видимость в этом отношении могла вводить в заблуждение: ведь самый выдающийся император династии Траян был великим завоевателем и всю жизнь провел во главе своих легионов. Правда же состоит в том, что даже в глазах современников Траян был блестящим исключением. Его наследнику и воспитаннику Адриану хватило хитроумия поддерживать видимость сохранения политики престижа; он продолжал держать армию в боевой готовности, но эта армия служила чисто оборонительной стратегии. Он нанес удар касте военных, сложившейся вокруг Траяна, а инспекцию вооруженных сил Империи лишил властных полномочий.

В связи с проблемой наследования мы убедились, что римское общество по сути своей было штатским и обладало талантом к выполнению административных функций и поиску наиболее миролюбивых путей создания Империи. Наследники, на которых обратил свое внимание Адриан, не имели никакого военного опыта. Не будем раньше времени смотреть на долгосрочные последствия такого выбора — мы должны понять его логику: для Империи, которая, по мнению своих руководителей и признанию всех здравомыслящих людей, достигла оптимальных размеров в разумных естественных и исторических границах, абсолютными приоритетами должны были стать организация и поддержание порядка. Для этих целей армия и администрация были неразрывно связаны и одинаково нужны. Но в правильно понимаемом правовом государстве и то, и другое опиралось не только на одну и ту же власть, но и требовало одинаковых технических умений.

И действительно: мирные провинции подчинялись сенату, неспокойные провинции и Египет — императору. С общего молчаливого согласия обе эти власти со времен Траяна полностью объединились. По общему правилу, наместники, назначенные как императором, так и сенатом, были бывшими консулами, их легионами командовали более молодые сенаторы, а при них состояли трибуны из латиклавиев. Стратегия разрабатывалась в Риме опытными офицерами генерального штаба, тактика была делом профессиональных обер- и унтер-офицеров — примипилариев и центурионов. Все было превосходно устроено, чтобы в любом случае поддерживать порядок. Администрацией ведали всадники, подчиненные наместникам, которые лично надзирали за надлежащим отправлением правосудия. Как еще можно сделать лучше? Гражданское управление и военное командование осуществляли одни и те же люди, занимая эти должности в порядке, соответствовавшем строго соблюдавшемуся принципу: cedant

arma togae[15].

Никогда не надоест восхищаться этой картиной, которую на самом деле видел перед собой молодой цезарь Марк Аврелий: самые достойные его современники подтверждают, что она точна. Что же удивительного, что столь гармоничное политическое устройство сопровождалось и экономическим процветанием? Конечно, лишь с расстояния в восемнадцать веков, зная последующие события, будучи во всеоружии современного обществоведения, мы можем различить первые трещинки на фреске, которая безвозвратно облупится меньше чем через полвека. Гуманизм, умеренность, добросовестность и хорошее управление окажутся недостаточны, чтобы удержать под контролем брожение в обществе, развивавшееся в слишком плохо приспособленных к переменам юридических и социальных рамках. Марк обнаружит в своем багаже непрочные победы Траяна, поверхностный культурный лоск Адриана, рыхлый консерватизм Антонина. Понимал ли он, что обездоленные слои общества, мощные мистические течения, проникающие извне, неудовлетворенное личное честолюбие воспользуются терпимостью системы, чтобы разложить ее изнутри? Видел ли он, что варварские народы, со всех сторон обложившие Империю, уже готовятся воспользоваться ее хрупкостью? Это значило бы предполагать слишком большую проницательность обеих сторон — мы сейчас в самом лучшем случае можем строить лишь гипотезы о том, что происходило на самом деле.

Наследники Адриана

Чтобы объяснить мирный приход к власти в Риме вопреки всякой династической легитимности одного галло-испанского клана, уже больше двух поколений назад вернувшегося на прародину, недостаточно указать на его прочное общественное положение. Этот случай беспрецедентен, он останется недосягаемой мечтой на много столетий. Здесь слишком большую роль сыграл случай, чтобы можно было надеяться на его повторение. Между тем никогда более удача престолонаследия не была менее сверхъестественной по природе. Просто один раз в истории институциональный разум заполнили логика и благоразумие.

Юный наследник рода Анниев действительно — что правда, то правда — уже давно слыл общеизвестным любимцем Адриана, но сделать своим наследником он сначала хотел не его. Его планы относительно престолонаследия прошли несколько непоследовательных фаз, смысл которых до сих пор непонятен.

Супруга императора Сабина, двоюродная бабка Марка, не принесла ему детей. Он ее терпеть не мог, ничем не был ей обязан и в своем выборе руководствовался не семейными чувствами и не клановым духом. Если бы это было так, у него под рукой находился довольно близкий наследник из испанской ветви рода — муж его сестры проконсул Юлий Сервиан, который уже состарился, но мог служить регентом при своем внуке (сына уже не было в живых) Педании Фуске.

И действительно, когда в 134 году император вернулся на свою великолепную виллу-музей в Тиволи, утомленный двумя десятилетиями туристических и инспекторских вояжей, он на какой-то миг подумал и о своем зяте, и о маленьком внучатом племяннике и, кажется, оставил им кое-какую надежду. Но вдруг в декабре 136 года стало известно, что он усыновил молодого, тридцатипятилетнего аристократа Цейония Коммода, который, казалось, был ему никем. Думали — впрочем, без всяких оснований, — что он находился с императором в гомосексуальной связи. Этот каприз верховного дилетанта можно объяснять элитарным сознанием, удовольствием от провокации или циничным политическим расчетом, согласно же одной остроумной современной работе усыновление было прикрытием незаконного отцовства. Но, что бы там ни думали и ни предполагали, из этого нелепого выбора ничего не вышло. Цезарь Цейоний умер в январе 138 года. Адриан потратил в его память много денег и принес в жертву Сервиана и Фуска, заплативших жизнью за неуместную нетерпеливость.

Адриана настигло проклятие. Его здоровье становилось все хуже; мучительные припадки, сопровождавшиеся кровотечениями из носа, разрушали его физически и нравственно. Потеряв контроль над своим подозрительным и жестоким от природы характером, он дошел до крайности. Император тщетно просил убить себя — и убивал сам. Сенат перепугался. Тут-то и явилась фигура важного сановника, сенатора Антонина. Он был членом Императорского совета, уважаемым императором и своими коллегами. В момент последнего просветления Адриан вызвал к себе этого мудреца и при свидетелях усыновил его. Пятидесятидвухлетний человек стал сыном шестидесятидвухлетнего. Он процарствовал двадцать три года — на два больше, чем его приемный отец.

На самом деле произошла более сложная операция. В то же самое время Антонину пришлось усыновить своего семнадцатилетнего племянника Марка и сына Коммода Луция, восьми лет от роду. Тем самым они становились наследниками второй степени. Невозможно было лучше обеспечить

преемственность династии — с первых лет Империи не видели столь мудрой предосторожности. Аристократия и сенат были, по всей видимости, задобрены, во всяком случае, нейтрализованы. Возможно, только этого и добивался Адриан, который не мог привязать к себе аристократию и потому не переставал ее третировать. Очевидно, когда ему не удалось заманить в ловушку старый Рим в лице древнего рода Цейониев, он задумал сделать то же самое с новой знатью — могущественными кланами провинциалов-репатриантов, которые смотрели на него как на выскочку. Можно сказать, что у него уже не существовало выбора. Это был последний шанс Антонина уйти с миром, а еще лучше — похвалить его рассудительность и чувствительность страдавшего от бездетности человека, на краю гроба получившего детей напрокат. Если правда, что он прозвал Марка «Вериссимом», то это слово, значит ли оно «правдивейший» или «самый настоящий Вер», в некотором роде выражает умиление. То, что он не забыл маленького Цейония, — жест верности его покойному отцу, а может быть, и бабке Плавтии, которая была любовницей Адриана. Согласимся, что все расчеты и чувства смешивались в его чрезвычайно утонченном, чтобы не сказать необычайно противоречивом, уме. Известны его последние стихи — фантазия эстета, которую позволил себе этот уникальный человек на пороге смерти: «Душенька[16] малая, милая, что от меня улетает, гостья моя, подруга моего тела, куда ты уходишь — бледная, закоченелая, голая? Больше нам с тобой не играть».

Этот метафизический пируэт совсем не похож на старательные исследования небытия, которые оставил нам Марк Аврелий. Перед нами два способа быть римлянином, один и тот же целомудренный героизм последнего мига. Император-эстет встретился с императором-стоиком в мавзолее на берегу Тибра — нынешнем замке Святого Ангела.

Плечи из слоновой кости

«В самый день его усыновления юному Веру (Марку Аврелию), — пишет его биограф, известный под именем Юлия Капитолина, — почудилось, будто плечи его из слоновой кости, будто он попробовал, какой груз они могут вынести, и убедился, что плечи его стали гораздо крепче. Он скорей огорчился, чем обрадовался, узнав, что Адриан усыновил его, и с сожалением покинул материнские сады ради императорского дворца. Люди, его окружавшие, спрашивали его, почему он грустен после столь славного усыновления, и он указывал им на беды, сопряженные с властью государя. В это самое время он вместо Вера стал

называться Аврелием по семейному имени Антонина».

Картина более чем ясна: восемнадцатилетний юноша, уже имеющий некоторую склонность к морализаторству на словах и на деле, вдруг чувствует, какое расстояние отделило его от близких, и смущенно принимает их поздравления. Он выходит из положения при помощи нравоучительной философской речи, подобной упражнениям в риторике, которые начинал задавать ему Фронтон. Это первое его публичное заявление. Позже он познакомился с красноречием искренности — тем, что обезоруживает противника не хуже любых уловок. Его голос, ставший глухим и слабым, привлекал к себе внимание слушателей. В момент его усыновления никак нельзя было предвидеть, что этого юного интеллектуала будут слушаться воины, что этот маленький ритор станет трогать сердца народов. Ставка Адриана была рискованной: он рассчитывал, что наставник, данный им ребенку, из которого неизвестно что может выйти, и неопытному подростку, проживет долго. А если два юных Цезаря и успеют созреть под сенью Антонина — много ли шансов, что они смогут ужиться друг с другом, деля неделимую, по сути, власть?

Античные авторы задним числом объясняли поразительную прозорливость Адриана его познаниями в астрологии. Он читал судьбы близких, так же как и свою, по гороскопам, поясняют они. Но почему тогда сначала он избрал Цейония Коммода — того, про которого после смерти сам сказал: «Я оперся на шаткую стену и потерял три миллиона сестерциев»? Один астролог намекнул ему, не ошибся ли он в гороскопе, но император ответил: «Нет, нужно было быть такому Цейонию». Не менее загадочна для нас и верность Марка Аврелия своему названному брату, когда уже никому не было дела до предсмертных капризов Адриана.

У нас, конечно, мало сведений о смутном времени передачи власти от императора, воцарение которого после смерти Траяна тоже происходило среди тайн и драматических событий. Можно представить себе, как приходилось Марку — кандидату на престол, которого умирающий в бреду избрал на крайний случай, меж тем, как другой претендент, его ровесник, был казнен. Чтобы вынести это испытание, поистине нужно было иметь крепкие плечи — пожалуй что и из слоновой кости. Хотя биографы Антонинов оставили нам совершенно безмятежный облик их Империи, она никогда не знала примера спокойной передачи власти. Отсутствие конституционных правил престолонаследия каждый раз делало кризис неизбежным и в некотором роде служило обоснованием явного или неявного государственного переворота.

В письме к матери Марка Аврелия, написанном по-гречески — на языке образованных людей, — Фронтон признавался: «Я восхищался Адрианом, но никогда не мог полюбить его». Один из величайших римских императоров, дотошный администратор, великолепный строитель, безукоризненный гуманист, но вместе с тем феноменальный гордец и эгоист не оставил ни одного друга, ни одного наследника, близкого ему по крови или равного по уму. По этой причине, хотя, может быть, и из-за тайного презрения к окружающим, он в конце концов уступил место почтенному сановнику и двум юнцам при нем. Иначе говоря, он бросил вызов своему старому врагу — сенату. Наследники, думал он, не затмят память о его царствовании собственным блеском, но и не похоронят под развалинами. Адриан Великолепный надеялся, что заставил забыть Траяна, и был уверен, что останется первым в своем веке.

Он рассчитал все, кроме чужого душевного благородства. У Антонина не было ни одного из многочисленных дарований императора-испанца, который желал быть греком и жил как космополит, но через несколько месяцев он уже достиг императорского величия или, вернее, предъявил Империи собственное человеческое величие. Он быстро принял императорские полномочия, которые Адриан, уехавший в Байи, исполнять уже не мог, и пользовался ими, чтобы следить за последними отчаянными поступками больного. Сначала тот велел приближенным убить его (телохранитель отказался и отдался под покровительство Антонина, врач предпочел самоубийство), потом пытался лишить себя жизни сам. Он искал татуировку, давно сделанную, чтобы точно обозначить, где находится сердце, но его обезоружили. После чего вмешался сам Антонин. Кто-то удивился, зачем он старается продлить жизнь безнадежного, опасного для других больного. «Иначе я стал бы отцеубийцей», — ответил он. Смертные приговоры Антонин отменил, но не смог помешать отставке предка Марка по матери — старого Катилия Севера, префекта Рима.

Когда 10 июля 138 года Адриан расстался с душой, которую так любил, Антонину пришлось в последний раз выдержать натиск сената, отказывавшегося обожествить человека, царство которого началось с казни четырех важных лиц. Обожествление императора было почти автоматическим — надо было быть Нероном или Домицианом, чтобы этого не произошло[17]. Говорили даже, что следует отменить его указы. Антонин вновь ставит на кон собственную личность: «Ведь это значит и мое усыновление отменить», — указывает он. Тут же, на месте, он отдает предшественнику последние почести, а Марк между тем

готовит церемонию апофеоза в Риме: это цезарская привилегия — да и до наших дней дошла традиция, что она принадлежит главному наследнику.

Первые перемены

Очень быстро были приведены в порядок все чины и власти, но в первую очередь — символы, задававшие тон царствованию. Сенат даровал Антонину прозвище «Пий» (Благочестивый), а также имя Августа, бывшее сперва прозвищем Октавия, а потом превратившееся в титул. Когда Траяна прозвали «Оптим» (Наилучший), все поняли, что значит такая честь. Прозвище «Пий» не столь однозначно. Даже современники давали ему много толкований. В данном случае оно не означает какой-то особой набожности. Известно, что Антонин ревностно поклонялся земледельческой богине Кибеле, не забывал отдавать почести Юпитеру, Венере и Аполлону. «Благочестие» означало некую весьма редкую человеческую добродетель, почтенную и волнующую. Антонин явил ее перед всеми в тот день, когда толпа увидела, как он выходит из сената, поддерживая своего тестя Анния Вера. Только что доказанная им порядочность по отношению к своему приемному отцу Адриану была другим ее знаком. Но больше всего сенаторы были благодарны ему за то, что он отвратил от них смертные приговоры, которые умирающий подписывал по делу и нет. Ближайшие и отдаленные потомки утвердили за ним эти определения: Справедливый, Праведный, Добрый или даже, не побоимся этого слова, Святой.

Итак, сенат раздал почетные титулы: Антонин стал Августом, его супруга Августой. Это был всего лишь номинальный титул, но он очень подходил для властной красоты и гордости дочери Анния Вера. Античные хронисты считали, что она его запятнала. Антонин терпеливо сносил роскошь и измены Аннии Фаустины Галерии Старшей. Она упрекнула его, что он мало потратил на празднование своего восшествия на престол, по сути — на укрепление власти. Антонин ответил: «Мой бедный друг, ты так и не поняла, что мы уже ничем не владеем. Даже дом, в котором мы живем, — не наш». И он был прав — мы увидим, что весь бюджет императора оплачивался из государственной казны. Да она не так уж далека была от истины, если вспомнить, что в Риме спокойствие и любовь народа даже самым популярным государям не давались даром. Императрица умерла, не дожив до пятидесяти, но ее место в протоколе и в сердце императора заняла другая Анния Фаустина Галерия Младшая, казавшаяся новым воплощением матери. Ее отец писал Фронтону: «Я

предпочел бы жить с моей Фаустиной на Гиаросе, чем без нее на Палатине». Остров Гиарос в Кикладах был местом ссылки. Впрочем, обычно Антонин жил в деревне с любимой наложницей, вольноотпущенной гречанкой.

Все брачные планы, задуманные Адрианом, были тотчас оспорены. Они не соответствовали новой ситуации, да и сами пары подобраны не лучшим образом. Год назад Марка обручили с дочерью Цезаря Цейония, который был тогда наследником. Цейония Фабия была на несколько лет старше его, то есть зрелой девицей, а он, как мы видели, оставался инфантильным переростком. В рамках той же династической конструкции Адриан обручил брата Фабии, семилетнего малыша Луция Цейония с Фаустиной Младшей, которой исполнилось десять. Такие ранние брачные обязательства были в порядке вещей, но требовали от молодых людей терпения. Когда Антонин стал императором, Фабия была, очевидно, готова для замужества, но Марк нет — и природа, и государственные соображения требовали перестроить всю систему союзов. Луция послали играть в игрушки, Фабии нашли другого жениха, а Фаустину Младшую Фаустина Старшая отдала кузену Марку, который, как и пять лет спустя, все еще «просил подумать». Каждый может предполагать, что хочет, как смотрели на это мать и дочь. Женская гордыня в истории Антонинов играла самую важную роль.

И это еще не все. Наши герои вновь обменялись именами. Марка стали звать Марк Элий Аврелий Вер Цезарь, а маленького Цейония — Луций Элий Аврелий Цезарь. Позже Марк отдал ему свое прозвище Вер, а сам назвался Антонином — под этими именами их и запомнили современники. Антонин же стал Императором Цезарем Титом Элием Адрианом Антонином Августом Пием[18].

Здоровый дух…

Если бы мы не знали Антонина по актам его правления, то по репутации, оставшейся в памяти веков, и по статуям можно было бы подумать, что Марк Аврелий сам придумал его портрет — идеал, к которому он стремился сам и который хотел поставить в пример своему сыну Коммоду. Но увидеть здесь простое упражнение в стоической риторике не получается. Это портрет вполне уравновешенного человека, подобных которому каждый из нас хоть раз в жизни встречал. Почему же такой человек не мог оказаться во главе Империи? Верно, что власть развращает и искажает человека; еще вернее, что к власти не приходят без

компромиссов и не удерживают ее без потерь. Но бывает, что власть неожиданно, сама по себе сваливается на человека вполне сложившегося, укорененного в своей мудрости, имеющего свои привычки, изменить которые не хочет и не может: тогда уже власть приспосабливается к человеку. Сила Антонина, как и Марка Аврелия, была в том, что они ничего не домогались. Они получили должность — так они ее и будут исполнять.

Эта очень простая логика поможет понять, что знаменитое место из «Размышлений», где Марк Аврелий вспоминает об Антонине, нисколько не выдумано и совершенно правдоподобно. Оно закреплено и в предании, и в мраморе. Если принимать его буквально, оно становится магическим откровением, и мы лучше представим себе облик императора, поняв, что его — а как же иначе? — надо искать в чертах провинциального помещика, каким всегда и оставался Антонин. Если же правда, что Марк Аврелий невольно примерял эту похвалу на себя, то надо искать в ней и что-то из его автопортрета: дядя и приемный отец, рядом с которым он прожил с шестнадцати до сорока лет, делить мысли и решения которого ему было совсем не трудно, сформировал его отношение к миру и сильно повлиял на его нравственные представления об обществе. Где проходят границы для одного, там же и для другого. Они в одном и том же видят достоинство. Разница между ними только в культуре и, так сказать, в психофизическом балансе.

Силу свидетельства Марка Аврелия могло бы уменьшить волнение, с которым он восхваляет бесстрастие Антонина. Мы видим, как он перескакивает от одного качества к другому, мешает образцово высокое с образцово анекдотическим — а между тем целое не обескураживает, а убеждает. Нам хочется верить в существование этого образца порядочного человека. Теперь, когда он получил наследство, ничто не принуждало его платить долги, а подарки предшественникам императоры делали редко. Антонин воздержался от похвал Адриану, а тот был по меньшей мере равнодушен к памяти Траяна. Марк же Аврелий в самом деле хотел, чтобы мы разделили его искреннее восхищение, и ему это удалось.

«От отца нестроптивость, неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено; нетщеславие в отношении того, что считается почестями; трудолюбие и выносливость… умение когда нужно напрячься или расслабиться… Во время совещаний расследование тщательное и притом до конца, без спешки закончить дело, довольствуясь теми представлениями, что под рукой… предвидение издалека и обдумывание наперед самых мелочей… всегда он на страже того, что необходимо для

державы; и при общественных затратах, словно казначей, бережлив; и решимость перед обвинениями во всех таких вещах; а еще то, что и к богам без суеверия и к народу без желания как-нибудь угодить, слиться с толпою: нет, трезвость во всем…» (I, 16).

К трем последним словам сводится дух эпохи. Во II веке они казались возвышенными. Трезвость или умеренность, moderatio была девизом Антонинов; они выбивали это слово на своих медалях именно потому, что оно нравилось большинству граждан, боявшихся возврата злоупотреблений властью. Мы еще увидим, к чему приводит чрезмерная трезвость, которая тормозит развитие общества. Но Империи, несомненно, нужно было пройти через период стабильности: ведь в великом консерваторе, который, по словам Марка Аврелия, не забыл его уроков и не любил «никаких новшеств», она узнала себя. Даже домоседство государя вошло в число добродетелей — не только потому, что позволяло экономить государственный бюджет (едва прикрытая критика Адриана), но и потому, что поддерживало умственную гигиену. Рядом с ним идут терпение, спокойствие и постоянство. Редко менять занятие, доводить начатое дело до конца, трудиться до вечера — биографы Марка Аврелия находят эти черты и у него, но дают понять, что Марку приходилось принуждать себя, а Антонин следовал своей природе. Вот почему слишком впечатлительный сын постоянно и как бы ностальгически обращался к слишком благодушному отцу.

…в здоровом теле

Говоря о римлянах, слабо отличавших дух от тела, сразу переходишь к физиологии. Марк Аврелий от «здорового духа» к «здоровому телу» переходит легко, так как на него, как на хронического больного, здоровье Антонина производило большое впечатление. Для него и это было связано с умственной дисциплиной. «Не из тех, кто купается спозаранку… на скудном столе, и даже испражняться он имел обыкновение не иначе, как в заведенное время» (I, 16; VI, 30). В наших глазах эти похвалы как-то нестройно вставлены в нравственный портрет, но если приглядеться повнимательнее, это всего лишь выражение древнего пифагорейского воззрения, прошедшего через эпохи. В жизни Антонина диета прекрасно сочеталась с домашней экономией. «Собственные птичники, охотники, рыболовы доставляли ему к столу все, в чем он нуждался», — сообщает Юлий Капитолин. Нет никакого сомнения, что Антонин был приверженцем натуральной пищи и щадящей медицины. «Забота

о своем теле с умеренностью <…> с тем, чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной, в лекарствах или наружных припарках» (I, 16). Тут Марку Аврелию пришлось в корне разойтись со своим образцом. Лекарства были его спутниками всю жизнь, а одно снадобье — пресловутый «фериак» — заменял ему даже пищу.

О том, что Антонин был по-настоящему почвенным человеком, мы узнаем и из отрывка о его одежде: «Верхнюю одежду он получал из Лория, а остальную большей частью из Ланувия… Не заботился о том, какие у него чаши и какого цвета» (Там же)[19]. Напомним, что речь идет об одном из самых богатых императоров, причем никто не говорил о нем, что он мрачен, как Тиберий, скуп, как Веспасиан, или мелочен, как Домициан. Он просто не любил показухи и мотовства. «Благодеяние богов <…>, что оказался в подчинении у принцепса и отца, отнявшего у меня всякое самоослепление и приведшего к мысли, что можно, живя во дворце, не нуждаться в телохранителях, в одеждах расшитых, в факелах и всяких этаких изваяниях и прочем таком треске; что можно выглядеть почти так же, как обыватели, не обнаруживая при этом приниженности или легкомыслия в государственных делах, требующих властности» (I, 17). Мы не можем подвергать сомнению такое свидетельство, подтверждаемое превосходным состоянием финансов (Антонин после смерти оставил профицит в два с половиной миллиарда сестерциев) и еще одним, не столь однозначным обстоятельством — немногочисленностью памятников этого царствования. Литература при нем также не была блестящей[20]: Антонин любил только простонародный театр — пантомимы. Но искать сведений о характере и даже внутренней жизни человека, как всегда в Риме, приходится в скульптурных изображениях — живописные утрачены. Подлинный Антонин уже две тысячи лет стоит на пьедесталах.

Мы можем видеть в Ватикане его статую во весь рост в императорской кирасе, которую он, должно быть, нечасто надевал. В Лувре — бюст: волосы и окладистая борода завиты, над большими глазами ясность и чистота, которые сумел донести до нас талант скульптора, прямые брови. Величественная осанка, о которой говорят самые ранние биографы, с годами портилась, но Антонин исправлял ее с помощью лыкового корсета-кольчуги. Он был элегантным до самого конца своей долгой жизни.

Нет ни одной фальшивой ноты в этой явной гармонии, к которой необходимо внимательно прислушаться, чтобы без диссонанса перейти к гармонии в несколько иной тональности, на которой строилось царство Марка Аврелия. Разумеется,

Антонин не был великим императором по мерке Траяна или Адриана — последний и не выбрал бы его, если бы видел в нем гения. Но именно после безмерности двух предыдущих монархов он явился со своей спокойной силой и оказался точно соразмерен моменту. Благодаря лыковой кольчуге он не дал себе сгорбиться — и точно так же не дал разболтаться государственной власти, словно у него и не было иного предназначения, как сохранить и передать наследство. Этот юрист строго держался врученного ему мандата, далеко вперед он не глядел. Он был дотошен до крайности, про него говорили, что он «разрезает тминные зернышки». Между тем именно благодаря природной скрупулезности он стал арбитром, безусловно почитаемым и римлянами и иностранцами. Потенциальных противников он отговаривал от нападения, и весьма эффективно: хватило одного письма, чтобы отбить у парфян охоту начать опасную военную авантюру. Будущее показало, что столкновение было неизбежно, если только вообще имеет смысл исторический фатализм. Но надо ли было лишать мир двадцати лет мира ценой одного письма, отправленного с верховым курьером?

Царевич-эрудит

Отныне Марк Аврелий принимал участие в этом патриархальном управлении государством и постепенно получал все новые полномочия, но он не сразу явился назначенным наследником престола при Антонине-регенте, как представляется тем, кто приписывает Адриану верховную власть над самой историей. Так видится задним числом, но не так смотрели современники, для которых Антонин был (тайные намерения Адриана никого уже не заботили) единственным владыкой мира, а при нем скромно находился юный Цезарь, спокойно готовившийся принять у него смену в случае не счастья. Только потому, что царствующий император очень порядочен и предусмотрителен, ему приходится показывать при атрибутах власти этого неприметного соправителя, которого видят рядом с ним в цирке и в колеснице, которого он посылает в сенат зачитывать свои речи. Это было то самое время, когда он находился в Ланувии во время сбора винограда. Отдых от обязанностей государя, попытка расслабиться, возвращение в детство — вот чем можно объяснить инфантильность писем к Фронтону, единственному старому другу, который соглашается играть в эту игру, потому что и в его натуре осталось что-то от детства. Фронтон был африканец, уроженец Цирты (современная Константина), который сам себя объявил коренным римлянином

и с удовольствием оставался в этом неопределенном статусе: он служил оправданием его независимости и легкомыслия. Нам он кажется довольно тяжелым и педантичным, но в свое время мог считаться блестящим и оригинальным — таким он, конечно, и был и как оратор, и как собеседник. Часто этот род одаренности невозможно зафиксировать и передать на бумаге. Из блестящих салонных парадоксов получается прескверная литература, которая не стоит пергамента, сохранившего ее для нас. Говорили, что лень помешала ему написать похвалу лени. Но это неправда. Фронтон был достаточно работоспособен, ловок, располагал к себе тех, к кому сам был расположен, умел волновать, когда говорил о своих.

Между прочим, Марк Аврелий отдает долг не столько его уму, сколько чувству. «От Фронтона я разглядел, какова тиранская алчность, каковы их изощренность и притворство и как мало тепла в этих наших так называемых патрициях» (I, 11). Краткость этой похвалы поражает. Можно было бы много чего еще сказать об учителе, которому он некогда писал: «Из меня что-нибудь выйдет, если ты пожелаешь». Но когда пятидесятилетний Аврелий «в Карнунте» и «близ Грана» платил по старым долгам, он был уже только моралистом. Умственная культура для него стала безразлична — ценность в его глазах имела только культура души. Тогда он вспоминал, что мать передала ему любовь к простоте, «совсем не как у богачей». Это могло быть аристократическое равнодушие к деньгам, которых он получил с избытком, или состояние души, тянущейся к суровой жизни. Марк Аврелий отказался от атрибута своего положения — лампадариев[21] — и хотел жить «подобно обывателю», но не подобно «так называемым патрициям», в которых «мало тепла». Была ли в нем жилка социалиста, желал ли он не отрываться от народа? По-видимому, он об этом не заботился. Он был просто сдержан по природе и по семейной традиции, откуда и выбор его философии. У него не видно сочувственного отклика на страдания бедняков. Благотворительность не дело стоиков — это дело христиан, что тогда еще недостаточно ясно можно было увидеть. В римском обществе она, совершенно очевидно, существовала, но в другой форме и под другими именами: общественная помощь (alimenta) и частная, зародыш будущих касс взаимопомощи — «похоронные коллегии» плебса.

Итак, можно удивляться, что бывший ученик Фронтона запомнил только добрые качества его сердца, в то время как всем остальным учителям чувствует себя обязанным умственными и нравственными уроками, которые пошли ему впрок. Он не хвалится тем, что в точности их исполнил, но и не обвиняет себя

в том, что ими пренебрегал. И это действительно великолепная записная книжка, которую он всю жизнь держал перед глазами. Богатством и точностью каталога нельзя не восхищаться. Его построение давно исследовано: Марк начинает с родителей и дедов, потом переходит к воспитателям, далее к учителям и друзьям, затем к приемному отцу Антонину и, наконец, к богам. В этом нет никакого однообразия и, при ближайшем рассмотрении, никаких повторений, а только гармоничный рассказ о добрых влияниях знакомых и незнакомых, знаменитых или безвестных, но всегда поистине образцовых людей. За уроками, изложенными немногословно и очень энергично, видны лица учителей. Эти семнадцать портретов относятся к величайшим страницам литературы.

Философия против риторики

«Все это „в богах имеет нужду и в судьбе“», — заключает Марк Аврелий (I, 17): это его манера бесконечно удивляться своей удаче. Но ведь не случайно его воспитанием занимались выдающиеся люди: дед предполагал воспитывать его как государя. А у государей всегда бывают менторы: Аристотель или Платон[22], Фенелон или Боссюэ. Гораздо реже случается, что ученик их достоин, еще реже — что он не выбивается из сил или не гибнет от переедания. Кажется, Марк Аврелий избежал этих опасностей. Недаром он говорит, что у Секста Херонейского — племянника Плутарха, философа, несомненно, стоической школы — научился «постигающему и правильному отысканию и упорядочению основоположений, необходимых для жизни» (I, 9).

Хотя Марк старается поддерживать равновесие между своими учителями, он не может удержаться от того, чтобы специально не отметить троих: Аполлония, Рустика и Максима. Аполлоний, как и Секст, был философом-стоиком, человеком глубоко независимого духа. Наблюдая за социальным слоем, из которого происходили их ученики, эти люди приобретали знание механизмов власти и опытное понимание мотивов человеческих действий, которые потом формулировали как руководство к действию. Они заимствовали у риторики искусство метафоры, чтобы приложить его к случаям из практики. По рассказу Марка Аврелия, каким правилам поведения учил Аполлоний на своих занятиях, можно представить себе, каковы были общие принципы стоиков: «Независимость и спокойствие перед игрой случая; чтобы и на миг не глядеть ни на что, кроме разума, и всегда быть одинаковым — при острой боли или потеряв ребенка, или в долгой болезни… и что воочию я увидел человека, который

считал опыт и ловкость в передаче умозрительных положений самым меньшим из своих достоинств…» (I, 8).

Слава Секста, приехавшего из Херонеи, и Аполлония, которого Антонин пригласил перенести школу из Халкедона в Рим, показывают нам, какое значительное место в греко-римском мире занимали профессора. Начальное и среднее образование было оставлено на долю малоуважаемых педагогов или «литераторов», нередко рабов, но преподаватели высшего ранга пользовались чрезвычайными привилегиями. В Риме риторы и философы так же делили между собой духовную власть, как и уже много веков в Афинах, но в масштабах огромной процветающей империи. Ораторское искусство было необходимо постольку, поскольку на смену пришедшему в упадок красноречию Форума пришел и расцвел стиль судебных заседаний. В Италии и в Галлии речи произносились и просто для удовольствия. Без красноречия не было влияния, красноречия не было без правил, а правилам обучали. Греки из Аттики и Азии, африканцы, некоторые галлы почти монополизировали искусство риторики и открывали школы, попасть в которые было трудно и дорого.

Они учили правилам составления речей. Но требования римской культуры росли. Параллельно она обратилась к философам, чтобы дать содержание красноречию и в то же время ввести в рамки воспитание характера. Но эта дополнительность не всем казалась естественной. Каждая дисциплина пыталась занять всю территорию, завладеть всеми привилегиями. Фронтон, увидев склонность Марка Аврелия к философии, не находит себе места от боли и гнева: «Я слышал, как ты говорил: „Когда я талантливо говорю, то бываю доволен собой, и потому остерегаюсь красноречия“. Странное рассуждение! Если ты тщеславен, исправляй тщеславие, а не красноречие. На самом деле ты забросил риторику, потому что тебе надоело работать. Ты обратился к философии, где не надо украшать вступление, не надо немногословно проводить изложение, разделять проблему, наполнять тему…» Но поздно: Цезарь вернулся к отроческому искушению искать суть вещей. Он больше не спит на досках, но очень усердно работает. Он отпустил бороду по моде греческих интеллектуалов, в Риме введенной Адрианом, и говорит, что понял: это «жизнь, сообразная природе».

Дело в том, что он осознал доступные ему пределы. У него нет особо яркого дарования, замкнутый склад характера не предрасполагает его к ораторским сражениям, а они в Риме были бескровными, но смертными гладиаторскими боями образованных классов. Даже кроткий Фронтон, выступая на процессе, умел быть профессиональным бойцом, а Марк Аврелий,

как мы увидим, старался успокоить его в деле, где он столкнулся с коллегой, также дружным с императорской фамилией. Юный Цезарь понял, что ни талант, ни роль не предрасполагают его к подвигам и триумфам претория, — и сделал выбор. Позже он выражал признательность другому своему учителю за то, что благодаря ему «не стал… выдумывать учительные беседы… отошел от риторики, поэзии, словесной изысканности». Этим учителем, сыгравшим определяющую роль и в его жизни, и, несомненно, в направлении его царствования, стал Юний Рустик.

Рустик, учитель стоицизма

О Рустике известно только то, что он был сенатором, дважды консулом и долго занимал очень высокую должность префекта Рима. Возвышение Рустика приписывали его влиянию на молодого Марка. Но, может быть, прежде (и прежде всего) его моральная власть в сенате и в Риме принесла ему доверие императорской фамилии? Он вел переписку с матерью Марка. Это был стоик одной породы с Сенекой и Тразеей, ставших жертвами тиранических императоров. Мягкость нравов его времени лишила Рустика такой славы — он мог давать полную волю суровости своего характера. Было бы интересно поближе с ним познакомиться. Описал для нас своего учителя Марк Аврелий, который велел поставить ему золотую статую; по сообщению Юлия Капитолина, Рустик «был ему ближе всех, и он всегда приветствовал его первым, даже прежде префекта претория». Но Рустик был с ним и грубее всех, потому что тридцать лет спустя император благодарил богов за то, что «досадуя часто на Рустика… не сделал ничего лишнего, в чем потом раскаивался бы» (I, 17).

Чем же Марк Аврелий обязан этому выдающемуся человеку? От него он «взял представление, что необходимо исправлять и подлечивать свой нрав; не свернул в увлечение софистической изощренностью… что не расхаживал дома пышно одетый или что-нибудь еще в таком роде; и что письма я стал писать простые… еще и то, что в отношении тех, кто раздосадован на нас и дурно поступает, нужен склад отзывчивый и сговорчивый, как только они сами захотят вернуться к прежнему; и читать тщательно, не довольствуясь мыслями вообще…», а главное, «что встретился… с эпиктетовыми записями, которыми он со мной поделился» (I, 7).

Здесь мы подходим к переломной точке античной цивилизации. Будущий император становится учеником бывшего раба. Ни тот, ни другой не были гигантами мысли. Но их встреча через книгу, которой поделился важный сановник (сам Эпиктет

умер в безвестности лет за десять до того), станет символом, если не причиной глубокой переоценки ценностей. Стоицизм — мораль приятия действительности, но и отваги, индивидуального спасения, но и человеческой солидарности, дисциплины, но и терпимости. Укоренится ли он в сознании Империи, запечатлеет ли собой мысль, определит ли нравы?

Задним числом легко найти неопровержимые доказательства, что об этом и речи быть не могло, что стоицизм светил холодным, колючим светом, что он не мог удовлетворить чаяниям масс. И действительно история рассудила так. Но история же была свидетельницей, как на противоположной стороне Земли полутысячелетием раньше и едва ли не навеки утвердились две системы человеческой мудрости, разработанные мыслителями — Гаутамой Буддой и Конфуцием. Сами эти мудрецы видели только, как их учение вращалось в узких кругах образованных людей, а потом передавалось от учителя к ученику — точно так же, как стоицизм, которому за четыре века до Марка Аврелия учил под афинскими портиками Зенон Китийский. Стоило бы задуматься, почему учение, у которого были такие предшественники, как Сократ и Аристотель, такие адепты, как Цицерон, Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий, которое чтили еще Монтень, Декарт и Паскаль, в истории морали и метафизики никогда не становилось всеобщим.

Наверное, при Марке Аврелии стоицизму не повезло. Множество людей стало философствовать по примеру императора, сообщает его биограф и добавляет, что эта мода настораживала плебс и некоторых военачальников. Если так, императору следовало больше действовать своим личным авторитетом, чтобы религиозно-политическое сообщение, носителем которого он был, лучше отпечаталось в сознании современников. Когда он только вступал на высшие должности, подданные Империи были готовы принять трансцендентную истину или несколько таких истин. Более открытая и боевая натура могла бы — как позже явили пример Диоклетиан и Юлиан — противопоставить новым религиям откровения, пришедшим с Востока, очень сильную систему социальной этики, гораздо лучше подходившую к римскому гению, к коренному римскому язычеству. Но ведь очерк этой этики как раз и виден начиная с первых же строк знаменитого «каталога благодарностей». Так почему бы не помечтать, что почти сверхъестественная власть императорской должности, поставленная на службу стоицизму, могла бы дать иное направление цивилизации?

Не один Рустик давал уроки, не забытые прилежным учеником. Кроме него и Аполлония Марк Аврелий упоминает сенатора Клавдия Максима. О нем мы знаем только то, что он

был консулом, легатом Паннонии и проконсулом Африки. Этот стоик был не так суров, как Рустик; он показан нам не столько как носитель учения, сколько как просто хороший человек: «Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа… Никогда не изумлен, не потрясен, нигде не торопится и не медлит, не растерянный и не унылый… благодетельствующий и прощающий, нелживый; от него пришло представление, что лучше невывернутый, чем вправленный…» (I, 15). Марк Аврелий не раз возвращается к последней формуле, очевидно, имевшей для него глубокий смысл. Как ни упражнял он волю, но больше доверял природе, чем средствам исправления. И еще он говорит о Максиме: «Как выполнял он без сокрушения лежащие перед ним задачи; и как все ему верили, что он как говорит, так и думает, а что делает, то беспорочно делает» (I, 15). Словом, личность для императора явно важнее проблем.

Аполлоний, Рустик, Максим были учителями, посланными Провидением; всем им, а также Фронтону, воздвигли статуи на Форуме. Они служили образцами молодому Цезарю, но еще раньше на него влияли другие — те, кого избрали ему для первоначального образования деды. В самом первом из них, даже имени которого не сохранилось, ему запомнилась обескураживающая сдержанность, советы воздержания: «Не стал ни Зеленым, ни Синим, ни пармуларием, ни скутарием[23]; еще выносливость и неприхотливость, и чтобы самому делать свое и не вдаваться в чужое» (I, 5). Такие правила вряд ли сильно восхищали мальчика, но в ранней мудрости своей он встретил нового, по-видимому, весьма замечательного учителя, Диогнета, который учил его, вероятно, живописи, но он-то и сделал из него того философа, которого мы знаем. И вновь — удаление от суеверий, от повадок молодости и даже полное равнодушие к окружающему: «Несуетность; неверие в россказни колдунов и кудесников об их заклинаниях, изгнаниях духов и прочее; и что перепелов не стал держать и волноваться о таких вещах; что научился сносить свободное слово и расположился к философии… и пристрастился спать на шкурах и ко всему тому, что прививают эллины» (I, 6).

От грека Диогнета многое зависело в царствовании, которое могло бы стать заурядным и непрочным, если бы с самых ранних пор ум Марка Аврелия не обрел потребность во внутреннем костяке, который не сломает никакое искушение в мире. Мы видели, как он поддавался на прелести внешней науки и сдавался на риторические увещания, посылаемые Фронтоном. Но в его письмах видна какая-то усталость, и старый адвокат прекрасно это видел. Он пытается удержать его на пути: «Работай еще, и я

обещаю тебе, что ты достигнешь вершин красноречия». Но Диогнет победит. В один прекрасный день Фронтон получит такое письмо: «Возвращение твое для меня и радость, и мучение. Почему радость — можно не спрашивать. Почему мучение — скажу тебе откровенно. Ты дал мне тему для обработки. Я не притрагивался к ней, и не из праздности, но сейчас меня занимает книга Ариста Стоика. Из-за него я то согласен с собой, то несогласен: согласен, когда он учит меня добродетели, несогласен, когда показывает, до чего я страшно еще далек от этих прекрасных образцов. И твой ученик стыдится, как никогда, что, дожив до двадцати пяти годов, еще не проникся всей душой этими глубокими мыслями».

Коллективный портрет учителей, написанный стареющим учеником, еще не завершен. Есть в нем и другие имена: Секст («Мысль о том, чтобы жить сообразно природе» (I, 9), Александр грамматик («Рассматривать не слова а дела» (I, 10)[24], Александр Платоник («Не извиняться вечно… что… не делаешь надлежащего, ссылаясь на обступившие тебя дела» (I, 12) и особенно однокашник и друг Север («Представление о государстве, которым правят в духе равенства и равного права на речь» (I, 14). Эта сеть переплетающихся, дополняющих друг друга, сознательно принятых, хорошо укорененных связей была удачей не только для человека, но и для общества. Еще тридцать пять лет они будут влиять на правление, определять структуру политики Империи. Так что не праздным кажется заданный выше вопрос: как объяснить, что общество не получило от них устойчивого импульса? Какие скрытые силы и ошибки вскоре дестабилизируют складывающееся государство? Лишь дойдя до конца этого царствования, можно будет рискнуть дать ответ.

Глава 3
АНТОНИНОВ МИР (145–161 гг. н. э.)

Во всем ученик Антонина: это его благое напряжение в том, что предпринимается разумно, эта ровность во всем, праведность, ясность лица, ласковость, нетщеславие…

Марк Аврелий. Размышления, VI, 30

Возраст посвящения во власть

Весной 145 года для Марка настало время жениться на кузине Фаустине. Для римлян этот брак был великим праздником, для молодых людей — потерей невинности, для имперской политики — новым этапом. О празднике известно только то, что он запомнился. Предположение, что молодые получили первый опыт, очень вероятно. Фаустина, выходя в пятнадцать лет из гинекея, не могла не быть девственна, Марк тоже явно сохранял невинность. Он долго оставался мальчиком, занимавшимся детскими забавами в ногах мамочкиной постели, а позже был доволен, «что сберег юность свою, и не стал мужчиной до поры, но еще и прихватил этого времени» (I, 17). Для римлянина это необычное признание. Немногие, если не считать христиан и некоторых адептов Кибелы, хвалились половым воздержанием. Но до сих пор мало обращали внимание на заповедь, которую Марк наверняка прочел в «Беседах» Эпиктета — она дает мерку нравственных требований нормального стоицизма: «Что же до любовных удовольствий, старайся, насколько возможно, хранить себя чистым до брака». Это всего лишь совет, но в контексте очень последовательной системы «Бесед» он вполне способен привлечь к себе душу, полюбившую чистоту, тем более что Эпиктет с его релятивизмом не ставит перед читателем неразрешимых дилемм: «Вступив же в брак, получай дозволенное». Понятно, что и царевич не избежал этой участи — несколько месяцев спустя стало известно, что Фаустина беременна.

До чего доходила лукавая мудрость Эпиктета, которую Паскаль считал дьявольской, видно из продолжения этого совета:

«Но не будь высокомерен с тем, кто делает это, не хули их и не возносись тем, что этого не делаешь». Подобная терпимость, делавшая добродетель не тираническим требованием, а личным выбором и во многом — примером, не могла не ободрять Марка Аврелия. Есть и другие доказательства того, что он хранил невинность до брака. Читая некоторые из его «Размышлений», поневоле усомнишься, что физическая любовь доставляла ему огромное удовольствие. Зато о том, что он, будучи уверен в своем нравственном праве, неукоснительно выполнял свой супружеский и государственный долг, свидетельствуют тринадцать беременностей Фаустины. А то, что он, овдовев в пятьдесят девять лет, завел себе наложницу, может объясняться как силой привычки, так и принятым в медицине его времени представлением о телесной гигиене.

Одновременно с браком Марк преодолел еще один важный этап, получил новое посвящение: он второй раз стал консулом, вновь отправляя эту должность вместе с императором, но теперь уже «ординарным», то есть весь год оставаясь названным его именем. Марк по-настоящему принимал на себя ответственность, что было важнее мужской тоги, которая для него не так отчетливо, как для других молодых римлян, отмечала момент вступления в ряды граждан. Как ни парадоксально, до сих пор наследный принц учился всему, кроме реалий римской жизни, в которую его сверстники, независимо от сословия, уже десять лет как вступили. Конечно, он гораздо раньше положенного возраста стал всадником и даже «принцепсом юношества» — высокопоставленным жрецом, приближенным к императору. Нам ясно, сколь совершенным было его воспитание. Но надо учесть, какой богатый опыт к этому возрасту успевали накопить его товарищи сенаторского и всаднического звания. Все они проходили начальную военную подготовку на Марсовом поле и усиленное риторическое образование в частных или общественных школах Аполлония, Секста или кого-либо из их менее знаменитых коллег. Следом за учителями они приходили и на Форум, и в салоны, и в таверны.

На двадцатом году начиналась собственно карьера (cursus). Для латиклавиев вначале это были «вигинтивиратские» должности при Монетном дворе, в муниципальном суде или по благоустройству города. Затем в течение года молодой человек был трибуном легиона, потом исполнял разные должности в кулуарах Сената и наконец в двадцать пять лет начинал заседать в нем в звании квестора. От сына всадника требовалось больше. Его воинское воспитание начиналось тремя годами службы в трех званиях (tres militiae) — префекта вспомогательной когорты,

трибуна легиона, префекта кавалерийской алы; затем он служил помощником высших чиновников ведомств мостов и дорог, водного или фискального, а затем и занимал их место. Разнообразие должностей и в войсках, и в канцеляриях давало ему если не компетентность, то хотя бы знакомство с полем действия практического гения римлян. Но что знал о происходившем в Италии и провинциях Марк? Только то, что слышал из разговоров в императорском кабинете и за ужинами с виноградарями в Ланувии. Что знал он о честолюбивых помыслах разных начальников и подчиненных, волновавших административную и военную иерархию от Рима до самого края света?

Казалось, что Антонин, сам хранивший мудрое и реалистическое представление об Империи (в его глазах она была очень большим, но в сущности управляемым так же, как и Ланувий, поместьем), не особенно заботился о практической неопытности своего наследника. Почему бы ему не вытащить племянника из комнаты, не отправить в Мавританию, где начиналась партизанская война, или в Сирию — воспрепятствовать агрессивным поползновениям парфян? С точки зрения династической стратегии это было бы логично. Разве сам Август не подверг очень ранним испытаниям своих сыновей, цезарей Луция и Гая[25]: первому доверил поход в Испанию, второму поручил возвратить престол вассальному армянскому царю, которого прогнали парфяне? Адриан также счел себя обязанным отправить цезаря Коммода, который никогда не был воином, на паннонский театр войны во главе действующих легионов. В том и другом случае задачей было дать будущим императорам военный опыт, укрепить их положение в глазах армии, а также, конечно, приготовить им триумф в Риме. Но Луций и Гай умерли в своих походах, а Коммод приехал умирать в Рим.

Держал или нет Антонин эти примеры в своем суеверном уме? Он конечно же думал, что нет никакого смысла подвергать хотя бы малейшему риску доверенного ему наследника, законность которого не нуждалась в подтверждении. Выбор мира или войны был делом государственного престижа — не столько применением, сколько демонстрацией силы. По крайней мере, уже тридцать лет — с тех пор, как Траяна сменил на престоле Адриан, — проводилась именно такая политика. Казалось, что даже враги Рима с этим смирились. Уже то, что Адриан, Антонин и Провидение выбрали Марка, подтверждало примат разума над силой и дипломатии над войной: иначе зачем вообще нужен на высшем посту молодой интеллектуал хрупкого сложения? Однако

двадцать лет спустя, как мы увидим, сам Марк оценит глубину этой ошибки и своему сыну Коммоду определит — с еще меньшим успехом — прямо противоположную участь.

Безмятежное терпение Антонина

Антонин был не из тех, кто любит переламывать природу. «Все обдуманно, по порядку, и будто на досуге, невозмутимо, стройно, сильно, внутренне согласно» (I, 16). Он нисколько не торопил созревание Марка, а позволял ему жить в своем ритме, не противоречил его интеллектуальным увлечениям, хоть сам и не разделял их, никак не проявлял желания поскорее разделить со своим коллегой обязанности, которыми и самого себя не перегружал. Антонин не был столь предприимчив, как Адриан или Траян; видимо, он ввел вмешательство государства в рамки строго необходимого, особенно в том, что касалось строительства и нового законодательства. Он щедро делегировал свои полномочия, особенно двум префектам претория, побившим все рекорды чиновничьего долгожительства. Двадцать пять лет подряд Гавий Максим, человек скромного происхождения, был настоящим премьер-министром при двух императорах. «Он был так постоянен в выборе, что по семь и даже по одиннадцать лет оставлял на местах губернаторов провинций, если они хорошо справлялись с должностью». В системе, где привыкли к быстрой смене лиц на службе в отдаленных местах, для того чтобы удовлетворить как можно больше кандидатов (как и для того чтобы избежать их чрезмерной влиятельности и злоупотреблений), сроки были действительно рекордные. В общем, этот благодушный либерал скупо использовал свое всемогущество. «Ничего резкого, не говорю уж беззастенчивого или буйного, — рассказывает Марк Аврелий, — никогда не был он, что называется „весь в поту“» (I, 16).

Император, не мучившийся потом от гнева, страха или переутомления, в Риме действительно был чрезвычайной редкостью. Антонин застал на редкость мягкий исторический климат, так сказать, средиземноморское бабье лето середины II века. Этот крупный землевладелец, строивший храмы богине Кибеле, был создан, чтобы собирать урожаи поздних культур. Словом, после того как Траян вновь инвентаризировал Империю, ею можно было управлять двумя способами. Сам Траян правил активно — лично вел легионы и саперные команды на край света; вслед за ним Адриан двадцать лет хлопотал на самой большой строительной площадке, виданной в истории. Другой способ — спокойный, и Антонин затормозил так резко, что систему могло

бы и занести. Но тут проявилась глубинная природа Империи: это была превосходная административная машина. Если ее хорошо завести, она могла несколько десятилетий функционировать автономно, разве что ее могли сломать внешние воздействия: военный переворот или сумасброд на Палатине.

Конечно, такие несчастные случаи прямо или косвенно были связаны с чрезмерным либерализмом и слишком большой свободой действий, допускавшейся для правителей. Однако опыт, начатый Антонином и доведенный до крайности Марком Аврелием, имел свою логику и был, по крайней мере с виду, подлинным завершением режима, установленного Августом, а также образцом для «просвещенных монархий» и «добродетельных республик» нашего века Просвещения. Для этого было довольно беспрерывного функционирования системы кооптации власти элитой, эмпирически установленной Основателем. Потом ее полвека извращала его же собственная династия, а затем Нервой и Траяном она была восстановлена в почти конституционной форме. Плиний в «Панегирике Траяну» прекрасно говорил об этом — может быть, даже слишком хорошо.

Марк и Фаустина на Палатине

30 ноября 147 года Фаустина родила на свет девочку, получившую имя Домиции Фаустины. На следующий день, 1 декабря, сенат по просьбе Антонина дал Марку Аврелию проконсульский империй. Теперь у него была равная с императором власть над войском и провинциями, и tribunicia potestas — исключительные полномочия, изобретенные Августом, чтобы пожизненно, хотя с ежегодным подтверждением, получить священную власть народных трибунов. Насколько важен был юридический трюк Основателя, станет понятно, если учесть, что он тем самым становился неприкосновенен: действующего трибуна никто, даже сенат, не мог ни наказать, ни сместить. Эта же фикция давала ему право созывать сенат, блокировать его решения, а также решения любого должностного лица[26]. В то же время сохранялись и прежние трибуны, но с меньшими полномочиями. Нет лучшего примера конституционной уловки, при помощи которой совершился переход от Республики к Империи: ведь она и полтора века спустя все еще управлялась от имени римского сената и народа.

Теперь Марк стал коллегой Антонина, соправителем императора, но не носил неделимого титула верховного понтифика и не был Августом. Поэтому мы с удивлением видим, что в тот же самый день Фаустина получила от сената титул

Августы. Быть может, Антонин хотел передать ей титул покойной матери, которая по смерти была объявлена Божественной? На Палатине образовалась протокольная вакансия, которую следует заполнить? Может быть, отец, потерявший двух сыновей и дочь, перенес всю свою любовь на последнего ребенка, и его сожительнице, гречанке Лисистрате, приходилось с этим считаться? Говорили, что эта беспримерная милость поощряла гордыню, властность и независимость Фаустины в ущерб ее мужу. Но хотя эти психологические заключения опираются на древнюю и прочную традицию, они не согласуются с посмертной хвалой, которую Марк Аврелий воздал матери своих детей: «И что жена моя — сама податливость, и сколько тепла, неприхотливости» (I, 17). Прежде чем говорить о лицемерии, слепоте или по крайней мере вежливой неправде, следовало бы во всех подробностях изучить, как жила эта чета, посмотреть на их плодовитость, вынужденные разлуки, вместе перенесенные испытания, проблемы со здоровьем. Сразу же скажем, что вопрос, был ли искренен на этот счет муж и верна ли была ему жена, так и не удастся решить.

Молодая семья поселилась в императорской резиденции, так называемом Доме Тиберия, на северной стороне Палатина, над Форумом и Священной дорогой. Этот дворец был, конечно, представительнее, чем нарочито скромный дом Августа и Ливии, но не столь пышен, как дворец Домициана, закрывавший с восточной стороны овраг, в котором стоял Большой цирк (теперь он служил для официальных церемоний). У каждого императора был свой стиль, выражающий его амбиции и фантазии. Веспасиан и его сыновья, происходившие из италийских мещан, любили пустить пыль в глаза римским жителям. Они снесли Золотой дом Нерона с парком развлечений и огромным причудливым театром, выстроенным по замыслу эксцентричного режиссера, и на его месте возвели массивный нерушимый Колизей (названный в память колоссальной статуи прежнего хозяина, стоявшей там). Сменивший их Траян почти не появлялся на Палатине — он всю жизнь провел в походных шатрах. Благодаря Траяну в Риме появился большой и полезный кирпичный рынок. Для него гениальный архитектор Аполлодор Дамасский построил самый величественный из Форумов, где от императора осталась великолепная мраморная спираль в память его дакских походов. Нет доказательств и тому, что на Палатине долго задерживался испанец Адриан, плененный Грецией. Рим, как и все города Империи, украсился плодами его дерзких архитектурных замыслов: куполом Пантеона, твердыней замка Святого Ангела, — но чтобы полюбоваться столицей его

космополитической мечты, надо поехать в Тиволи.

Трудно не остановиться в мечтах о великолепной вилле Адриана, которой ее строитель почти не успел насладиться, а жили ли в ней вообще его преемники, неизвестно. Там все противоположно обстановке комфортабельной простоты, к которой привыкли Антонины. Даже в суровом Доме Тиберия, с его мрачными воспоминаниями и старым этикетом, им было неуютно. В придворной обстановке Рима были свои неизбежные ритуалы: ежедневные утренние аудиенции чиновников и клиентов семьи, приемы послов, выходы в амфитеатр и на скачки. Весь Палатинский холм был застроен дворцовыми службами — это при том, что администрация главным образом находилась в префектуре претория на Виминале. Поскольку из Ланувия или Лория, где чиновничества было меньше, а официальных обязанностей совсем мало, управлять Империей можно было не хуже, Антонин и перенес туда свои пенаты. Империя стала практически двуглавой; молодой соправитель императора разлучался с ним только затем, чтобы отправиться в Рим председательствовать на заседании сената и присутствовать на торжественных церемониях.

Душа в мраморе

Скульптура подтверждает донесенные литературой свидетельства о душевном облике Марка Аврелия — так же, как и Антонина. Нет ничего удивительного, что самые лучшие места его философского наследия ассоциировали с бородатым всадником на Капитолии. Здесь внешний облик так соответствует внутренней жизни, что можно даже подумать, будто художник сделал это нарочно. Но и другие парадные изображения императора — медали, барельефы — говорят нам то же, если учесть, что им трудно выразить больше, рефлектировать над нюансами и противоречиями.

К счастью, у нас есть и изображения молодого Марка. Лицо безбородого мальчика на них парадоксальным образом больше говорит о человеке, который, став взрослым, словно спрятался за принятыми атрибутами. На сохранившемся бюсте мы видим юношу лет шестнадцати-семнадцати с треугольным лицом, высоко поднятыми бровями над большими неглубоко посаженными глазами. Нос острый и довольно длинный, волосы густые, курчавые. Все вместе производит впечатление ума и сосредоточенности, несомненно, восходящее к модели, поскольку портрет, совершенно очевидно, сделан с натуры.

Если держать в уме эту чистую схему внешности, в

последующих портретах, на которых лицо скрывается все более пышной с годами растительностью, легче разглядеть, как черты становятся резче и некрасивее. Глаза начинают выступать из орбит — это позволяет заключить, что они испорчены долгими бдениями и чтением; щеки становятся впалыми, четко выступают скулы. Говорят о рассеянном и грустном взгляде Марка Аврелия. И действительно, на весьма реалистичном золотом бюсте из Лозанны мы видим измученного пожилого человека с морщинистым лбом и отсутствующим взглядом. Мы не знаем, какого он был роста — очевидно, ниже Антонина или своего названого брата Луция Вера. О том, что он был худ, говорится только намеками, но если вспомнить о тяготах военных походов, постоянном посте и бессонных ночах, это будет не просто предположение.

Уже легендарным является облик Марка Аврелия в сочинении его отдаленного преемника императора Юлиана. Двести лет спустя, когда между двумя военными кампаниями он занялся лихорадочным сочинительством, ему пришло в голову написать притчу, в которой обожествленные императоры на Олимпе празднуют сатурналии. Ромул пригласил на царский пир богов и прежних властителей Рима. Меркурий объявил состязание, на котором из многих кандидатов избирают превосходнейшего. И вот входит Марк Аврелий: «Когда его позвали, он явился. Видом он был величествен, глаза и лицо слегка тронуты утомлением, но его изысканная и элегантная повадка являла неоспоримую красоту. Борода его была пышная и ухоженная, одежды простые и скромные. Тело его так было изможднено и утончено постоянным воздержанием, что все казалось лишь чистым сиянием света». Понятно, что Юлиан, в то время сражавшийся с наступавшим христианством и притязаниями Церкви на власть в Империи, отдает пальму первенства стоику Марку Аврелию. Но чтобы игра шла по правилам, ему сначала приходится оправдаться от обвинений в преступной слабости к жене и сыну.

Потомство запомнит Марка Аврелия только взрослым, преждевременно состарившимся. Поэтому нужно усилие воображения, чтобы представить себе его засидевшимся в мальчиках молодым человеком рядом с Фаустиной, которая, не достигнув еще двадцати лет, родит вторую дочь, причем в это самое время Марк будет принимать все большее участие в государственных делах. Известные нам изображения Фаустины не говорят о ней почти ничего — лишь показывают классическую, холодную, высокомерную красоту. Ее прическа весьма интересна для специалистов по истории моды: видно, что по сравнению со

стилем предыдущего поколения произошла серьезная и долговременная перемена. Фаустина Старшая заплетала волосы в косы, уложенные на голове высоким шиньоном. Теперь их стали носить на пробор, уложенные крупными волнами, слегка закрывая ухо и с пучком на затылке. Мать и дочь были похожи: у обеих лица были полные, с красивым овалом и резковато очерченным носом. Судить, насколько Фаустина Младшая была обаятельна, нам трудно, сведений о ее уме у нас тоже нет. Точно известно одно: после тридцати лет она стала играть большую роль в управлении Империей, а двигали ею честолюбие, материнская любовь и династический долг.

Вторая дочь родилась в марте 150 года. Ее назвали Анния Галерия Луцилла. Свое имя она оставила в истории. За год до этого два сына умерли при рождении. Наследника, оставшегося в живых, ждали еще много лет: мальчики умирали гораздо чаще девочек, а поскольку продолжить династию без мужского потомства было нельзя, Фаустине пришлось за отпущенное ей время жизни произвести на свет еще семь детей. С ней случались горячки, сильно тревожившие семью: отрывки до нас донесли письма к Фронтону, превратившиеся в бюллетени о состоянии здоровья людей, брошенных на милость бессильной медицины. Колыбели малюток окружала то радостная, то встревоженная любовь. Об этой стороне эмоционального мира римлян слишком часто забывают. Привязанность к новорожденным в латинской литературе действительно проявляется не часто, но в каком жанре оставалось для нее место во II веке, когда даже христиане еще и не думали о культе Младенца Иисуса? Но ведь надо только почитать римские эпитафии, чтобы увидеть эту любовь, нередко смешанную с отчаянием и уж точно не такую смиренную, как хотели бы стоики.

Читая суровые заклинания «Размышлений», надо помнить о трогательных интонациях писем: тогда станет понятно, что автор заклинал самого себя. Не надо доверять ученику Эпиктета, когда он требует спокойно подсчитывать детей, «взятых природой», в числе прибылей и убытков. Лучше почитаем его письмо к Фронтону: «Если будет угодно богам, можно, кажется, надеяться на выздоровление. Понос прекратился, лихорадка успокоилась. Но тревожит еще слабость и грудной кашель. Понимаешь, конечно, что я говорю о нашей Фаустиночке, о которой мы очень беспокоились. Но скажи мне, лучше ли стало моими молитвами твое здоровье…» Фронтон отвечает: «Боги великие, как я испугался, читая твое письмо! Поначалу можно было подумать, что ты пишешь о собственном здоровье… После понял, что речь о Фаустиночке, и страх мой прошел. Нет, на самом деле не прошел,

но стал некоторым образом легче. Слышу, как ты говоришь мне: „Так ты о моей девочке беспокоишься меньше, чем обо мне?“ Как можешь думать так, если я знаю, что ты зовешь это дитя своим днем праздничным, светом тихим, желаний исполнением, радостью совершенною?» Запутавшись в собственной диалектике, старый друг выпутывается пируэтом: «Поцелуй же от меня, если ей будет угодно, ручки и ножки своей маленькой барышне».

Третье лицо

Приходит пора опять увидеть на сцене подзабытого было молодого Луция Цейония, второго приемного сына Антонина, в правах равного брату, но из-за разницы в годах отодвинутого далеко на задний план. Впрочем, он отстал еще больше, поскольку первое консульство получил только в двадцать три года (конечно, и это было намного раньше обычного срока), в то время как Марк Аврелий впервые заступил на эту должность в восемнадцать лет. Вторым он был, вторым и оставался, пока был жив Антонин, не уделявший ему большого внимания. Марк всегда был по правую руку от императора; он ездил на его колеснице, а Луций — на колеснице префекта претория. Такое обращение не испортило его характера: он оставался веселым и добродушным. Самые недоброжелательные хронисты могли поставить ему в вину только праздность и сластолюбие. Как и его отец Цезарь Цейоний, он, видимо, всегда плыл по течению. Имя и внешность работали на него. Скульптура и здесь подтверждает письменные источники: бюсты показывают нам замечательно красивого человека с ясным, привлекательным взглядом из-под длинной непрерывной линии совершенно горизонтальных бровей. Его кудрявые волосы и борода были, вероятно, светлыми или осветлены золотым порошком. Как и отец, он любил лошадей, состязания, игры, женщин, но в отличие от своего предка обладал превосходным здоровьем.

Физическое и нравственное здоровье, несомненно, не давало повода для волнений Антонину и очень впечатляло Марка. Оно было нечаянной радостью для Империи, которую соперничество двух равноправных наследников могло разрушить. Адриан словно прочел по звездам или по наследственным признакам этих отпрысков хороших семей, что они будут миролюбивы и дополнять друг друга. И действительно, старший взял младшего под покровительство, а тот охотно принял его первенство, тем более что это избавляло его от умственных усилий и должностных обязанностей. Он был вполне доволен местом по левую руку от Антонина в цирке и в театре — там, где

утверждалась популярность государей, особенно тех, которые поддерживали конюшню Зеленых, самую любимую среди плебеев. Луций, как и Антонин, любил пантомимы, на которых Марк Аврелий явно скучал. Таким образом, казалось, что государство пришло в равновесие и можно ни о чем не беспокоиться. Формально у него было три главы, на деле же два, что видно и по монетам, где Луций — просто приемный сын императора — не изображается.

Правда, надо ли говорить, что молодой Луций был добр по натуре? Быть может, неиспорченность его характера надо приписать духу времени? Можно попробовать представить себе Нерона, не искалеченного морально матерью, не развращенного вольноотпущенниками, усерднее учившегося у Сенеки, не отказавшегося от первоначальных добрых намерений, разделившего правление с молодым Британником. Но вряд ли такое могло быть. Моральный климат правящих слоев римского общества I века был испорчен произволом и преступлениями Тиберия, Калигулы, Клавдия. Когда же зрелости достиг Луций, уже полвека, за исключением четырех-пяти случаев, соблюдалось табу на кровопролитие, установленное Нервой и Траяном. Тацит и Светоний красноречиво предупреждали, как страшен бывает цезаризм. Впрочем, ленивого молодого наследника учили очень хорошо: он брал уроки у тех же учителей, что и Марк, включая Фронтона.

Очень трогательно наблюдать, как знаменитый ритор, когда его переписка с Марком Аврелием выдохлась, вновь обретает молодой задор в письмах его младшему брату, а тому, в свою очередь, явно льстит, что его принимают всерьез. Переход от Марка к Луцию прошел гладко. По примеру отца Луций считал долгом быть покровителем словесности, у него были свои придворные сочинители, но больше всего его занимали лошади. Древние биографы писали, будто его знаменитого жеребца по имени Пернатый кормили из мраморных яслей, будто палатинских коней покрывали парчовыми чепраками, но эти фантазии в духе Калигулы всегда встречаются в полумифических жизнеописаниях второстепенных Цезарей. Биографии отца и сына Цейониев были сфабрикованы на основе очень скудных фактов, исходя из соображений симметрии; ложе из лепестков роз и гурманские роскошества — все это риторические общие места. Того, что нам известно о Луции: симпатичное лицо, милейшие письма и малая роль в государстве, — достаточно, чтобы судить, что человек он был, в общем, самый обыкновенный.

Три строчки, посвященные ему Марком Аврелием, не такого рода, чтобы ясно очертить его образ: «Что брат у меня был такой,

который своим нравом мог побудить меня позаботиться о самом себе, а вместе радовал меня уважением и теплотой» (I, 17). Эта невнятная похвала заставляет задуматься, но не столько о самом адресате, сколько об авторе. Всегда было непонятно, как же Марк относился к Луцию. Нередко почести, которые старший щедро даровал младшему, его долготерпение, изъявления привязанности к брату приписывали комплексу слабого по отношению к сильному. Другие давали понять, что он его едва терпел, что ранняя смерть Луция была Марку облегчением, если он ее вообще не ускорил. Одно другого не исключает (кроме предположения о братоубийстве). Можно себе представить, что легкомысленный и безобидный нрав Луция и раздражал брата, на которого ложилась вся ответственность, и не давал долго сердиться. Как государственный деятель Марк Аврелий задавал себе не вопрос «как от него избавиться?», а вопрос «на что он может сгодиться?». Вскоре явится и удачное решение, но оно окажется иллюзорным. Слишком серьезный брат плохо ладил со слишком веселым. Отсюда и весьма двусмысленная благодарность, которую мы только что прочли. Возможно, рассказ о дальнейших событиях поможет нам расшифровать ее.

«Общий рынок по всей земле»

В 148 году Антонин праздновал девятисотую годовщину основания Рима. Традиция требовала отмечать этот праздник грандиозными Столетними играми. Потребовалось несколько лет подготовки: ведь римляне должны были увидеть демонстрацию силы и необъятных масштабов Империи. Она стала всемирной, и на этот раз по улицам Города проходили не пленники, осужденные на рабство или смерть, а представители союзных или присоединившихся народов: батавы, бритты, мавры, сирийцы, арабы, иудеи, египтяне, другие союзники, не столь известные — всякие альбиоталы и осроэняне; все они несли яркие и помпезные символы своих культур. Но больше всего поразили умы редчайшие дикие животные: крокодилы, тигры, гиппопотамы и даже, как передавали, леокрокотты и стрепсицероты — помеси антилоп, гиен и львов. По случаю этого праздника Единства, в честь которого были выбиты медали, в Риме собрались лучшие представители всех народов Империи.

Именно тогда великий оратор из Смирны Элий Аристид прочел свою знаменитую «Похвалу Риму», где, с поправкой на неизбежно присущие жанру риторические преувеличения, ясно высказана политическая философия элиты, бессознательно, через повсеместный культ императорского гения, проникавшая и в

народ: «Благодаря вам весь мир стал общей родиной людям. Варвар и грек безопасно может отправляться, куда заблагорассудится. Чужестранцы повсюду встречаются с гостеприимством. Каждое ваше дело подтверждает слова Гомера, сказавшего, что мир есть общее достояние… Через реки вы перебросили мосты, через горы провели дороги, населили пустынные места, повсюду улучшили жизнь, утвердив закон и порядок. Скажем, что человечество, в тоске стенавшее, благодаря вам наслаждается ныне благоденствием и процветанием».

Главное в этом длинном панегирике вот что: сбылось одно очень древнее чаяние — чаяние безопасности. Верно то, что Империя создала никогда прежде не собиравшиеся вместе условия, чтобы на огромном пространстве создать всеобщее процветание. Для этого нужны были дороги, единая монета, общая политика, честная администрация и долгий период внутреннего мира при хорошо охраняемых границах. Все это стало результатом огромной работы, проведенной за полтора века после Августа. Но расцвета устройство Империи достигло благодаря гению династии Антонинов: бескорыстию, либеральной открытости и миролюбивой внешней политики. Вместе с ней как раз появляется новая идея: идея общечеловеческой солидарности. У этого понятия, как и у понятий общества и свободы, было, конечно, не то содержание, которое мы им приписываем, и прежде, чем сравнивать две эпохи, употребляя одни и те же слова, их надо подвергнуть тщательнейшему семантическому анализу. И все-таки можно позволить себе услышать в энтузиазме эллинского ритора, говорившего перед молодым царственным слушателем, первые признаки новой эпохи.

«Ни море, ни протяжение континента не могут препятствовать стяжанию общего гражданства. Для гражданина нет границы между Азией и Европой. Все открыто для всех — ни один человек, достойный власти или почтения, не останется в стороне. Повсюду в мире одна демократия под единым главенством. Имя римлянина вы сделали именем не одного города, но единого народа. К Городу же сходится все: он подобен общему рынку для всей земли». Похвала заходит далеко — слишком далеко: ясно видна опасность, что общий рынок станет монополистическим. Город может поглотить все: огромный крытый рынок Траяна на это способен. Властителям Рима потребуется очень ясный ум, чтобы рассредоточить и перераспределить богатства. Они сделают все, что смогут: ведь они считали, что имеют мандат от всех народов, находившихся под их попечением. Траян сказал своим старым друзьям: «Если вы

станете моими наследниками — поручаю вам провинции». Впрочем, ему можно поставить в упрек, что он не помог Испании во время неурожая, в то время как Марк Аврелий, по сообщению Капитолина, послал в эту провинцию зерно из запасов, предназначенных для Рима. Как видим, дух солидарности ушел далеко вперед.

Элий Аристид был отнюдь не мелким наемным краснобаем. Весьма известный уже к тридцати годам, он демонстрировал свое блестящее красноречие, объезжая города вокруг Средиземного моря, где царила мода на так называемую «новую софистику». Возрождение аттицизма воплотилось в процветании художников слова, украшавших культурные действа. Города Азии, Греции и Италии сулили им золотые горы, чтобы они защищали их интересы в Риме, чтобы оставались в них как адвокаты и руководители школ. Так Аристид стал гражданином Смирны. Позднее он так замечательно ходатайствовал за этот город, разрушенный землетрясением, что добился от Марка Аврелия значительной субсидии на его восстановление. Как и многие другие виртуозы красноречия, он был знаменит своими капризами. Все знали, как он почитал Асклепия: затворялся в храмах чудотворца, ничего не делал без его оракулов, в последний момент отменял публичные выступления, если предсказания были недобрыми. Мы еще увидим, как однажды он очень настойчиво просил у императора Марка Аврелия дозволения говорить перед ним.

Есть предположение, что Элий Аристид был эпилептиком. Но главной болезнью великих риторов было тщеславие актеров, испорченных славой, а иногда и расчетливые капризы. Хроники донесли до нас много примеров психодрам, служивших рекламе этих капризных и в то же время священных чудовищ. Например, у знаменитого Полемона, учителя Аристида, был один из лучших домов в Смирне, и когда Антонин, тогда проконсул Азии, остановился в этом городе, городские власти сочли за благо поселить его у ритора, который был тогда в отъезде. Но среди ночи хозяин вернулся и бушевал до тех пор, пока проконсул не очистил помещение. Позже, когда Полемон приехал в Рим и явился на Палатин, Антонин, ставший уже императором, сказал ему, что предоставит такое жилище, где ритор сможет хотя бы спокойно выспаться.

Новая софистика

За несколько лет до выступления Аристида к Цезарю Марку Аврелию был приглашен давать уроки стоик Аполлоний, и мы

знаем, какие именно уроки вынес для себя ученик: «независимость и спокойствие… не глядеть ни на что, кроме разума… всегда быть одинаковым» (I, 8). Ясно, что такого мудреца мы представляем себе скромным и спокойным. Но свидетельства современников говорят нам, что всем своим поведением напоминал он взбалмошных коллег. Едва прибыв в Рим вместе со всей своей школой, он получил прозвище Ясон, потому что походил на капитана судовой команды, отправившейся в поход за золотым руном. Он нанял богатый дом на Эсквилине и не выходил из него. К нему прислали сказать, что его ждут на Палатине. «Положено ученику приходить к учителю», — ответил он. Антонин не упрямился. «В конце концов, — заметил он с юмором, — Аполлонию было гораздо легче добраться от Халкедона до Рима, чем пройти с Эсквилина на Палатин». Консул Марк Аврелий отправился в школу.

Если вдуматься, здесь нет ничего нелепого. В новой софистике встретились два течения, издревле проявлявших себя в греческой мысли: красноречие Эсхина и Демосфена и мудрость Сократа и Диогена. У этой педагогической системы, при всей пошлости ее чисто формальных упражнений, было две вполне практические цели: научить логически связной речи и формированию характера. Если ее усваивали как следует, получались строгие юристы и добросовестные чиновники. Честолюбцам она давала возможность соотнести себя с высокой культурой, а заодно являлась инструментом для достижения успеха. Она на все наводила лак гуманизма, необходимый для однородности общества, жившего на огромном пространстве: лаборатории находились в Греции, Малой Азии, Александрии, их филиалы — в Риме, Лионе, Отёне, Кордове, Карфагене, а потребители повсюду, от Британских островов до Аравии. Была широко распространена латынь, но основным языком все же оставался греческий.

По тому, что мы знаем об этой схоластике, она может показаться поверхностной, а то и примитивной, но ведь то же можно сказать и о нашей университетской науке от Абеляра до прошлого поколения, если взять из нее только риторические упражнения — само название показывает их ограниченность. На состязаниях в красноречии чем банальнее тема, тем выше ценятся искусство и воображение. Речи в защиту абстрактного победоносного военачальника, обвиняемого в нарушении приказа, или изнасилованной девушки, требующей казнить отца своего ребенка, мало чем отличаются от современных школьных сочинений. Неверно было бы с пренебрежением относиться к этому желанию подняться над интеллектуальным уровнем

общества, в котором и без того часто видят только любовь к физической силе и кровавым зрелищам. Умственные поединки ценились в нем ничуть не меньше, чем в нашем, и доходили до такой остроты, какой у нас не бывает. Дело в том, что магическая сила слова происходила из одного источника с силой крови: и словом и мечом убивали.

Крайнее интеллектуальное напряжение той эпохи с его насыщенностью и пустотой, со светом и тенями видны в необычайной судьбе Герода Аттика. Странно, что его имени нет в каталоге благодарностей Марка Аврелия, у которого он был учителем одновременно с Фронтоном. Это был несметно богатый афинский грек. Откуда взялось богатство его отца, для современников осталось тайной: говорили, что он нашел под домом клад, но вернее всего — наживался на спекуляциях и ростовщичестве, утаивая прибыль от Нероновых и Домициановых фискалов-грабителей. Когда Нерва объявил о возвращении свободы, Аттик-отец благоразумно написал ему: «Я нашел клад — что мне с ним делать?» Император ответил: «Употреби его себе во благо». Старый грек и тут поостерегся и отписал: «Я должен сказать тебе, что клад очень большой». «Тогда употреби его себе во вред», — был ответ. Как только в Империи вновь появилась вольность, вернулось и благосостояние.

Аттик-отец, римский сенатор и дважды консул, был связан с семьей матери Марка Аврелия, а его внук учился вместе с Домицией Луциллой. У Герода был необычайный ораторский дар, которым он снискал славу в Греции. Оттуда в 30-х годах его призвали в Рим, чтобы преподавать греческое красноречие Марку Аврелию, который был младше на двадцать лет. Слава его уже тогда не уступала богатству, а честолюбие почти не имело пределов. Как и его учитель Полемон, Аттик имел недоразумения с проконсулом Антонином, экипажу которого он, как говорили, отказался уступить дорогу на горе Иде. Чрезмерная властность по отношению к афинянам втягивала его в бесконечные тяжбы, причем в конце концов его противники обратились к Фронтону.

Совесть профессионального адвоката этим не смутилась, но Марку было горько смотреть, как его учителя и друзья готовы уничтожить друг друга в судебных залах. До нас дошло его смущенное письмо к Фронтону: «Правосудие должно идти своим чередом, и я не могу давать тебе советы… Но ты знаешь, как я люблю вас обоих… Могу ли я надеяться, что ты в личных нападках не зайдешь слишком далеко?» Фронтон решительно возражает: «Но не могу же я позволить нападать на себя в таком деле, где противная сторона обвиняется в растрате, мздоимстве и даже человекоубийстве… Я не знал, что Герод тебе так дорог.

Скажи тогда, что мне делать». Обмен письмами продолжился: они по-прежнему были осторожны, но непонятно, где там кончались теплые чувства и где начиналась строгость закона. Юный Цезарь не оставлял вежливого давления, Фронтон — завуалированного сопротивления. Под одним углом зрения анализ этой переписки покажет глубокую драму человеческой совести, под другим — пустяковый конфликт с предрешенным заранее результатом. Несомненно, этот случай весьма наглядно демонстрирует, как на самом деле функционировало римское общество и каково было разделение властей в государстве. Но ключ к делу потерян: история лукаво скрыла от нас приговор суда.

По-видимому, Герода лично все-таки не осудили, если процесс вообще дошел до конца: год спустя он уже был консулом вместе с Фронтоном. Дальше в его жизни триумфы чередовались с несчастьями. Он открыл свою школу в Марафоне, в великолепном имении с надписью на воротах: «Здесь начинаются владения Всемирного Согласия». Учащиеся съезжались со всей Империи. Повсюду стояли памятники и статуи из мрамора близлежащего Пентиликийского карьера — изображения его духовных детей и гробницы скончавшихся детей любви. Его страсть к знаниям была неутолима. Он читал за столом и в бане, диктовал секретарям в повозке, сам чертил планы строений, которыми одаривал Афины, страдавшие от его же злоупотреблений. Свидетельством тому до наших дней остался Одеон на боковом склоне Акрополя. Герод считался самым богатым человеком в мире, был признан самым красноречивым, но, как мы увидим, не избежал печального конца.

Риторы вызывали друг друга на состязания, как чемпионы, защищающие титулы. Эти блестящие зрелища освещали небо Античности, подобно метеорам, не оставляющим следов. Здесь кроется одна из причин бедности интеллектуального наследия той эпохи. Огромная энергия уходила в жар словесных поединков в амфитеатрах, одеонах и преториях. Отзвуки народных комедий, на которые римляне ломились не меньше, чем на скачки и гладиаторские бои, до нас также не дошли. Фантазий и слушателей для литературного творчества оставалось мало. Книжная торговля процветала, однако новинки, видимо, были редки. Современники почти не донесли до нас сведений о крупных именах, время — значительных произведений. Историки постоянно задаются вопросом о природе и степени этого упадка и о том, был ли он на самом деле[27].

Недвижный страж

Механизм совместного правления Антонина и Марка Аврелия превосходно работал уже двадцать два года (мировой рекорд). Даже самые недоброжелательные хронисты не оставили никаких свидетельств нетерпеливого недовольства или огорчения наследника. Рассказывают только, что однажды старый император гулял в саду со своим другом Гомуллом и тот указал ему на Домицию Луциллу, молившуюся перед статуей Аполлона. «Видишь, — сказал Гомулл, — она молит Бога поскорее забрать тебя». Но шутить было позволено, потому что ничего серьезного за этим не стояло. Марк Аврелий не возводил в проблему то, что в правлении он играл вторую роль, и мы, пожалуй, не должны на этом основании заключать, что он был слаб характером. Ему казалось нормальным делить неисчерпаемые обязанности, которых он не домогался и к каким не имел провиденциального призвания. Как мы увидим, он дважды по собственной инициативе и в гораздо менее благоприятных условиях повторил опыт соправления с разными партнерами.

На следующий, 161 год Антонин ослабел. Ему исполнилось семьдесят пять лет — для античности возраст преклонный. Его сильно беспокоили внешнеполитические проблемы. Царствование Антонина оставалось спокойным только ценой активной дипломатии и постоянной политики вооруженного сдерживания. В предсмертном бреду, ругая «царей, бросающих вызов Риму», он выражал тайную заботу всей своей жизни: поддерживать престиж и целостность Империи своих предшественников, но другими средствами. Он не мчался при каждом случае на границу, не являлся потомству в блестящих доспехах — разве что на статуе в Ватикане. Больше двадцати лет ему удавалось это чудо: стоя в центре, быть недвижным наблюдателем волнений на окраинах, выслушивать доклады, посылать обдуманные приказы понимающим дело легатам и недвусмысленные знаки беспокойным соседям.

Многие полагают, что секрет такой удачной внешней политики следует искать в совпадении чрезвычайно благоприятных условий, которыми Антонин пользовался или которым у него хватало мудрости не противиться. Действительно, вполне вероятно, что именно программа выпрямления и укрепления стратегических границ, начатая Домицианом, реализованная Траяном и методически завершенная Адрианом, дала Риму передышку, продолжавшуюся до середины века. Нет сомнения и в том, что варварских конников, гарцевавших возле рубежей Империи, обескуражили удары, нанесенные Траяном, и слава его оружия: наследники побежденных стали осторожнее, и Антонин застал поколение не слишком предприимчивых

парфянских, германских и британских вождей. Ему не пришлось противостоять большим организованным нашествиям. Но он вполне догадывался, что история лишь задержала дыхание, и, умирая, не был спокоен.

Император жил в Лории — поместье, где он вырос, на Аврелиевой дороге, ведущей из Рима в Галлию. Однажды на ужин он немного переел своего любимого альпийского сыра. Началось отравление, поднялся жар. Наутро Антонин вызвал обоих префектов претория и в их присутствии препоручил государство и дочь Марку Аврелию. Он велел перенести статую Фортуны (богини удачи), лежащую в постели императора, в комнату своего зятя и наследника. Затем он погрузился в беспокойный сон — тут-то все и услышали, как он впервые высказывает тревоги и гнев, таившиеся в нем всю жизнь. Но к утру он вновь успокоился, а вечером, когда дежурный центурион вошел к императору спросить пароль для стражи, тот прошептал: «Aequanimitas», — что приблизительно можно перевести как «ровность духа». «Наконец, — сообщает биограф, — он повернулся на бок, как будто хотел спать». Это было 7 марта 161 года.

Здесь легенда в высшей степени правдоподобна. В этом человеке, прозванном Святым или Праведным, о котором у нас нет ни одного отзыва, выбивающегося из общего мнения, все было так ладно, что можно подумать, будто фортуна всю жизнь верно сопутствовала ему. И почему бы не допустить, что иногда общество приходит в счастливое состояние равновесия, в котором порождает правителей по образу своему? Пока поколение, естественно желающее быть верным самому себе, не завершит свой жизненный путь, действует совокупность взаимодействий и подражаний, придающая картине глубину и размах. Гораздо труднее сохранить это равновесие, приспособить его к обновляющемуся обществу. Но Антонин принял свои меры. При Марке его царство вместе со всем аппаратом управления продолжалось в неизменном пространстве-времени. Император уходил к своей Фаустине, оставляя другую подругу молодому коллеге, у которого было довольно времени стать таким же, как он.

Но если дух времени и впрямь был таков — куда же девались беспощадная сила, жестокость, произвол, которыми согласно Тациту Рим был исполнен на несколько десятилетий раньше и которые Дион Кассий увидел несколькими десятилетиями позже? Очень краткие циклы перехода от жестокости к терпимости и обратно к цивилизации, которая кажется замкнутой и находящейся в плену у своих традиций насилия, нарушают наши предвзятые представления. Не следовало ли, чтобы уйти от

исконного наследства, разрушить ее, а на ее развалинах построить новую? Ведь наше иудеохристианское сознание не может не отбросить проклятый мир, уничтожаемый собственными грехами, безвозвратно в прошлое. Кроме того, многие возразят, что в Риме не могло быть таких благодатных периодов, как мы говорили, потому что если немногие избранные и подошли к представлениям о гуманности, то для большинства эти идеи были недоступны.

Этот редемпционистский тезис (а все мы более или менее сознательные редемпционисты) заслуживает рассмотрения. Конечно же блеск Антонинов не должен нас ослеплять. Оставались еще огромные области мрака, и когда (вспомним тут последние слова Марка Аврелия) «солнце зашло за Дунай», римские небеса снова покрылись мраком. Но остается фактом, что во II веке н. э. история стала выглядеть лучше, причем распространение христианства еще не оказало своего влияния. То и другое лишь совпадало по времени, и отсюда, конечно, можно извлечь важные выводы.

Смерть Антонина могла бы быть самой надежной точкой отсчета. У нас нет доказательств, что она сильно затронула умы и сердца жителей Империи, которую он сделал защищенной от многих опасностей. При его кончине не было ни одного дурного знака, в отличие от обстоятельств смерти почти всех других императоров. Можно было бы сказать: «Антонин умер, да здравствует Антонин», потому что Марк Аврелий тотчас принял его имя, чтобы сделать преемственность еще более наглядной. Тело человека, дожившего свой век до естественного конца, было сожжено на Марсовом поле, а прах положен в мавзолей Адриана. Орел, взлетевший с погребального костра, унес его «гения». По декрету сената Антонин стал богом. Был учрежден его культ, жрецом которого стал «фламин» — юноша из знатной семьи. Был завершен храм, начатый им в честь покойной супруги. До сих пор стоят на Форуме его великолепные колонны.

Свет и тени

Итак, казалось, что в обществе царят спокойная ясность духа и справедливость. В этой блестящей видимости было много и реального. Мы уже видели, сколь успешно проводилась политика мира с оружием в руках. Военное сословие занималось здоровой повседневной работой. Легионеры были еще и строителями: они совершенствовали самую прекрасную систему путей сообщения из всех, когда-либо связывавших людей. Торговля соединяла провинции между собой, и поэтому все они жили по одному

времени — римскому. Антонин оставил общественной казне солидный профицит. Между тем внешняя торговля по структуре своей была дефицитна вследствие ввоза предметов роскоши — восточных пряностей и шелков — без достаточного эквивалента. Чтобы избежать разорительной комиссии парфянским и арабским посредникам, Рим завязывал прямые связи с Востоком. Там принимали индийские посольства, посылали благодарственные миссии в Восточную Африку, а греческие мореплаватели открыли муссоны, которые донесли их до Тонкина.

Даже серьезные проблемы правительства были локальными и эпизодическими и никогда не омрачали общей картины. В Риме случился перебой с продовольствием, когда в проезжавших Антонина с Марком Аврелием кидались камнями. Что это было: гнев избалованной толпы или отчаяние несчастного народа? Первое предположение вероятнее. Во время бунта был убит префект Египта, папирусы подтверждают хронический голод и беспорядки в Дельте. Некоторые решили, что именно этот нетленный папирус сохранил для нас подлинную память эпохи, а другие сведения до нас не дошли. Но разве нищета феллахов — не банальная константа истории? Из этих разрозненных случаев невозможно вывести никакого общего заключения, так же, как и из локального восстания мавров и кабилов в Магрибе и Рифе. Чтобы остановить эти племена (из которых никто никогда не доводил дело до конца), пришлось послать войска из Германии и с Дуная. Неспокойные варварские племена грозили и на севере Британских островов. Чтобы прекратить набеги каледонцев, Антонин велел построить новую линию укреплений, короче и севернее старой, между Фортом и Клайдом.

Эта центральная стратегия разрабатывалась в Риме, но сами жители города о ней ничего не знали. Основную нагрузку несло только войско, а почести получали в лучшем случае военачальники. Почет и слава уже не были связаны с этим родом военных действий — поддержанием порядка в областях, считавшихся составными частями неделимого наследия. Настоящая война, если уж нельзя было ее избежать, велась совсем с другими противниками и на других направлениях. В первую очередь это были непосредственно грозившие Империи народности к востоку от Рейна и к северу от Дуная, а также далекий наследственный враг на Востоке — Парфия на Евфрате. Адриану и Антонину благодаря предусмотрительности, дипломатии и конечно же подкупу удавалось отдалить новый виток вековых конфликтов. На соседей смотрели с другого берега длинной речной границы.

Во внутренних делах были свои проблемы. Если судить о

прогрессе общества по законотворчеству (а в Риме право регулировало наимельчайшие повседневные акты), то совершенствование регламентации видно яснее, чем увеличение свободы. При том еще вопрос, не имели ли весьма многочисленные в то время меры, касавшиеся опеки, наследства, отпуска рабов на волю и семейного права, серьезных гуманитарных последствий для тесно замкнутого общества. Антонин — скрупулезный юрист, по словам Марка Аврелия, «вообще ничего не оставлял, пока не рассмотрит дело хорошо и ясно». Он радовался, «если кто укажет лучшее» (VI, 30), был очень осторожен в реформах. «Никаких новшеств» (I, 16) ради новшеств — кажется, одна из главных черт, которые его преемник взял у него. Тем больше его заслуга в кардинальном усовершенствовании уголовного права: именно его указом впервые установлен принцип презумпции невиновности.

Христиане, желая отблагодарить «доброго императора», приписали Антонину рескрипт, по которому «имя христианина как таковое запретно, но если обвиняемый отрицает его и обвинитель не может доказать обвинения, то обвиняемый освобождается от тяжкого наказания». Подлинность этого текста, закрепляющего инструкции Траяна Плинию, ныне оспаривается, но по крайней мере стоит запомнить, что среди первых апологетов шла та же молва о великодушии Антонина, что и среди язычников. До нас дошел текст о положении рабов — на сей раз уже бесспорный — в виде инструкции императора проконсулу Бетики, которому некий хозяин жаловался на неповиновение слуг: «Необходимо, чтобы рабам, законно требующим защиты против жестокости и непереносимой суровости хозяев, не было в ней отказа». Дело могло доходить даже до лишения хозяина прав на жалобщика. Так началось дело улучшения положения рабов, завершившееся лишь полтора тысячелетия спустя. Большего и нельзя спрашивать с господина всех господ Империи. В других же отношениях, в частности, что касается положения вольноотпущенников в обществе, он проявлял косный консерватизм.

Глава 4
ПЕРВАЯ ВОЛНА БЕД (161–166 гг. н. э.)

Не стыдись, когда помогают.

Марк Аврелий.
Размышления, VII, 7

Безупречная интронизация

В час смерти Антонина власть была в руках его соправителя, Цезаря Марка Аврелия, в четвертый раз исполнявшего должность консула, имевшего империй над провинциями и трибунскую власть. Это были очень значительные титулы, но они еще не обеспечивали совершенной легитимности. Не хватало еще имени Августа, данного сенатом, и именования императором, провозглашенного вооруженными силами. Венцом всего было достоинство великого понтифика. Хотя все это представлялось в высшей степени возможным — дело обстояло лучше, чем при любой интронизации со времен Августа. Правда, маневр предстоял сложный, поэтому нельзя было пренебрегать никакой формальностью. Инициатива сената была правилом, которое после смерти Августа почти всегда нарушалось. Тиберия, Калигулу, Клавдия, Веспасиана и даже Адриана к власти привели легионы или преторианцы, а сенат спешно ратифицировал государственные перевороты, которые не мог предупредить.

На этот раз процедура предварительного усыновления, придуманная, чтобы заполнить огромный пробел в конституционной системе Августа, сработала хорошо. Кажется, нигде легионы не пытались поставить собственного кандидата. Когда Марк Аврелий после похорон явился в сенат в качестве простого консула просить его об апофеозе Антонина, собрание единогласно объявило его принцепсом и Августом. Он отказался, и никто в общем-то не удивился: это был жест приличия, «non sum dignus»[28], который при настойчивых просьбах быстро берут назад. Так делал даже Тиберий, которого чуть не поймали на слове (это было первое из его роковых недоразумений с сенатом). Марк Аврелий мог не опасаться подобной ловушки, однако, ко всеобщему изумлению, он стоял на своем, объясняя, что эта ноша для него действительно тяжела и он хочет ее хотя бы разделить. Случилось недолгое замешательство, и хотя никто не думал, что видит нового Тиберия, но и Марка Аврелия не узнавали.

Впрочем, если приглядеться, между двумя ситуациями, разделенными полутора столетиями, было и некоторое сходство. Первоначальный отказ не был чистой проформой: он был одновременно искренним, суеверным и тактическим. Тиберий — природный аристократ и антиавгустианец — предпочел бы разделить полномочия с республиканским сенатом. Ипохондрик по натуре, он неуклюже пытался ублажить Фатум. Наконец, как человек хитрый, он желал испытать, до какой степени дойдет оппозиция его персоне, чтобы потом диктовать свои условия. И вот теперь милейший воспитанник Антонина имел все резоны вести себя так же, как жестокий сын Ливии. Марк Аврелий был искренен, не решаясь принять на себя всю полноту тягостной власти. Он уже знал ее на опыте, и ему не хватало воображения и бодрости духа представить ее себе неразделенной. Его уму представлялись иногда удачные, но слишком рискованные примеры единовластия Адриана, Траяна и Домициана. Что до суеверия, то кто не был бы суеверен, переступая порог священного и абсолютного? Наконец, тактическая пауза имела целью потом взять инициативу в свои руки и тогда уже ставить условия.

Это условие всех удивило, но для приемного внука Адриана и названого брата Луция Коммода оно было вполне логично. Те, кто за двадцать лет забыл про Луция, почти не появлявшегося в Государственном совете и намеренно отодвинутого Антонином в тень, не ожидали, что он выйдет на авансцену. Тем не менее это было первое конституционное деяние Марка Аврелия. В качестве консула он немедленно провел беспрецедентный законопроект: его младший брат получал одинаковые с ним полномочия, так что впервые в истории Рима у него стало два равноправных императора. Кажется, удивление и неприятие этого акта сенатом были не так глубоки, как наше теперешнее изумление. Во всяком случае, они скоро прошли. Воцарение соимператора Луция Цезаря Августа, имевшего все священные должности, кроме лишь верховного понтификата, было утверждено овацией.

Это конституционное новшество было так легко принято не только потому, что политический класс поддался ненавязчивому шантажу Марка Аврелия, но и потому, что многие еще помнили про завещание Адриана. Нет никакой нужды предполагать, что в нем была какая-то тайна, но нет и сомнения в том, что воля умиравшего императора была неоднозначна. Чем бы на самом деле ни вызывалась его привязанность к Цейониям, были у него какие-то обязательства перед старой римской знатью или нет, — завещание оставалось священным и по-прежнему хранилось у весталок. Марк Аврелий, лучше всех осведомленный о сути

проблемы, не хотел начинать царствование с клятвопреступления и вполне вероятной тяжбы. Кроме того, для римского правосознания это новшество отнюдь не являлось двусмысленным: разделение должностей входило в республиканскую традицию. Консулов всегда было двое, и Антонин на консульство 161 года предложил именно Марка и Луция. Наконец вспомнили, что Август дважды назначал себе двух равноправных преемников — было ли это мудро или глупо, мы не узнаем, поскольку оба раза смерть преждевременно унесла наследников.

Что двигало Марком Аврелием? Моральное обязательство или это был лишь предлог? Можно только предполагать. Если бы он оставил брата на втором месте, ему в любом случае ничего серьезно не грозило бы. За ним оставалось бы преимущество старшинства, опыта и положения — того нераздельного достоинства, которое с первых времен Империи называли auctoritas. Как мы видели, этот термин коренится в сакральной сфере и обнаруживается в титуле, избранном для себя Августом. В конечном же счете основание для решения, принятого в марте 161 года, следует искать в искренней дружбе двух наследников и в том, что они во многом дополняли друг друга, в том числе и по физическим качествам.

Отныне у сената и римского народа (теоретически сенат был представителем народа) было два Цезаря, два Августа, два принцепса, но еще не было императора. Это следовало исправить как можно скорее, обратившись к ближайшим представителям вооруженных сил — единственным, имевшим право квартировать в Риме: преторианцам. Преторианский корпус из семи тысяч человек, разделенных на десять когорт, служил для охраны порядка в Империи. Их командир, префект претория из сословия всадников, фактически был военным и гражданским главой правительства. Начиная с Сеяна, фаворита и соперника Тиберия, в лагере преторианцев на Виминале бродила мечта о власти. Траян призвал их к порядку, и вот уже шестьдесят лет префекты — сильные люди часто низкого происхождения — крепко держали их в руках. Итак, Марк Аврелий и Луций по обычаю отправились в их казармы, где получили одобрение (acclamatio), сопровождаемое страшной клятвой верности. Надо упомянуть и об ответном даре, знаменитом донативе: подарки в честь благополучного воцарения были неразрывно связаны с присягой. На этот раз каждый солдат получил по двадцать тысяч сестерциев, а офицеры еще больше, что равнялось нескольким годовым жалованьям.

Легионам тоже давался донатив, правда, не столь высокий.

Но на триста пятьдесят тысяч человек был весьма обременительным расходом для новой власти. Однако если императоры, не имевшие никакого военного образования и никогда не бывавшие в лагерях, хотели мира хотя бы для самих себя, им приходилось быть щедрыми. До самых границ Империи ходили золотые монеты с портретами двух Цезарей и девизом «Concordia Augustorum» («Согласие Августов») или «Felicitas temporum» («Блаженные времена»). В то время это было самой доходчивой формой императорской пропаганды. Позже появился еще один девиз: «Hilaritas» («Радость»). Его следовало понимать так, что совершилось счастливое событие: Фаустина наконец-то родила мальчиков, полновластных Цезарей, близнецов Аврелия Антонина и Аврелия Коммода. Матери приснилось, что она разродилась двумя змеями, один из которых пожрал другого. Так бессознательно выразился миф об основании и проклятии Города — о Ромуле и Реме — тайная тревога династии, у которой уже была пара близнецов, предчувствие, что, если оба выживут, один может оказаться лишним. В мире, где страх, днем изгонявшийся мужеством или колдовством, по ночам овладевал уснувшими душами, часто видели во сне змей и морских чудовищ.

Рождение и свадьба

Много лет спустя этот день — 30 августа 161 года, день рождения Коммода, — причислят к несчастным. Тогда вспомнят и о других сновидениях, других феноменах, случившихся в последние годы царствования Антонина, в которых признали предзнаменования скорого окончания благих времен: на небесах явилась косматая комета, одна женщина родила пятерых близнецов, другая — младенца с двумя головами. «…В Аравии видели колоссального размера змею с гривой, — сообщает Юлий Капитолин, — пожравшую собственный хвост. Наконец, в тех же краях четыре льва, лишившись всякой свирепости, добровольно позволили связать себя». Но в тот момент все предавались провозглашенной Радости, тем более что новое счастливое событие стало поводом для новых праздников и раздач: Марк Аврелий выдал свою дочь Луциллу замуж за своего коллегу Луция.

Совершенно понятно, в чем была выгода от этого укрепления союза. Луцию было за тридцать, римские хроники вовсю писали о его роскошествах и сладострастии. Говорили, что его великолепная вилла на Клодиевой дороге при выезде из Рима была ареной утонченного разврата. Вполне возможно. Скульптурные портреты обессмертили его обворожительность. В

этом видели опасность для единства и равновесия династии. Надо было, пока не поздно, ввести Луция в круг семьи. Мы не знаем, что стало бы с престолонаследием, если бы у новой четы появились наследники мужского пола, насколько был бесспорен закон первородства. Драма — а такая ситуация в тех редких случаях, когда она действительно случалась в Риме, была непростой — оказалась отложена.

Пикантность состояла в том, что двадцать лет назад Луций был обручен с матерью, а потом женился на дочери, так что план Адриана осуществился, отложенный на поколение. Фаустине пришлось бы выйти за мальчишку на три-четыре года младше себя, Луцилла выходила за собственного дядю, на девятнадцать лет старше, довольно истасканного жуира. Даже для древних такая разница в возрасте была противоестественной. Если так, то можно придумать любые ужасы, что люди и сделали. Говорили, например, что Фаустина стала любовницей своего зятя, словно чтобы вернуть несбывшийся брак, а потом, когда он пригрозил рассказать об этой связи Луцилле, будто бы старалась от него избавиться. Может быть, в скандальной хронике этой искусственно созданной семьи и не все легенда: ведь в ней нечестолюбивым, но облеченным всей полнотой власти мужчинам приходилось считаться с тщеславными женщинами, объявлявшими себя главными представительницами интересов династии. Со временем несходство темпераментов только обострилось, в результате чего пострадала легитимность власти.

Радость и Согласие оставались лозунгом дня еще несколько месяцев. Марк Аврелий и Луций переменили имена. Марк принял фамильное имя Антонинов, а собственное имя Вера отдал названому брату Луцию, который стал Луцием Вером. Это небольшое изменение в метрике сильно сбило с толку позднейших историков: отсюда произошло много анахронизмов — Марк Аврелий стал известен под именем Антонина Философа, а Луция стали считать потомком рода Веров. В этом обмене родовыми именами, путанице личных, произвольном переходе из одного семейства в другое можно видеть одну из причин того, что современная публика мало интересуется римской историей: трудно освоиться в обществе, если не понимаешь, как оно устроено. В этих сложных именах, которые менялись в течение жизни одного человека, но не менялись в течение нескольких поколений, непросто разобраться. Из-за того, что трудно отследить и подлинные социальные связи этих людей, мы, возможно, утратили способность понимать жизнь не такого дифференцированного, как может показаться, общества[29].

И действительно, мы имеем дело с отдельными людьми. Они

называли себя свободными — мы так и относимся к ним, но ведь они были связаны клановым духом. Нас возмущает различие «знатных» и «меньших» людей, которое законники Марка Аврелия тщательно проводили и в гражданском, и в уголовном кодексе, но мы не представляем себе меры сильнейшей вертикальной спайки в семье и в роде. На самом деле устройство римского общества далеко не так прозрачно, как утверждал, чтобы узаконить сам себя, классический рационализм, влюбленный в латинскую культуру. Современные социологи справедливо возводят структуру общества к архаическим мифам. Но разве эти мифы не живы в нашем подсознании? В совсем недалеких от нас регионах — там, где, сохранилась система патроната и племенных обычаев, — они действуют и до сих пор. Достаточно взглянуть на них, чтобы, mutatis mutandis, восстановить контакт с римскими корнями, продолжающими давать всходы по всему Средиземноморью. Но это трудная работа. Проще провести исследование на примере жизни и деятельности лиц, выделившихся из группы, получивших по наследству или по заслугам право на индивидуальность. Конечно, они не так показательны для среднего уровня своих современников, но для нас именно они лучше всего выражают дух своего времени, несут на себе его печать и сами запечатлевают его в истории. В их числе и Марк Аврелий. Немногие люди так сознательно и доверчиво передали нам ключи от своей души и своей эпохи.

Первая волна бед

Осенью Тибр выходил из берегов, подмывал обрыв и стоявшие на нем дома падали. По бурной реке плыли трупы людей и животных. Это случалось по нескольку раз за столетие, несмотря на меры, принимавшиеся властями с тех пор, как Август учредил должность надзирателя за берегами Тибра, поручавшуюся одному из сенаторов. При Траяне этот пост занимал Плиний Младший. Упрекать римских сановников и инженеров в некомпетентности нельзя. Никто и поныне не защищен от таких бедствий. В Риме они становились катастрофическими: городские стоки забивались, и тиф, никогда далеко не уходивший, начинал буйствовать с особой силой. Торговые суда с египетским и североафриканским зерном не могли причалить. Весь отлаженный механизм снабжения Города продовольствием останавливался.

Мы не хотим сказать, что реальный ущерб был мал, но вполне возможно, что из-за сбоя в работе столь совершенно устроенного центра власти при наличии очень плотного и

эгоистичного городского населения, психологически и политически значение таких событий преувеличивалось. Рим был нерушим, но непрочен. Забота Города о самом себе, демагогическое внимание, которое ему оказывали правители, держали его в состоянии постоянного невроза. При Республике его причуды разоряли внешний мир, который он эксплуатировал. Империя родилась из моральной и материальной необходимости привести в равновесие сначала Рим с остальной Италией, а после их примирения — и провинции. Но гипертрофия Города была неизлечима. Поскольку Рим был чрезвычайно велик и прекрасно устроен, он неизбежно становился величайшим в мире театром. Самые ничтожные события в нем становились историческими. Конечно, и наводнение на Тибре в 161 году осталось в памяти потомков.

Императоры приняли срочные меры. В Риме привыкли и умели справляться с чрезвычайными обстоятельствами. Гений этого народа и был гением противостояния. Римляне только тем и занимались, что встречали вызовы, которые от скуки сами себе бросали во время мира, а мир они получили, завоевав, рискуя жизнью, все земли, на которые могли посягнуть. Выход Тибра из берегов был чистым Фатумом, который необходимо было победить как магией, так и устройством плотин. В храмах жрецы приносили этому слепому божеству жертвы, а когорты городской стражи торопились чинить разрушенные дамбы. Императорская казна щедро распахнулась. Построили новые дамбы, немного шире в основании, но пониже — не выше семнадцати метров, — и по-прежнему на грани риска, потому что другая богиня, «необходимость», требовала экономить землю в столице, раздвигать границы которой запрещала религия. Мы еще увидим, что дух религиозности и дух спекуляции вместе поддерживали в Риме постоянный жилищный кризис.

Не успел Тибр войти в берега, как пришла весть, что германские варвары вышли из своих лесов и наводнили северные провинции: Верхнюю Германию и Рецию, то есть левый берег Рейна, а также часть Вюртемберга и Австрии, с большим трудом колонизированные при Августе. Эти пограничные области, которые считали сильно укрепленными, были теперь не базой для завоевания Германии, углубиться в которую не было решительно никакой возможности, а барьером, охранявшим от народов, всегда готовых двинуться на запад. Оборонительная стратегия уже со времен Августа считалась твердым принципом, правда, толковать его пытались по-разному. Если император любил славу, он всегда мог нанести превентивный удар, как в I веке делали Тиберий и Германик, а позже Домициан и Траян. С большим или

меньшим успехом они зачищали и укрепляли рейнско-дунайские рубежи. Никогда нельзя было решить, где необходимость, а где предлог устроить триумф; мудрости последовательного миролюбия Адриана и Антонина, наоборот, всегда удивлялись. Но в этот раз все было ясно: варвары нарушили границы Империи.

Непогода в Европе

Мы не знаем никаких подробностей об этом событии, кроме того, что нападавшими были катты — бродячее племя, несколько раз встречающееся в истории германских войн. Они устроились было в Гессене на правом берегу Рейна и там, возможно, гермундуры и маркоманы, сами стремившиеся к западу, прижали их к стратегическому барьеру между Рейном и Дунаем, устроенному Домицианом, — так называемым Десятинным полям. А может быть, это было одиночное, не согласованное с другими племенами предприятие какого-нибудь честолюбивого вождя. В том и в другом случае момент, выбранный, чтобы испытать удачу, показателен. Справедливо или нет, древние и современные историки видели в этом эпизоде предвестие большой германской войны, как бы первое предупреждение той судьбы, о которой, казалось, догадывался Антонин на смертном одре. И в самом деле, можно предположить со стороны германцев разумный расчет, что невзрачные и неопытные новые правители Рима не смогут принять вызов.

На самом деле правителям особенно и не пришлось им заниматься. Провинциальные власти в те времена могли сами ответить агрессорам. В распоряжении наместника Верхней Германии Авфидия Викторина находились два боеготовых легиона. Соученик Марка Аврелия по частным урокам в доме Домиции Луциллы был человеком незаурядным. Друг детства Марка женился на «воробушке» Грации, дочери Фронтона. Теперь граница находилась в надежных руках. Неизвестно, какой ценой, но катты были отброшены. Перед плодовитыми воинами, которые шли на приступ вместе с женами, не ставилось задачи беречь человеческие жизни. Семьи ехали за ними в обозе, потом селились на завоеванных землях. Защитники Империи, напротив, не разбрасывались живой силой: воинский набор был труден, и воины стоили дорого. Как и все легаты, Авфидий Викторин получил приказ Антонина: «Для меня дороже сохранить жизнь одного гражданина, чем видеть тысячу убитых врагов». Принцип не бесспорный и с точки зрения гуманности, и с точки зрения тактики. В ходе многочисленных регулярных боев и стычек

германцы научились многим приемам легионерского боя, и вот они испытали на прочность рубеж Реции, который тянулся от Кобленца до Регенсбурга. Вскоре этот опыт им пригодился.

В свою очередь, римское командование не заблуждалось, видя победы противника, которые в лучшем случае давали время приготовиться к общей обороне. Реция была ключом к Венеции и долине По, и теперь потенциальные агрессоры ясно увидели, что завладеть этим ключом не трудно. А будут ли достаточно надежны войска, охраняющие сам Рим? Резервной армии под рукой у них не было. Судьба Италии зависела от обороноспособности одиннадцати рейнских и дунайских легионов, то есть от ста тысяч человек. Считалось, что этот предохранительный кордон способен остановить локальные вторжения, если варвары не откажутся от новых попыток, и даже уничтожить их войско. Что же до общего наступления, такая возможность не принималась в расчет, что было не легкомыслием, а реальной оценкой. Два десятка германских племен, способных угрожать Империи, были разобщены и собственными потомственными распрями, и умелыми маневрами римской дипломатии. Так что все зависело от эффективности этой дипломатии, от ее информированности, а главное, конечно, от того, правильно ли по ту сторону римского рубежа оценят характер новых правителей. Не в первый раз в истории накопившиеся психологические ошибки могли привести к политическому катаклизму.

Разгром на Ближнем Востоке

Роковая ошибка и совершилась, но там, где ее уже не ждали: в далеком Парфянском царстве. Германцы были лучше осведомлены и поняли, что Марк Аврелий продолжит твердую политику Антонина с теми же людьми и в том же духе. Верность легионов не позволяла им в этом усомниться. Но за три тысячи километров от Рима нашелся человек, впавший в заблуждение. Царь Царей за Евфратом решил, что настал момент свести старые счеты с Римом. Вологез III находился у власти уже больше двенадцати лет. В конце царствования Антонина он еле терпел присутствие сильного римского войска на границе своего царства. Очевидно, подстрекаемый иранскими националистами, он потребовал, грозя войной, вернуть из Рима золотой трон, служивший Дарию, который Траян после взятия Ктесифона (парфянской столицы) вывез в качестве военного трофея. Требование было справедливо: Адриан обещал вернуть трон-символ. Но спор потянул за собой другой: спор об Армении, за

господство над которой две империи ссорились уже полтора столетия. В тот момент в ней правил царь, избранный Римом. Вологезу ради престижа требовалось отдать ее своему вассалу. Римляне по той же причине не собирались делать ему такой подарок. Антонин дважды начисто отклонил парфянские требования, послал Вологезу весьма решительное предупреждение и усилил легионы на Востоке.

Царь Царей какое-то время раздумывал. Когда же он увидел, что на Палатине воссели два совершенно неопытных в военном деле новичка, то решил привести в дело свою знаменитую конницу. Парфянские войска вторглись в Армению. В Риме об этом узнали только в начале осени, но ближайшая из римских армий — каппадокийская, уже вступила в войну. В распоряжении наместника Каппадокии Седатия Севериана было два легиона. Почему он взял только один? Если верить Лукиану Самосатскому, это удивительная история, проливающая свет на бездну суеверия в римском обществе. Некий современник и соотечественник знаменитого сатирика плутовством завоевал во всей Малой Азии славу великого волшебника. Он стал известен под именем Александра Абонитихийского, по названию городка в Пафлагонии на берегу Черного моря, и торговал своими предсказаниями по всему греко-римскому Востоку. Среди жертв его обмана оказался и Север иан.

Маг разговаривал с Роком, используя питона по имени Гликон, которому на голову надевалась маска, при помощи особого устройства способная произносить слова. Вопросы подавались ему в письменном виде, а он отвечал на них стихами. Лукиан разоблачал мошенников своего времени с иронией и талантом, не уступающим Свифту и Дидро. Александр был в их числе, но по его портрету видно, что сам сатирик попал под обаяние его личности и дьявольской ловкости. Колдуну прислуживала девица невиданной красоты, рожденная им, как он говорил, от Луны. Эта полубогиня очаровала стареющего наместника Азии Рутилиана, которого Антонин по своему обычаю слишком долго держал на посту. Выйдя замуж за проконсула, она стала доставлять своему отцу самых блестящих клиентов. Императорский легат Север иан также обратился к питону с вопросом, что ждет его в войне с захватчиками. Гликон ответил: «Ты победишь парфянина, покоришь Армению и вернешься в Рим, где тебя ждет триумф». Поэтому современники ничем иным не объясняли тот факт, что легат, считавшийся опытным воином, пошел на врага лишь с половиной своих сил. Сейчас предлагают и другое объяснение: Север иан не желал делиться обещанным успехом, а потому поспешил отправиться в поход, не дожидаясь

подкреплений с Дуная. Он выступил из Саталы с 15-м Аполлинарийским легионом и на горной дороге к армянской столице Артаксате был застигнут врасплох лучшим парфянским полководцем, «сурeном» Хосровом. Севериан бежал от окружения в крепость Элигию, но продержался там всего три дня. Поняв, что попал в ловушку, он покончил с собой, а все войско перебили.

Это поражение ошеломило Рим. Вся добрая память о легате испарилась. Зато кстати вспомнили, что он был галл — то ли пиктав, то ли сантон, то есть легковерен и легкомыслен. Между тем на доверии к Александру Абонитихийскому это не сказалось. Позже при римском штабе опять появился неотразимый мистификатор в длинном парике и пурпурном хитоне с белыми полосами, из-за пазухи которого высовывалась голова Гликона. И все-таки причины поражения в Элигии следует искать в другом, например в плохой разведке, в неподготовленности и изнеженности восточных легионов. Вскоре тому появилось и новое доказательство. Не успели римляне вполне пережить эти новые Карры (битва, в которой Красс за два столетия до того потерял месопотамскую армию), как узнали о третьем историческом разгроме: легат Сирии Аттидий Корнелиан потерпел поражение в Сирийской пустыне — его легионы разбежались под натиском тяжелой парфянской кавалерии. Дорога на столицу Антиохию и берег Средиземного моря была открыта. Вся римская стратегическая позиция на Востоке могла рухнуть.

Эта позиция опиралась главным образом на два войсковых соединения. Одно из них обороняло Малую Азию, за которой находилась сфера римского влияния на Армению, а к северу — буферные причерноморские государства. Как мы уже видели, оно находилось под командованием легата Каппадокии и состояло из упомянутого 15-го Аполлинарийского и 12-го Молниеносного легионов. Второе соединение — сирийская армия из трех легионов: 4-го Скифского, 3-го Галльского и 16-го Верного Флавиева, объединенное командование которыми находилось в Антиохии. Места их дислокации показывают, что большая часть этих легионов имела задачей кроме поддержания порядка на местах контролировать сухопутные дороги — так называемые шелковые и ладанные пути, шедшие из Европы через Малую Азию вдоль границ Армении и дальше либо через Мидию, Туркестан и Памир к Китаю, либо на юг, к Аравии и Египту через Сирию — Палестину или же к Персидскому заливу через Пальмиру и Ктесифон. Об этих караванных путях к великим плоскогорьям Центральной Азии, к Красному морю, к долине Инда грезили завоеватели Помпей, Цезарь и Траян. Но эра миражей для Рима

завершилась. Теперь на неочерченной границе между Западом и Востоком следовало оборонять уже приобретенное. Сатала, Мелитена, Самосата были узловыми точками на стратегических, а вместе с тем и торговых путях. Сразу видно, что они сходятся у подножия спорной территории — Армянского нагорья.

Старый спор об Армении

Каково же было соотношение сил, которое теперь, как казалось, было решительно изменено не в пользу Рима? Это очень древняя история, которая тянулась от мидийских царей Кира и Дария до Александра, заключившего их восточную империю в оболочку эллинизма. И вот это восточное прошлое пятисотлетней давности вдруг воскресло на глазах у эллинского мира. Вологеза III звали уже «новым Ксерксом». В Афинах его боялись, но в Антиохии иные были готовы приспособиться к его власти. Ведь парфяне объявили себя наследниками Селевкидов — македонской династии, сохранившей осколок империи Александра между Ираном и Средиземным морем. Восстановить эту континентальную державу со средиземноморским фасадом было старой мечтой, разбитой Помпеем, за двести лет до Марка Аврелия покорившим сирийское побережье.

Но на самом деле парфяне были вовсе не наследниками македонян, а еще менее — Дария и Навуходоносора. Как они внушали: пришли они совсем с другой стороны, будучи потомками кочевых скифских племен, ушедших из Туркестана, очевидно, под натиском гуннов, и осевших на Иранском нагорье. Там-то за двести лет до Рождества Христова их вождь Аршак установил власть своей династии, придя на смену эллинам — Селевкидам. Старую клановую систему он распространил на всю обширную державу. Семь коневодческих племен стали семью сатрапиями, выбиравшими своего общего главу. Этот Царь Царей заносил свое имя в династический список, восседал на троне Дария, пока его не захватил Траян, прекрасно управлялся с унаследованной от греков администрацией и по праву носил эпитет Филэллина, то есть Греколюбивого. Но в действительности он подчинялся феодальным законам и требованиям старого культа предков своих кочевых племен. Национальной религией был культ Солнца; жрецы Мазды были косными традиционалистами, а если знать чересчур поддавалась западным соблазнам, становились фанатиками.

Правившему государю приходилось оправдываться в своем модернизме, то есть в сношениях с Римом, где жили члены его семьи. Еще при Августе вошло в обычай отсылать туда

заложников из царствующего дома — собственно учащихся, официозных представителей или нежелательных претендентов. В особую вину Вологезу ставили его бездействие при Антонине. На самом деле такое бездействие было вызвано правильной оценкой баланса политических и стратегических сил, которые за два столетия так уравнялись, что ни одна сторона не могла надолго склонить чашу весов в свою пользу. Тем не менее в определенных кругах существовало сильное искушение воспользоваться мигом слабости другой державы, а предлог найти было легко. Парадоксально, но этот предлог всегда бывал ничтожен, случаен и уж никак не затрагивал главного. Никаких серьезных причин сталкиваться напрямую у двух гигантов не было. Если бы римляне отодвинули границу на восток, с точки зрения логистики это было бы очень слабое и труднозащитимое преимущество. Парфяне, хотя их и тянуло к Средиземному морю, из-за недостатка средств не могли вести завоевательную политику на западе. В то же время они обладали естественным выходом к морю через Персидский залив, а политический центр тяжести находился далеко на востоке: столица империи Экбатана укрыта за горами Загрос в далекой Мидии. Статус-кво основывался на взаимной выгоде, а гарантом его была Сирийская пустыня — почти непреодолимое препятствие, воздвигнутое самой природой.

И все же в 161 году столкновение состоялось: Вологез сверг проримского царя Армении Сохема и посадил на его место своего брата Пакора. Тем самым пакт, подписанный выдающимся военачальником Нерона Корбулоном в Рандее ровно сто лет назад, был разорван. Он предусматривал необычный компромисс: армянским царем должен был быть князь-аршакид младшей ветви, избранный и возведенный на трон римлянами. В сущности, проблема не решалась, но на какое-то время те и другие сохраняли лицо. Позднее дворцовые перевороты, устроенные пропарфянской партией, поставили ситуацию под вопрос. Ответ Траяна в 111 году оказался в высшей степени энергичным; поход настолько вышел за рамки первоначальной цели — Армении, — что «наилучший государь», увлекшись, завоевал всю Месопотамию и очутился на берегу Персидского залива. Но и сила ничего не решила. Рим не мог долго оккупировать такую обширную неприятельскую территорию. Траяну пришлось вернуться восвояси: слишком растянутым коммуникациям повсюду, от Вавилона до Александрии, грозили мятежи еврейских диаспор.

Марк Аврелий хранил в памяти эпизоды этой грандиозной и ненужной кампании — гениальной по исполнению и

незначительной по результатам. Он мог задумываться, какова была настоящая цель Траяна: завоевать Месопотамию или проучить Царя Царей, открыть пути для дальней торговли или захватить ближнюю Армению? А может быть, по мере продвижения цели менялись. Следование обстоятельствам — риск, неизбежный для больших военных походов: военная машина существует за счет собственных успехов, пока не разбивается о неожиданное препятствие. Точно было только то, что Адриан немедленно извлек уроки из ненадежных побед Траяна. В 117 году, едва тот на возвратном пути испустил дух в Селинонте, новый император отказался от всякого авантюризма. Он сохранил лишь слабое косвенное влияние на Армению. В тот момент это было мудро.

Раны, которые римляне и парфяне нанесли друг другу, требовали продолжительного лечения. Оно и позволило Адриану с Антонином сорок лет вести блестящую политику мира с оружием в руках. Теперь все раны затянулись. Вологез чувствовал себя достаточно сильным, чтобы напасть на Рим, считая его слабым. Он предполагал, что сведения его верны: у парфянской разведки была прекрасная репутация. Каппадокийский замок взломан, сирийская оборонительная линия дала трещину, а значит, Рим потерял Армению и цепь малых государств: Осроэну на Евфрате, Иберию и Албанию на севере, вокруг Черного моря. На юге же под угрозой Пальмира, а также Ливан. Примут ли новые римские императоры первый страшный вызов и каковы будут их действия?

Но в первую очередь, срочно оценив ситуацию, надо было восстановить легион, истребленный в Элигии. У Империи всегда был в запасе специалист по кризисам. При Антонине с этими обязанностями успешно справлялся легат Стаций Приск, посылавшийся с рискованными поручениями во все горячие точки Империи. Его вызвали с Британских островов, где он усмирял мятежных бригантов, и форсированным маршем с отборными войсками, взятыми по дороге с Рейна и Дуная, отправили в Каппадокию. Одновременно три соединенных легиона из Верхней Паннонии под предводительством легата Геминия Марциана отправились ликвидировать брешь на сирийском фронте. Вероятно, это были те самые войска, которые Антонин с Марком Аврелием уже приводили в боевую готовность, чтобы отвадить Вологеза от его первых поползновений. Стало быть, план действий уже созрел. Но теперь приходилось отвоевывать утраченные земли, начинать новую кампанию на Востоке. Поход Траяна готовился пять лет по его собственной инициативе. Теперь условия складывались не так благоприятно. Всякое промедление

позволяло противнику усилить свою оккупацию. Он мог уже находиться в предместьях Антиохии — неукрепленного города, где, несомненно, царили паника и капитулянтство.

Новости с Востока до Рима доходили не быстрее чем за три недели, так что ценные указания могли прийти на место через полтора месяца после события. Зимой, когда прерывалась морская навигация (возобновлялась она, как правило, только в апреле), а сухопутные дороги заносило снегом, этот срок увеличивался. Обычно в это время военные действия приостанавливались или совсем прекращались, за исключением тех районов, где местные жители, привыкшие к холоду и хорошо знавшие местность, беспокоили изолированные и лишенные провианта римские посты. Легионы же, не имея возможности использовать преимущества своей организации, закрывались в неприступных лагерях. Войска на Востоке всегда были очень автономны. Их главной ставке в Антиохии, подчинявшейся императорскому наместнику Сирии и трем командующим легионами, давались самостоятельные полномочия. Притом и средства, и живую силу легионы брали на месте. Но какой толк был в этой великолепной механике, если вся ее структура рассыпалась?

Однако в Риме, несмотря на позор Элигии, сохраняли спокойствие. Паника там всегда была обратно пропорциональна расстоянию: одно дело кимвры и тевтоны[30] в долине По, совсем другое — скифские всадники где-то за морем. Труды и удовольствия шли своим чередом. Волновались только сенаторы и всадники, знавшие, сколько вложено в заморские территории и связи с дальними странами. План сокрушительного ответа был готов. В центре этой невидимой работы стоял император (надо было бы сказать «императоры», но история пока что показывает лишь одного), которому помогали Императорский совет и ведомства канцелярии. Еще несколько месяцев судьбу богатейшей части Империи и десяти миллионов жителей, попавших в ловушку, решали несколько человек, склонившихся над картами на Палатине. Поскольку со времен Траяна не предпринималось ничего грандиозного, а безумного расточительства, как при Нероне, тоже не наблюдалось, им достаточно было задействовать на полную мощь административно-военную машину, возможности которой обычно использовались не до конца. Этот запас энергии принес удачу Империи. В древности на этом стоял весь Рим, а Антонин восстановил его, как добрый отец семейства, заставляя государство тратить меньше, чем можно. Но мы увидим: он не был неисчерпаем.

Парфянская война

Когда первое возбуждение улеглось, римляне почти не почувствовали мобилизации, постановление о которой вышло из недр Императорского совета, хотя постепенно она привела в действие все интендантство и значительные вооруженные силы. Приказы, доставленные курьерами статорам и фрументариям, казались рутинными. Ни они, ни переходы войск по большим дорогам не нарушали привычной картины. Легионы всегда куда-то шли: марши, работы, передислокация не давали им покоя. Армия была профессиональной, отделенной от гражданского населения, жила своей собственной жизнью. В Риме ее не видели по той простой причине, что ей запрещалось там появляться. Кроме того, военную тайну соблюсти было нелегко: ведь следовало проявить явную активность против открытого врага — парфян, но так, чтобы потенциальный противник, германцы, не знал, что перемещения воинских частей ослабили оборону дунайского рубежа. Нам известно, что Марк Аврелий дал наместникам европейских провинций наставления договориться, но при помощи каких аргументов, мы не знаем.

У полководцев, которые отправились со своими легионами на помощь к Стацию Приску, в том числе у Геминия Марциана, возглавившего авангард из имевших боевой опыт паннонских частей, было славное прошлое. Всадники, за военные заслуги ставшие сенаторами, или сенаторы, доказавшие организаторские способности; все они уже занимали самые высокие командные посты. В Рим они являлись не часто, а управляли то одной, то другой провинцией, имея, безусловно, большие полномочия, но всегда находясь под наблюдением императора, которому непосредственно подчинялись и которому управляемые могли жаловаться через местные собрания. Уже давно никто не слышал о вопиющих злоупотреблениях. Впрочем, повсюду сидели финансовые контролеры, а связи местных властей с римской канцелярией, как показывают переписка Плиния с Траяном и еще многие документы того же типа, были весьма тесными. Движение Империи в сторону централизации уже никогда не останавливалось. Стало заметно, что оно идет к чрезмерной бюрократизации, но во времена Антонинов находилось как раз на стадии равновесия, весьма благоприятного для экономического, политического и военного единства Империи, хотя и приходилось защищать его от внешних вторжений.

Этим и занимались весной 162 года великие легаты, получившие в своих ставках близ Рейна и в Центральной Европе приказ с ударными войсками отправиться в Антиохию. Это были

Клавдий Фронтон во главе 1-го легиона «Минерва» из Бонна, Антистий Адвент со 2-м вспомогательным легионом из Будапешта, Марций Вер с 5-м Македонским из Мизии. Другие, как Юлий Вер и Понтий Лелиан, уже прежде были наместниками Сирии — они участвовали в разработке плана кампании. Эти люди вошли в историю, а история избавила от забвения тех, кто выполнял скромную и честную роль защитника пограничных провинций. Наконец, было решено, что один из двух префектов претория, Фурий Викторин — человек с блестящими воинскими заслугами, сражавшийся в Британии, потом на Дунае, бывший наместником Египта, — с четырьмя своими когортами присоединится к командующему восточным походом.

И в этот момент появилась крупная политическая проблема. Марк Аврелий отправился в сенат и сообщил о намерении поручить миссию командующего Луцию Веру. Современники, очевидно, удивились меньше нашего, но требовалось обоснование. Марку Аврелию пришлось изложить свои резоны, к которым не преминули угодливо добавить еще и другие. Почему он, как верховный главнокомандующий (Imperator), не возглавил войско в самом серьезном со времен Траяна дальнем походе Рима? Разве римский император не должен был лично принять вызов Царя Царей? И действительно, ни один серьезный и заботившийся о своем престиже цезарь не упускал прежде и не упустит впредь такую возможность прославиться. Но для Марка Аврелия этот аргумент не имел никакого значения — не будем долго объяснять почему. Важнее были хорошо известные проблемы со здоровьем. Биографы говорят о них, напоминая при этом, как восхищался старший соправитель физической силой младшего. Кроме того, по их словам, Марка Аврелия беспокоили суетность и неопытность коллеги, которому, чтобы повзрослеть, необходимо было серьезное испытание. Все это давало хорошие поводы услать его с глаз долой.

Ставка главнокомандующего на Палатине

Все эти более или менее лукавые домыслы не противоречат логике, которой руководствовался Марк Аврелий. С тех пор как его допустили к делам, он мог как следует оценить реальные возможности власти, прочность ее инфраструктуры и оптимальные условия ее эффективности. Все сходилось на вершине Палатинского холма, в нескольких сотнях метров от Золотой мили на Старом Форуме, к которому вели все главные дороги Империи. Конечно, можно было ездить по ним туда и обратно, таская с собой огромный штат бюрократов и множество

бумаг. Так, собственно, и поступали великие императоры, чтобы наполнить свою жизнь или просто ради дорогого удовольствия. Но Антонин и его воспитанник считали правильным работать именно там, где скапливалась масса тщательно обработанной информации, на равном удалении от всех проблем, которые следовало решить.

Руководить войсками на поле боя было делом военных, но чтобы эти войска мобилизовывать, содержать и обеспечивать тыл, не ломая жизни десятков миллионов штатских, необходимо было находиться именно в центре принятия решений. Марк Аврелий считал, что так же, как и его полководцы, участвует в войне. Позже он скажет, что именно он издалека вел и выиграл эту войну на Востоке. Траян, который сам отправился туда во главе своих легионов, вскоре оторвался от своих опорных баз. Он чуть не попал в западню в пустыне, а Рим был важнее пустыни. Правда состоит в том, что Марк Аврелий все время находился с Империей в весьма необычных отношениях: он очень добросовестно управлял ею, во все вникал, решал все ее насущные проблемы, но не трогался с места. Как он представлял себе мрачные герцинские леса, анатолийские нагорья, аравийские пустыни, какие образы видел за донесениями легатов из Британии и Палестины, докладами эдилов из Смирны, жалобами колонистов из Магриба, которые читал до рези в глазах? И неужели ему не хотелось самому все это увидеть?

А между тем, как мы знаем, большому домоседу, самому нелюбопытному из всех императоров (даже Антонин побывал проконсулом Азии) потом пришлось на долгие годы покинуть Рим. Он познакомился с дунайскими холодами и нильской жарой. За эти отлучки его, правда, упрекали, и они оказали дурную услугу его царствованию. Вопрос, почему он так резко изменил свои привычки, мы обсудим ниже. Пока же, как видим, он уступил славу более представительному коллеге. Можно восхищаться его самоотверженностью, но можно и задаться вопросом о политических мотивах. Несомненно, решение оставаться в Риме в начале царствования, когда следовало утвердить авторитет нового принцепса, было благоразумным. Луций таким принцепсом быть не мог, зато мог стать идеальным императором для войск, руководимых одаренными полководцами: для этой показной роли достаточно было представительной внешности, а сирийских жителей он явно должен был очаровать. Итак, в тот момент Марк Аврелий правильно рассчитал разделение полномочий. Но у его рискованного решения была более глубокая причина, связанная с просчетом: он недооценивал значимость парфянского вопроса.

По-настоящему Восток его не интересовал. Для него это был источник множества бесчинств и тайных опасностей. Легенда об Александре, пленявшая воображение Помпея, Цезаря и Траяна, для Марка Аврелия была просто риторическим упражнением, а парфянские войны, которые он изучал по книгам, представлялись упражнениями стратегическими: одни наступают, другие отступают, после чего все возвращаются на свои места и нет ни победителей, ни побежденных. Единственная цель, которой можно достичь, — восстановление статус-кво. Надо только найти для этого средства — вот задача правительства вместе с сенатом. Мы уже знаем, что Марк Аврелий не собирался ничего делать ради того, «что считается почестями». Самой большой уступкой проформе было то, что он доехал с Луцием по дороге в Брундизиум — большой порт, откуда плыли на Восток, — до станции в Капуе. Римляне и италики насладились великолепным бесплатным зрелищем конных преторианцев, окружавших двух людей в пурпуре — императоров — на Священной, а потом на Аппиевой дороге. Возвращалась великая эпоха колониальных войн, славы без риска.

Сады на Оронте

Луций не торопился — очевидно, потому, что войска в Сирии еще не собрались. В конце лета он задержался в Коринфе; в Афинах его принял старый учитель Герод Аттик, который, будучи гиерофантом, посвятил его в Элевсинские мистерии. Луций удостоился этой чести вслед за Адрианом, с которым у него вообще было немало общих черт — может быть, и наследственных. Но люди предпочитали сравнивать его с Нероном, с которым он и родился в один день — восемнадцатый до январских календ[31] (15 декабря): настолько закрепилась за ним репутация неисправимого тщеславного развратника. Эта репутация сопутствовала ему и в истории; вероятно, она преувеличена и создана ради антитезы, чтобы сильнее высветить величие души Марка Аврелия. Луций был создан для удовольствий, но был не таким эстетом, как Адриан, и не так разнуздан, как Нерон. Если бы у него были дурные инстинкты, ничто бы не помешало ему удовлетворять их в обществе своих подозрительных вольноотпущенников, которые, как потом оказалось, были способны на самое худшее. Так что в сущности он был нормальным человеком, а в его время и в его сословии это значило, что в молодости надо жить весело. Так почему он вместе со своим штабом и небольшим двором должен был отказывать себе в удовольствиях знаменитых заведений известного рода в

Эфесе, Пергаме и Смирне? Приятностями зимы Луций наслаждался в Лаодикии и только в начале 163 года, через год после отъезда из Рима, добрался до Антиохии, где уже нечего было бояться.

Там серьезные люди уже несколько месяцев как взяли положение в свои руки. Понтий Лелиан сразу по прибытии занялся серьезной задачей реорганизовать потрепанные и деморализованные сирийские легионы и восстановить в них дисциплину. Помощником ему стал блестящий офицер, которого он отыскал на месте. Отличное знание местности и ее жителей сделали этого человека главным действующим лицом парфянской войны. Его звали Авидий Кассий, ему было сорок лет и родился он в Кирре, в материковой части Сирии, где находились значительные владения его родителей. Знаменитый ритор, Гелиодор, отец Кассия, друживший с Адрианом и ставший начальником его греческой канцелярии, принадлежал к сословию всадников и завершил карьеру в должности префекта Египта. Сам Авидий Кассий получил сенаторский сан, затем консульство и командовал одним из сирийских легионов (3-м Галльским), где имел репутацию весьма энергичного начальника. Его считали даже жестоким — он, не колеблясь, отрубал ноги дезертирам, — но мы не знаем, по природе или по необходимости он был таким. Точно одно: в сирийских войсках издавна царила вольница. Фронтон оставил ее смехотворную картину: солдаты ходили из таверны в таверну с цветком за ухом, размякшие после бань, неспособные сесть на лошадь; командиры наслаждались жизнью вместе с богатыми клиентами Дафны — изысканного горного курорта в нескольких часах езды от Антиохии.

Дафна, своим происхождением связанная с мифом (именно там Аполлон преследовал нимфу, которая, спасаясь от него, превратилась в лавр), для римлян была легендарным символом восточной роскоши и изнеженности. С прелестями ее климата, дававшего отдохнуть от изнуряющей жары долины Оронта, познакомились, конечно, и Помпей, и Антоний, и многие другие. Но в скандальную хронику она попала именно благодаря Луцию Веру: справедливо или нет, но считается, что летом его штаб-квартира находилась именно там, а зимой переезжала в другое знаменитое злачное место — Лаодикию. Он подражал жизни Антония и Клеопатры. Правда, царственной в его подруге была только красота, если верить восторженному портрету, оставленному Лукианом, да и то она сама возразила, что этот портрет ей льстит. Звали ее Пантея[32]; Луций встретил ее в Смирне, и она имела над ним такую власть, что ради нее он даже сбрил свою Юпитерову бороду. Сделав скидку на преувеличения

биографов-моралистов и писателей-сатириков, можно предположить, что Луций в течение войны, которая могла перевернуть ход истории, действительно жил без особых забот. Но разве ему было место между верховным командованием, находившимся в Риме, и боевыми полководцами? Ему хватило благоразумия и благонамеренности не пытаться исполнять обязанности, к которым он был не готов. Зато обладал великолепным даром себя преподносить, и тут он в глазах легковерных, но насмешливых сирийцев играл свою роль лучше, чем мог бы Марк Аврелий, хотя парфяне едва ли трепетали при его имени.

Заставить их трепетать было обязанностью полководцев, чей талант все и решал. Стаций Приск вернул господство над Арменией. Говорили, что легенда о непобедимости легата шла впереди него и гром ее сокрушал противника. Однако новое завоевание заняло гораздо больше времени, чем прежний разгром. В этой стране с очень сложным рельефом, где редкие проходы были защищены феодальными крепостями, пехотинцу-легионеру трудно было тягаться с парфянским лучником. Зато и главная ударная сила противника — всадники в железных латах — на горных тропах была не так эффективна, как на равнине. В общем, об этой войне, точно такой же, как все прежние войны Рима на этой территории, известно только, чем она кончилась: Приск взял Артаксату — столицу, расположенную в суровой северо-восточной части страны, — и разрушил ее. Затем он заложил новую, названную Койнеполис (Новый город)[33], и посадил там привезенного с собой в обозе старого царя. Царь Сохем из династии подчиненного Риму княжества Эдесса имел сан римского сенатора и уже потому был крайне подозрителен для местной знати и жречества. Эта история повторялась неоднократно: в очередной и не в последний раз римский протеже держался во главе Армении до тех пор, пока поблизости стояли римские легионы, а парфяне держали оборону.

Трон Дария

А в конце 163 года именно так оно и было. История уже не раз показывала, что парфяне могут добиваться блестящих успехов, но не умеют их использовать. У этой могучей державы — единственной, которая могла еще казаться римлянам опасной, — были свои внутренние тормоза, сдерживавшие ее экспансию. Август извлек уроки из опытов Помпея, Красса и Антония и первым определил надлежащую меру в отношениях с ними: если не трогать парфянских святынь, священной границей которой на

Западе считался Евфрат, они всегда будут согласны на более или менее болезненные для их самолюбия компромиссы. По крайней мере так было все время, пока царствовали Аршакиды, которым никогда не удавалось достигнуть такого единства и административной централизации, как в Римской империи. С учетом того, что Царь Царей не имел собственных вооруженных сил, ему приходилось использовать те, что доставляли вассалы — князья огромных сатрапий. Эта сила, начальство над которой и вся наступательная мощь которой были сосредоточены в привилегированной кавалерии, не могла действовать круглый год. Пешее войско было составлено из жалких крестьян, которых приходилось отсылать домой для сбора урожая.

Эта ситуация в общем-то банальна: с ней мы сталкиваемся во всех больших монархиях, которые вплоть до нового времени неверно именовали нациями. То, что называют Парфянским царством, было просто надстройкой над феодальными правами лиц, связанных общей племенной принадлежностью и обретавших единство только перед лицом общей опасности. Но вот тут политика римлян, которую они сами считали оборонительной, а парфяне — агрессивной, — не раз и не два способствовала пробуждению патриотических чувств у этих так называемых наследников Ксеркса и Дария. Золотой трон все еще находился в Риме. Насколько же далеко на сей раз могли зайти недоверие, политические амбиции, стратегические расчеты и просто материальные возможности противников? Мы недостаточно знаем об этой войне — многие рассказы о ней утрачены. Но можно себе представить, что осенью 163 года выдохшиеся парфянские всадники уже покинули пустынные места, отделявшие их от провинции Сирия. Реорганизация десяти легионов, от Каппадокии до Аравии служивших оплотом римского присутствия на так называемом Ближнем Востоке, была завершена: их энергично укрепляли Кассий с Лелианом. Дипломатия была делом государя и его кабинета. Очевидно, пришла пора пустить ее в действие: ведь цели войны — контроль над Арменией и Сирией — были достигнуты.

Есть ли обратный путь?

Вер отправил Вологезу предложения о мире. Вологез не мог не считаться с количеством сил, поставленных под оружие против него — не менее сорока восьми тысяч превосходно подготовленных воинов. В чем состояли римские требования, неизвестно. Можно предположить, что они были достаточно разумными: ведь восстановление статус-кво смывало оскорбление

и позволяло Веру, которому сенат дал почетное прозвище Армянского, триумфатором вернуться в Рим, а Марк Аврелий вовсе не был расположен ради престижа пускаться на авантюру в духе Траяна. И все-таки римский император не мог отмахнуться от одного серьезного аргумента: правильно ли было бы возвращать домой большое войско, собранное для противостояния неожиданному нападению, которое, правда, было отражено, но по-прежнему представляло угрозу? Не следует ли воспользоваться этим экстраординарным сосредоточением сил, чтобы разгромить противника на его же базах? Дальнейшее показало, что это мнение разделяли многие командиры в легионах, задействованных в Сирии, а также деловые круги Антиохии и Рима, желавшие сокрушить торговую монополию парфян.

Эта дилемма — с какого момента не остается обратного пути — возникала при всех мобилизациях разных времен и стояла в начале множества нескончаемых войн. Расчеты парфян, очевидно, были примерно такими же: ведь Вологез наверняка терял лицо в глазах своих воинов и вассалов, если при первой же угрозе вновь соглашался на позорный компромисс по Армении. В общем, переговоры были трудными, о чем можно судить по письму, в котором Луций Вер извиняется перед Фронтоном за долгое молчание: «Поистине мне не удалось ничего такого, чтобы я мог просить тебя разделить мою радость, которой тебе желаю, и не хочу, чтобы ты входил в заботы, день и ночь весьма беспокоящие меня и приводящие почти в отчаяние. Впрочем, как описать подробно планы, которые меняются со дня на день». Вологез отклонил предложения Вера. Луций не мог потребовать меньше, чем освободить правый берег Евфрата и дорогу из Пальмиры в Дура-Европос — место переправы через реку, — оставить месопотамские крепости и дать обязательства относительно свободы внешней торговли. Это означало ограничение парфянского суверенитета и сокращение сверхдоходов от невероятных пошлин и сборов в гаванях теплых морей. От Басры до Пальмиры цена корицы возрастала в десять раз.

Призрак третьей державы

Было бы недальновидно усматривать в восточном вопросе только наследственную вражду между парфянами и римлянами — двумя древними цивилизациями, двумя направлениями военно-экономического империализма. Это действительно было главной темой циклотимической эпопеи, регулярно портившей мирный лик легендарного Эдема финикиян и вавилонян. Но не

следует забывать, что в региональное равновесие вмешивались и другие силы, что обе господствующие державы сами испытывали внешнее и внутреннее давление. Такое положение, несомненно, входило в расчеты тех и других, поскольку по караванным и морским путям передавались сведения об этом, а перебежчики сообщали полезнейшие разведывательные данные. Эти секретные или не слишком точные сведения о пограничных стычках, дальних потрясениях, военных действиях на второстепенных театрах дошли до нас крайне отрывочно. Но они достаточно хорошо показывают, какие опасности грозили на периферии двум державам, укрепившимся к западу и к востоку от Средиземного моря. Как ни парадоксально, эти опасности были общими.

Их описание вышло бы далеко за рамки биографии императора, в расцвете лет имевшего несчастье оказаться в точке схождения мощнейших сейсмических волн от дальних и непредсказуемых толчков. Как бы ни был Марк Аврелий убежден в единстве всего мира, он, наверное, так и не понял, что на племена, нападавшие на Рим, тоже нападали их старые и новые соседи. Мы еще мало знаем о Кушанской империи на стыке Ирана, Индии и Монголии, но по мере того, как она выходит из мрака безвестности, в котором из-за отдаленности своей пребывала для римлян, становится все понятней, что она была самым настоящим арбитром отношений между континентами. Во второй половине II века Кушаном правил великий индо-скифский завоеватель Канишка, зимняя столица которого находилась в Пешаваре, а летняя возле Кабула. Ее границы плохо известны; предполагают, что она простиралась от Мерва, Самарканда и Ташкента на севере до устья Инда на юге и до Индии на востоке. Становой хребет этого царства — Гиндукуш — отделял старые эллинистические провинции Бактрианы от долины Инда, современный Афганистан от настоящего Пакистана. На западной границе Кушан соприкасался с иранскими провинциями Парфянского царства и с индийскими княжествами непонятного статуса. Еще хуже известно, кто соседствовал с ним к северу от реки Оксус, в прикаспийских и приаральских степях. Там, в современных Туркестане и Узбекистане, жили скифские и монгольские племена, номинально подчинявшиеся Ханьской империи.

Канишка называл сам себя и магараджей, и шахиншахом, и даже Сыном Неба — это выражает неоднозначность природы его индопарфянской державы на перекрестке великих цивилизаций Азии. Он более чем кто бы то ни было контролировал Шелковый путь. Хотя его больше влекли богатства Индии, чем персидские пустыни, Кушан все время оставался опасностью и для Парфии —

до нас дошли сведения о кампании, которую Вологезу III пришлось вести против своего восточного соседа. Не поможет ли современная ситуация в этом регионе, где под пристальным взором великих держав с трудом уживаются иранцы, афганцы и пакистанцы, понять соотношение сил, существовавшее в те времена? Может быть. В той мере, в какой скудость этих мест и суровый климат всегда накладывали печать на сменявшие там друг друга народности. Все-таки удивительно, как устойчиво сохраняются исконные черты у населения местности, через которую в течение столетий прошло столько цивилизационных влияний. Правда, во II веке н. э. там еще можно было отыскать следы эпопеи Александра Великого, разыгравшейся за пятьсот лет до этого. Нетрудно представить, как выглядел бы мир, если бы македонский завоеватель прожил подольше и мощной рукой преобразовал бы его. Он стремительно промчался по странам, где, казалось бы, уже по природе не могло быть ничего западного, и этого оказалось достаточно, чтобы окрасить их в эллинские цвета. Там, где он являлся, возникали эллинистические царства. Марк Аврелий еще мог поддерживать кое-какие связи с греческими государями Бактрианы, говорившими и писавшими на языке Платона. Но это был уже только мираж. Неумолимое наступление скифских племен положило конец этому первому и, несомненно, уникальному опыту синтеза мировых культур.

Парфяне — Аршакиды, изгнавшие последних наследников македонских Селевкидов, предшествовали и вместе с тем препятствовали великому переселению своих дальних родичей — кочевников Средней Азии. Гунны были где-то недалеко, а скифы, на которых, возможно, уже надвигались гунны, — повсюду: за Карпатами, на Кавказе, в Казахстане. Рим также сдерживал их — на своих северных европейских границах и на Среднем Востоке. Было ли ошибкой при Нероне отказаться от предложения парфян вместе напасть на кавказских аланов? Нет — Рим умно и терпеливо вел свою собственную политику. Ее проявления видны при Траяне, который, прежде чем завоевать Армению, не преминул установить протекторат над маленькими кавказскими государствами Албанией, Колхидой и Иберией. Адриан и Антонин замкнули кольцо оборонительного союза вокруг Черного моря, наполовину окруженного скифами-сарматами, которых сдерживали только местные царьки, купленные римской дипломатией. Об этом следует прочесть в отчете, по приказу Адриана написанном каппадокийским легатом Аррианом — тем самым, который собрал знаменитые «Беседы» Эпиктета, прочитанные Марком Аврелием благодаря Рустику. Этот отчет, озаглавленный «Период Евксинского[34] моря», описывает

великолепную позицию римлян от Трапезунта до Севастополя — ряд укрепленных пунктов, охраняемых небольшими гарнизонами. Но главное — перечень встреченных по дороге народностей, говорящий нам о том, с какими невероятными по сложности этническими факторами приходилось считаться римлянам.

«Жители Трапезунта, — докладывал Арриан, — как и сообщает Ксенофонт, соседствуют с колхидянами. Что касается весьма воинственного и враждебного требизондцам народа, который он называет дриллами, то я думаю, что это савны. Они живут в укрепленных поселениях и не имеют царя. Прежде они платили дань Риму, ныне же предались разбою и перестали платить. Впредь, клянусь богами, мы возьмем с них дань или истребим их. За ними живут махелоны и гариохийцы, у которых царем Анхиал. Далее зидриты, подданные фарсаманцев. Далее лазы, у которых царем Маласс, получивший власть от тебя, и апсилы, которым царя Юлиана дал Траян. Их соседи — абаски, которым ты дал в цари Ресмага, и еще саниги, над которыми ты посадил Сападака в Севастополе. От Гиппа до Диоскурии мы видели Кавказские горы, высотой равные Альпам. Нам показывали вершину по имени Стробил, где, как гласит предание, Вулкан по приказу Юпитера приковал Прометея».

Эта по счастью сохранившаяся часть отчета — лишь один из примеров той поистине прометеевской энергии, с которой римская администрация действовала по всей Империи и в ее ближайших окрестностях. Адриану приходилось в Бесарабии отражать набег язигов и роксоланов. Вспомним еще, что Антонин и Марк Аврелий оказывали помощь жителям Ольвии против таврических аланов. Говорить по всем этим поводам о римском империализме значило бы буквально противоречить истине: единственной целью этих титанических усилий была защита Средиземноморья от бурного натиска неведомых племен. Для греко-римского мира было жизненно важно возвести против скифов-сарматов, уже овладевших древним Персидским царством до самого Персидского залива и Туркестаном до Индийского океана, такую преграду, чтобы они не могли с Кавказских гор и от устья Дуная хлынуть к Mare Nostrum[35]. Такой преградой были провинция Дакия (нынешняя Румыния) и вассальная Армения (Восточная Турция и Азербайджан). Завоевания, в которых упрекают Траяна, имели стратегический смысл. Они были опорными пунктами обороны Малой Азии и Сирии — в конечном счете законного эллинистического наследия. Но стоило ли ради этого вторгаться в Месопотамию? Это был тот же самый вопрос, что в начале 164 года стоял перед Марком Аврелием и на деле уже был решен.

Месопотамская кампания

Так что о том, чтобы Луций вернулся в Рим за титулом Армянского, речи уже не шло. Он честно предложил Марку Аврелию разделить этот титул, но тот дал знать сенату, что не считает себя достойным его. Он следовал все той же логике: брал на себя политическую ответственность, а коллеге в войске предоставлял играть роль Геркулеса, поражающего парфян. Впрочем, он еще колебался, не поехать ли ему в Сирию. Для Луция это было бы вдвойне неудобно: ведь именно теперь он должен справить свадьбу с Луциллой, которой 17 марта исполнялось пятнадцать лет. Приезд Марка Аврелия в Антиохию выглядел бы явно не вполне уместным: он в любом случае появился бы там в качестве главнокомандующего, чем бросил бы тень на своего коллегу и отошел от собственной роли верховного арбитра. Предложили компромисс: старший император должен был отвезти дочь в Эфес — роскошную столицу провинции Азия, — где и сыграть свадьбу. Но это было еще хуже: император доставлял себе неудобство — первое в жизни большое путешествие, — но не пользовался случаем появиться перед готовыми к войне легионами в двух днях морского пути оттуда. Наконец сошлись на программе-минимум: Марк Аврелий доехал с Луциллой до Брундизиума, где она села на корабль под охраной Луциева дяди Верулена Цивики Барбара. Фаустина с ней также не поехала, но это было естественно: она тогда каждый год носила ребенка.

Луций прибыл в Эфес. Луциллу провозгласили Августой наравне с матерью. Этого было уже многовато для неокрепшего рассудка капризной девицы, а все остальное — праздники на Оронте, свита из молодых военных и, главное, поклонение толпы, — совсем вскружило ей голову. У римских императриц была опасная привилегия: им поклонялись как Диане в Эфесе, как Артемиде на Хиосе, как Дафне в Антиохии. Многие из них возгордились от этого сверх меры, начиная от Юлии, дочери Августа, кончая Фаустиной Старшей — родной бабкой Луциллы. О Пантее с тех пор не было слышно, зато в хрониках появляются другие непонятные личности, в частности некий Агрипп по прозвищу Мемфис, которого Вер назначил «аполавстом» — министром удовольствий. Мы не будем в той же мере, как древние авторы, возмущаться его окружением из флейтистов и арфистов, актеров и танцоров — тех, кого так ценили и так чернили в высшем римском обществе. Но тут же возникают имена, не предвещающие ничего хорошего — среди них молодой египетский авантюрист Эклект, который приехал в Рим с

домочадцами Луция, потом стал одним из ближайших служителей Коммода, преемника Марка Аврелия, а потом его же и задушил.

На Палатине было объявлено, что императора задержали в Риме неотложные дела, но люди, кажется, поняли его иначе: «Он не хотел молвы, будто поехал в Сирию возноситься славой от уже окончившейся войны». На самом деле война только начиналась. Когда Армения вернулась в римскую сферу влияния, а вся Передняя Азия до Кавказа была замирена Клавдием Фронтоном и Марцием Вером (старый Стаций Приск на этом, кажется, завершил карьеру), ударные части 3-го легиона «Минерва» и 5-го Македонского получили возможность участвовать в контрнаступлении на Месопотамию. Эта легендарная земля, орошаемая реками-близнецами, была садом Парфии, как Египет был житницей Рима. Для армии же в походе это был укрепленный вал, по которому приходилось идти тысячу с лишним километров, так как солнечное сплетение царства, по которому и следовало ударить, находилось на самом юге — там, где Тигр и Евфрат, вместе родившиеся в Армении, вновь сходятся перед впадением в Персидский залив. Этот райский сад оборачивался адом для легионов, периодически шагавших по нему то в одну, то в другую сторону. Они несли потери, когда сталкивались с сопротивлением жителей многолюдных городов, но еще больше — когда встречали безжизненную пустоту. Парфяне любили тактику выжженной земли. Римляне боялись этих всадников, удиравших от них, осыпая тучей стрел.

На севере, на траверсе Каппадокии, легионы перешли Евфрат через Зевгму — известный в истории брод через узкую еще реку — и вошли в княжество Осроэна, нейтральное, но постоянно разорявшееся. Столица княжества, богатая Эдесса, и ее правители, династия Абгаров, знали римлян и склонялись к ним. В Дасауре парфянский гарнизон перебили жители. Наступление на севере продолжалось, был взят укрепленный город Нисибис на Тигре, а в это время другая, более сильная группа войск под командованием Авидия Кассия прошла вниз по Евфрату, преследуя парфян, которые, верные своей тактике, оставляли за собой пустыню. Решительные битвы произошли при Никифории и Суре. Трудно судить, перешли легионы реку или шли по обоим берегам одновременно. У нас нет об этой войне такого подробного рассказа, как о походе Траяна, но на него можно опираться, говоря о характере местности, о вооружении и о тактике, которая за несколько лет не могла измениться.

Несомненно, именно с этим планом кампании как с образцом Марк Аврелий выходил из своего палатинского кабинета, чтобы

отдавать арсеналам приказы готовить необходимые боевые машины для осады крепостей: катапульты, баллисты, скорпионы, громадные башни на колесах. Придумывать форму кораблей для речного флота уже не приходилось: их планы передавались прямо из архивов римского генерального штаба. Фронтон по просьбе Луция написал рассказ о войне. До нас дошли только помпезно-красноречивые отрывки, в которых герой сегодняшнего дня превозносится за счет вчерашних.

Кампания 165 года была отмечена взятием Дура-Европоса — крупного речного порта и перекрестка сухопутных дорог в Сирийской пустыне. Этот эллинизированный караванный город в течение столетий переходил из рук в руки. Как и Пальмира, он находился в ленной зависимости от Рима. Судьбы этих двух городов тесно связаны. Их ворота, выходившие на дороги в песках, смотрели друг на друга с расстояния полутора сотен километров. Битва за Дуру была очень кровавой и стала решающей. Теперь все боевые легионы могли координированно наступать на месопотамском фронте. Там были лучшие полководцы своего времени: сириец Авидий Кассий, аквитанец Марций Вер, его тезка далматинец Юлий Вер, азиатский грек Клавдий Фронтон. То, что на Вавилонской дороге сошлись такие разные судьбы, говорит о мощной ассимилирующей силе Империи. Перед соединенной силой этих войск парфянская армия отступила к Тигру, но это было не тактическое отступление: ведь так ее могли прижать ко дну месопотамского кармана. Ей оставалось только пытаться бежать на просторы континента, к своим историческим иранским убежищам. Царские войска с трудом перебрались через Тигр, их предводитель Хосров спасся вплавь.

Страшная победа Авидия Кассия

Два главных города западных провинций неприятельского царства — греческая Селевкия на правом берегу и парфянский Ктесифон на левом — оказались беззащитны перед Авидием Кассием. Они открыли ему ворота. Селевкия была великолепным торговым городом эллинской культуры с населением в четыреста тысяч душ. Несомненно, римлян там встретили далеко не так радушно, как утверждали позже некоторые римские историки. Селевкийские греки прекрасно ладили с парфянами: они по традиции вели их внешнюю торговлю и благодаря этому имели наполовину независимый статус. Приход победителей-римлян грозил этим привилегиям, так как за войском шли крупные торговые дома европейских городов и Антиохии. Конечно,

селевкийцы были готовы договариваться, как это было с Траяном (впрочем, помнили они и о том, как затем оказались лицом к лицу с парфянами), но в этот раз легионы хотели вознаградить себя за все страдания. Город был разграблен самой многоязычной в истории солдатней: там были сирийцы, азиаты, исаврийцы, фракийцы, германцы, италийцы, галлы, батавы, нумидийцы. Невозможно даже представить себе, до какой разнузданности могли дойти эти люди, сбросив с себя бремя жесточайшей дисциплины в одном из самых богатых в мире торговых центров. Кассий потом утверждал, что население взбунтовалось первым, а солдаты просто оборонялись.

Разрушение Селевкии, о масштабах которого идут споры, осталось пятном на истории Рима, потому что этот город был причастен к легенде об Александре и представлял собой аванпост греко-римской цивилизации на Востоке. На процессе, возбужденном позднее против Авидия Кассия, обвинение так и не доказало, что это было: случайность или приказ, отданный в целях безопасности. По крайней мере такие же действия в Ктесифоне не возбудили такого негодования, а ведь в сожженном дворце Вологеза наверняка хранились сокровища персидского искусства. Как выяснилось позднее, в нем таились и чары, позволившие Царю Царей отомстить за кровавое унижение.

В тот же момент царь, окруженный наемной иноземной гвардией «Бессмертных», скакал через Иранское нагорье к своим восточным столицам: Экбатане за горами Загр и Гекатомпиле за Эльбрусом на южном берегу Каспийского моря. Там он будет ждать нового, более подходящего случая отвоевать Армению. Он постарается заставить своих крупнейших вассалов и зороастрийское жречество забыть о своих симпатиях к западной культуре и модам. В своих неприступных крепостях, под охраной привилегированной гвардии «Бессмертных», числом, как считается, десять тысяч человек, он начнет учить свою разношерстную армию, в которой скифы, индийцы, монголы и персы под командой перебежавших со всех концов света греков и римлян станут готовиться к отражению маловероятного нападения Авидия Кассия.

Иранское убежище

Никто не видел Царя Царей в его отдаленном горном убежище. Древний персидский этикет не давал для этого никакой возможности. Даже послы говорили с ним только пав ниц — никто в принципе не имел права поднять на него глаза. Его лазоревые одеяния, расшитые звездами, его жемчужная корона

были наследием прошлого и прообразом все более абсолютистского и теократического будущего. Чувствовал ли Вологез, что его династия уже осуждена консерваторами и фанатиками, возмущенными неспособностью Аршакидов противостоять и римской агрессии, и римским соблазнам? Впрочем, соотношение сил совсем не однозначно склонялось в сторону римлян. Их затянули чересчур большие пространства, на которых легионы выдыхались, обремененные огромными обозами и даже совершенством организации тыла как таковым. Тяжело груженная пехота — знаменитые «Мариевы мулы»[36] — была не слишком эффективна против стремительной кавалерии. «Парфянские стрелы», густой тучей пускавшиеся через плечо, нельзя было отразить. Персидские «катафрактарии», с головы до пят вместе с лошадьми защищенные кольчугами, казались неуязвимы. Но с римским прагматизмом придумано немало контрмер.

Конечно, легион еще долго оставался основой войска квиритов[37]. Благодаря единообразию организации, корпоративному духу и способности приспосабливаться к обстоятельствам, он выдерживал борьбу с любым организованным противником — а долгое время легионам угрожали только такие. Но чем дальше они удалялись от привычной климатической зоны и знакомого мира, тем больше убеждались, как в дискомфортном окружении растворялась их атакующая мощь. Особенно болезненными оказались два крупных поражения: разгром Красса как раз в Месопотамии, в Каррской долине (53 год до н. э.) и Вара в темном Тевтобургском лесу в Германии (9 год н. э.). Оба раза Рим надевал траур, но не предпринимал реформ. Перемены совершались постепенно и прямо на месте. В один прекрасный день появилась кольчуга. Воинские части, противостоя врагам, прибегавшим к партизанским действиям, становились разнообразнее, легче, мобильнее. Против всадников пустыни выпускали их же сородичей под командованием римских офицеров (numeri) — своего рода колониальные войска, приспособленные для выполнения задач командос. Фракийские лучники нейтрализовали парфянских. Вышло так, что функции неприкосновенного легиона из десяти когорт по шестьсот человек, иначе говоря, из шестидесяти центурий, дополнялись вспомогательными кавалерийскими и пехотными частями, способными решать особые задачи, требуемые особенностями местности или тактики неприятеля.

Но не только римляне приспосабливались к боевым методам противника. Парфяне уже многому научились у своих

македонских и греческих подданных, а теперь изучали римскую стратегию при помощи пленных и перебежчиков, да и из собственных поражений извлекали уроки. Если бы их войско было единым, имело постоянную армию и штаб на службе у авторитетной политической власти, они бы могли на равных сражаться с римлянами в классическом бою. Некоторые в Парфии уже начинали серьезно об этом думать. Но Аршакидам было трудно избавиться от своих племенных корней, они так и не ушли вперед от стадии феодальной конницы. В пехоте у них служили крепостные, вооруженные пиками, да и стрелы их лучников были плохого качества. Шанс им давало пространство, по которому неслись благородные всадники с копьями, саблями, луками и арканами, прикрепленными к шлему вместе с длинными разноцветными лентами, развевавшимися на ветру. Вдогонку за ними шли на восток Авидий Кассий и Клавдий Фронтон, чтобы если не завоевать, то очистить левый берег Тигра.

Глава 5
ИМПЕРАТОРСКАЯ РЕСПУБЛИКА (166–169 гг. н. э.)

Гляди не оцезарей, не пропитайся порфирой — бывает такое.

Марк Аврелий.
Размышления, VI, 30

Империя доброй воли

Сорокапятилетний Марк Аврелий производит впечатление одного из самых добросовестных государей, когда-либо существовавших, да и его окружение было одним из лучших. Если и есть в его царствование что-то неясное, то не потому, что управление было непрозрачно, а потому, что документы не сохранились. И хотя о демократичности Империи нельзя говорить всерьез, трудно было бы найти пример более благонамеренной власти. То, что результаты не соответствовали намерениям, тоже вряд ли кого-нибудь удивит. Наследство Марку Аврелию досталось отличное, и хотя оно было оплачено некоторым отступлением, связанным с чрезмерными гедонизмом Адриана и консерватизмом Антонина, но после отважных предприятий Траяна это можно было понять. Добропорядочному наследнику предписывалось восполнить дефицитные статьи общего положительного баланса. Как мы только что видели, статья «Оборона» находилась в залоге, зато статья «Система управления и участие в нем принцепса» — в полном порядке. Современные историки непрестанно анализируют эту систему, и даже политики, при всем их пренебрежении к прошлому, могут извлечь из нее весьма полезные уроки.

Вполне уместно, в развитие этого наблюдения, признать, что среди римских императоров было больше превосходных администраторов, чем дурных, и неумеренный интерес к последним не дает разглядеть великое дело первых. Августа (и даже Тиберия), позднее Веспасиана (и даже Домициана) и уж бесспорно Антонинов можно назвать предельно ответственными государственными деятелями, а многие из них были талантливее Марка Аврелия. Но превзошел он всех в памяти потомков (это прекрасно увидел его преемник Юлиан) полным бескорыстием и самоотверженностью в общественных и частных бедствиях. Всех

остальных вознаграждали слава, всемогущество или хотя бы извращенные удовольствия. Он ничего не просил и ничего не знал, кроме тягот долга.

Эту скрупулезную добросовестность, которую при благоприятных обстоятельствах могла бы засосать обыденность, возвысили и обессмертили испытания, обрушившиеся на Марка Аврелия с первых месяцев царствования, казалось бы, обреченного на рутину, но увлеченного потоком истории, внезапно ускорившей ход. Но во всех этих испытаниях он нимало не явил паники, в его жизненном распорядке никто не заметил никаких изменений. Значит, он был готов к своей должности еще лучше, чем показывают собранные нами до сих пор о нем сведения. Лишь когда он достиг сорокалетия и, заняв первое место, встретился с неожиданными ударами, в нем становится виден взрослый муж, внутри него начинают зреть «Размышления», которые он через несколько лет сведет воедино. В «Размышлениях» мы без труда обнаружим черты верного автопортрета — чаще всего невольные. С этого момента мы получаем право ссылаться на них: человек созрел, его характер установился.

Мы уже рассматривали облик Марка Аврелия в скульптуре — теперь обратимся к чертам его характера в изображении биографов. «Он был государем не пышным, любезным, легко доступным, — сообщает нам его современник Геродиан, — подавал руку всем, подходившим приветствовать его, и не велел стражам никого отгонять». Капитолин, на основании непосредственных свидетельств, позже писал: «Он был трезв без кичливости, добр без слабости и солиден без хмурости». Солидность поведения (gravitas) для римлян была высшим достоинством; те, кто не обладал ею от природы, брали ее напрокат. У Марка Аврелия она происходила от природной робости и нелюбви к лишним движениям, но впечатляла современников настолько, что через тридцать лет после его смерти один из его эфемерных наследников, император Макрин, пытался придать себе вес, подражая поведению «Божественного Марка». Он ходил с важным видом, сообщает Геродиан, и говорил так тихо, что его речи невозможно было расслышать. У Юлиана Дионис на суде богов говорит: «Он кажется мне квадратом без всякого изъяна». Если, конечно, не считать изъянов телесных, которые, как мы помним, тот же Юлиан описывал весьма снисходительно: «Видом он был величествен, глаза и лицо слегка тронуты утомлением… тело изможденно и утончено постоянным воздержанием…» Этот портрет можно прочесть уже у современника, Диона Кассия: «Усердное учение повредило его

сложению, хотя когда-то он был довольно крепок, чтобы научиться всем упражнениям… Его здоровье до того разрушилось, что почти все время царствования он был нездоров». Ниже мы подробно остановимся на тех недомоганиях, в которых он сам признавался: кровохарканиях, ангинах, желудочных болях, — и на диагнозах, которые ставил его врач Гален.

Значит, за внешней любезностью и безмятежностью крылось высочайшее напряжение: стремительный ход событий не мог не сказаться на ритме работы. На это указывает переписка с Фронтоном. Она продолжалась, в ней по-прежнему говорилось о вопросах грамматики и о здоровье, но видно, как часто Марк уходит от разговора: «Два последних дня у меня вовсе не было досуга, кроме как для недолгого ночного сна. Поэтому я не успел прочесть твое большое письмо к Луцию. С нетерпением жду случая сделать это завтра…» Несколько дней спустя длинное письмо опять не получается: «Из-за срочных дел, которыми надеюсь заниматься не всю ночь, могу только приписать строчку-другую. Если у тебя есть под рукой отрывки из писем Цицерона, пришли мне их или скажи, что мне надо в первую очередь прочесть, чтобы усовершенствоваться в языке». Вообще же он старался переключить переписку старого учителя на младшего ученика, Луция, чтобы передохнуть самому и завершить воспитание своего коллеги.

Умение принимать помощь

И вот мы возвращаемся к центральной проблеме: велик ли был запас энергии у императора. Дион Кассий, знавший его, пишет: «Соправителя себе он выбрал потому, что сложения был хрупкого и сильно пристрастился к учению, Луций же был во цвете лет». Таким образом, Марк Аврелий берег силы. Ему следовало рассчитать пределы своей физической выносливости, а для этого он все время старался отыскать равновесие в распределении времени и усилий. Нужно ему было выкроить время и для своей внутренней жизни. Инстинкт говорил ему, что если он не будет владеть своей душой, то потеряет и контроль над телом, и власть над внешним миром.

Как показала римская история, медлительный и скрупулезный по природе человек, обремененный безмерной ответственностью, может стать и мудрым и безумным императором — смотря по тому, позволит ли он себе плыть по течению. У Марка Аврелия были две очень прочные точки опоры. Одна не давала впасть в бесчинства, сопряженные с властью, —

это были сочинения Тацита и Светония; другая позволяла привести в порядок свои задачи — это был опыт, день ото дня приобретавшийся рядом с Антонином. Уроки Тиберия и Домициана учили Марка следить за своими нервами и держать при себе свое плохое настроение. Чему научил его приемный отец, он сам рассказал очень убедительно: «Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено… Во время совещаний расследование тщательное и притом без спешки закончить дело, довольствуясь теми представлениями, что под рукой…» (I, 16). На то же самое обращает внимание и Дион Кассий: «Марк Аврелий наималейшие обязанности исполнял тщательно, никогда ничего не говорил, не делал и не писал с небрежностью или для вида. Он отдавал целые дни незначительным делам, будучи убежден, что император ничего не должен делать с небрежением».

Похвала эта не без подвоха; она приводит на память шуточки о «крохоборе» Антонине, но мы слишком часто забываем, что это был век строжайшей экономии, что само слово «скрупулезность» происходит от мельчайшей меры веса древних менял. «Все взвешивать, ничего не делать в спешке», «не удовлетворяться общей оценкой, сохранять силу духа, владеть собой и быть осторожным в решениях» — превосходные правила для правителя, подходящие для той «солидности», которой мы уже давно предпочли «мобильность». И никогда они не применялись так, как при Антонинах — трудолюбивых «провинциалах», сознательно не придававших значения политическим традициям и тенденциям, которые италийская аристократия использовала в корыстных целях. Во главе государства они вели себя не как хозяева, а как управляющие, и хотя мистика императорской власти сохраняла провиденциальное значение, но теперь сильно умерялась гуманностью. Кажется, недостаточно отмечено, что испанский выходец Траян, его племянник Адриан и внучатый племянник Марк Аврелий принесли на римский престол элитарную стоическую философию своих соотечественников Сенеки и Лукана, павших жертвой палатинских интриг, Антонин же, родом галл, привел к власти эпикурейскую мудрость сельского жителя Горация.

Эти два мощных философских течения, которые в конце I века до н. э. вышли из долгого пребывания в подполье школ греческих ораторов и охватили всю Империю, встретились в рабочем кабинете всемогущего государя. Он больше всего хотел уделить им все свое внимание, осуществить их синтез и оформить его законодательно, но внезапно оказалось, что ему пришлось столкнуться с колоссальными управленческими проблемами.

Тогда он оставил философию как неприкосновенный запас в глубине души и стал заниматься только им, что было нужно для дела. Отсюда практические правила, восходящие и к Эпикуру, и к Эпиктету, а вернее, к Антонину и к Рустику: «…Не перекидывался, не метался, а держался одних и тех же мест и тех же дел» (I, 16); «…Его друзьям не приходилось гадать, чего он хочет или не хочет, а было это всегда ясно» (I, 14); «…Без готовой улыбки или, наоборот, без гнева и подозрений» (I, 15); «… Внимательность и размеренность человека, вперившего взгляд в то самое, что должно быть сделано» (I, 16). Но главное — умение принимать помощь.

Это правило в «Размышлениях» изложено в таких выражениях, как будто речь идет о воинском уставе: «Не стыдись, когда помогают; тебе предстоит задание, как бойцу на крепостной стене. Ну что же делать, если ты, прихрамывая, не в силах один подняться на башню, а с другим вместе это возможно?» (VII, 7). Тут же приходит на память раздел власти с Луцием, и это, несомненно, подтверждает замечание Диона Кассия, который, скажем кстати, вероятно, не знал «Размышлений». Но Марк Аврелий принимал в помощь не только соправление. Немногие римские императоры да и вообще государственные деятели окружали себя такими талантливыми, добросовестными и верными сотрудниками. Большинство из них уже работали вместе с ним и с Антонином: они вдвоем подбирали всех главных должностных лиц. Новая команда состояла из молодых людей, а чаще всего — как увидим, к великому возмущению сенаторов, отодвинутых от ключевых стратегических постов, — из кадровых военных.

Либерализм ограниченной власти

Мы можем себе представить, каким аппаратом для принятия решений — «кризисным штабом», как говорят в современных компаниях, располагал Марк Аврелий. Его средоточием был центральный орган власти — Императорский совет, чье начало велось от группы родичей и друзей Августа, которых он негласно собирал спросить их мнение. Советники Августа, все избранные из сенаторского сословия, ни в коем случае не были министрами: эта роль при Юлиях — Клавдиях была официально закреплена за лицами, служившими императорскому дому, — «палатинскими отпущенниками». Они были способными деятелями, отчего лишь опаснее становились их злоупотребления; поэтому они разделили утрату доверия со своими самовластными хозяевами и мало-помалу уступили место всадникам, происходившим из крупной

римской буржуазии. Они подготовлены лучше бывших рабов и сенаторских сынков, почему в течение первых двух столетий и призывались регулярно заполнять места в администрации для решения все более специализированных задач государства. Их главой по иерархии был префект претория (нередко на этом посту находилось два человека) — командующий гвардией и начальник гражданских служб, тоже всадник, полностью подконтрольный императору. Его роль стала огромной; он носил титул eminentissimus «высокопревосходительства» и руководил работой Императорского совета.

Совет, в котором теперь заседали близкие (amici), верные товарищи и сотрудники (comites) принцепса, а также префекты претория, начальники важнейших служб и самые уважаемые юристы, определял государственную политику, составлял законы и был судом последней инстанции для гражданских и уголовных дел. Но какова же тогда была роль пресловутых «Римского сената и народа» (Senatus populusque Romanus), именем которых принимались все постановления, подписывались договоры, санкционировались аресты? Что стало с римской демократией? Ответить на эти вопросы — значит пересмотреть теорию абсолютной монархии. На ряде примеров мы увидим фактические границы императорской власти в контексте особенностей гуманного правления Антонинов в первые три четверти II века. Сейчас скажем, что эти пределы устанавливались не столько контролем народа и сената, сколько качествами самого принцепса и настроениями общества. Граждане совершенно отвыкли от избирательного права: уже когда Калигула в блаженные первые дни своего царствования хотел его вернуть, они не понимали, зачем оно им. Для сената же правительство, вышедшее из его рядов, никогда не забывавшее с ним советоваться и оповещать его о своих делах, было настолько своим, что у него и резонов не было противоречить ему. Однако, как мы увидим ниже, это всеобщее согласие было недолговечным, а точнее, его конституционные основы были непрочными.

В чем же тогда состояла абсолютная власть Марка Аврелия, который, очевидно, не был готов защищать ее силой и произволом, если подданные ее как-нибудь вдруг станут оспаривать? Для себя он, конечно, никогда так не формулировал вопрос, но все его поступки показывают, что император всегда с крайним вниманием заботился, чтобы в обществе и в армии сверху донизу не было никакого недовольства. Дело тут не только в его природном благодушии и не в его философии. Искать причины такой добровольной уступчивости следует глубже: в его неспокойной совести. «Он поставил себе правилом бывать на

заседаниях сената, — сообщает Капитолин, — даже если его присутствие не было необходимо. Когда же у него самого было дело в сенате, он приезжал туда даже из своей резиденции в Кампании. Часто видели его сидящим в комициях до ночи, и он не выходил оттуда, пока консул не произносил заключительных слов: „Отцы сенаторы, нам больше нечего вам сказать“. Заставлял он себя бывать и в амфитеатре на зрелищах, которые ему не нравились и даже отталкивали, но там являл неуважение к римскому народу тем, что на виду у всех разбирал почту, и народ роптал». Впрочем, как пишет тот же Капитолин, «праздники он устраивал великолепные и однажды показал народу в одной охоте разом сто львов, убитых стрелами». Понятно, что Марк Аврелий, к восхищению биографа, жившего на двести лет позже, делал все возможное, чтобы удовлетворить ожидания своих сограждан. Что касается войска, то он всегда находил нужный тон для сердец простых воинов, а военачальники изменили ему только однажды, то ли потому, что он на них слишком понадеялся, то ли просто по недоразумению.

Можно думать, что за подчеркнутой внешней предупредительностью таилось глубинное беспокойство: любят ли его, достаточно ли он беспристрастен. Социологи могли бы даже сказать, что его обходительность («он давал руку всякому, кто подходил к нему») — старый ритуал успокоения общества. Если вспомнить, каким замкнутым Марк был в детстве, неудивительно, что он был робок и неуверен в себе на публике. Свидетельство Капитолина, видимо, подтверждает этот диагноз: «Он чрезвычайно заботился о своей репутации, подробно выспрашивал, кто что о нем говорит, и то, что, по его мнению, ему заслуженно ставили в упрек, больше не повторял». Мы, конечно, не очень хорошо можем себе представить, как это он выносил себя на публичное обсуждение — для него органичнее самонаблюдение и тайная исповедь, — но надо вспомнить, что он жил в окружении великих моралистов и, «даже будучи императором, продолжал посещать уроки Аполлония». Отсюда можно сделать вывод, что Марк Аврелий вел себя явно не как самодержец, способный возглавлять абсолютистскую систему. Между тем историки-буквалисты утверждают, что принципат — типичный случай бесконтрольной власти.

Но почему античная государственная система не могла быть либеральной, даже не отвечая всем современным нормам демократии? В наш век тоже идут споры о соотношении формальной и реальной свободы. Разве реальными были свободы Римской республики с ее Катилинами и Клодиями? Их распри разрешил Цезарь. Можно ли считать его тираном за то, что он

хотел покончить с анархическим популизмом различных группировок; а Брута, развязавшего разрушительную гражданскую войну, записать в демократы? Угнетал ли римский народ Август, самовластно положивший конец этой войне? В наших глазах истинная природа императорской системы, начало которой положил референдум 30 года до н. э., неоднозначна, но, видимо, лишь потому, что мы ставим анахронические вопросы.

Во времена Марка Аврелия римляне уже не спорили всерьез о достоинствах республиканского строя и принципата: они прекрасно приспособились к компромиссу, тщательно обоснованному Плинием и Тацитом. По словам последнего, он «совместил вещи, дотоле несовместимые, — принципат и свободу»[38]. Если бы Тациту пришлось писать панегирик Антонину или Марку Аврелию, он мог бы уточнить: максимум свободы, возможной в огромном, неоднородном, политически централизованном, социально и экономически далеком от равенства обществе. Нет сомнения, что, постольку, поскольку эти оговорки не особенно замечались современниками, в сознании людей это была оптимальная демократия. Величие Марка Аврелия в том, что он не удовлетворялся пассивным консенсусом и подвергал себя непрестанной самокритике, желая убедиться, что не пренебрег ни одной из обязанностей. Но обстоятельства уже стремительно обращались против него, подрывая основы его гуманистического дела.

Необычайный правитель

Военные действия, мирные переговоры, развертывание новых вооруженных сил на Востоке, на Дунае и на Рейне не мешали Марку Аврелию усердно заниматься гражданскими делами. Хотя в его административном наследии постановления, подписанные им самим, нелегко отделить от решений, принятых лишь от его имени (эта проблема существует для всех монархов и чревата серьезным искажением исторической перспективы), можно безошибочно утверждать, что его рука видна повсюду. Мы не можем подвергать сомнению установившуюся за ним общепринятую репутацию чрезвычайно добросовестного и скрупулезного администратора. Нерону нельзя приписывать все распоряжения Бурра и Сенеки, скрепленные его печатью, но личность Траяна с первого взгляда видна и в его письмах, и в его эдиктах. Правильно это было или нет, но Антонины делегировали мало полномочий, хотя вокруг них находились чрезвычайно надежные и способные помощники. Зато внутри Императорского совета доверие к подчиненным создавало атмосферу

единомыслия всех его членов во главе с председателем — принцепсом. Адриан, давший Совету статус постоянно действующего органа с функциями Государственного совета, Верховного суда и Кабинета министров одновременно, брал его с собой, колеся по дорогам Империи. Ему хватало умственных и физических сил распространять свой авторитаризм на всю административную деятельность. У Марка Аврелия не было ни данных, ни честолюбия Адриана, но и он поддался искушению самому заниматься всем.

Поддался, впрочем, нехотя. С удивлением видишь, как в «Размышлениях» не раз повторяется совет, воспринятый от первого наставника, «самому делать свое и не вдаваться в чужое» (I, 5). «Многословен… не будь», — пишет еще Марк Аврелий (III, 5). «А не лучше ли необходимое делать — столько, сколько решит разум общественного по природе существа и так, как он решит? Потому что тут будет благочувствие не от прекрасного только, но и от малого дела» (IV, 24). Он явно боится разбросанности — его с детства учили ее бояться, — и чем больше живет, тем больше бережется[39]. Но в то же время он не может уйти и от требований профессиональной добросовестности, которым его учил Антонин: пребывание «всегда… на страже того, что необходимо для державы… трудолюбие и выносливость… предвидение издалека и обдумывание самых мелочей» (I, 16). Вспомним черту, сохраненную биографом: «Он отдавал целые дни незначительным делам». Поскольку очевидно, что и значительных дел император не оставлял, он изнемогал от работы. Как мы увидим, он все с большей тревогой будет стараться уберечь себя с помощью самодисциплины или бегства от дел. Все, что он станет делать, заключено в рамки этого тяжелейшего противоречия.

Как мыслитель, Марк Аврелий считал, что «вся земля — точка» (VIII, 21), «Азия, Европа — закоулки мира» (VI, 36), а как государственный человек — по примеру Антонина вникал в каждую подробность. «Ведь если бы он пренебрег хоть одной мелочью, — поясняет Дион Кассий, — он бы счел, что упрек, заслуженный им за нее, распространяется и на все остальные его дела». Это правило — одно из ключевых в морали Марка Аврелия. В его глазах все вещи во Вселенной связаны и одна нечистая частица портит все, будь то в государственном устройстве, в общественном порядке или в Космосе. Принцип всеединства действия приводит к требованию всеобъемлющей деятельности. Здесь стоицизм проявляет себя как учение о бесконечно большом и малом одновременно, что не оставляет человеку ни минуты покоя.

И притом еще мало добросовестно делать свое дело. Автор

«Размышлений», как иногда кажется, склоняется к чистому стоицизму, сведенному к правилу «Делай, что должно, и будь, что будет». Но Капитолин показывает, как заботился император о последствиях своих действий, а особенно о своей личности в глазах общественности. Мы уже видели, что он «подробно выспрашивал, кто что о нем говорит». Кроме того, мы читаем, «что он ничего так не боялся, как прослыть скупым, и во многих письмах оправдывался в таких упреках», а также что, «когда прошел слух, будто некоторые под прикрытием философии угнетают Республику и ее жителей, он сам выступил их обвинителем», а «когда из-за его нелюдимости, которую приписывали занятиям философией, стали строго судить его военные походы и все его поведение, он во всеуслышание и письменно отвечал на эти упреки». Со времен Августа не случалось, чтобы правитель так слушал общество и так отвечал ему. Довольно неожиданно видеть это свойство у императора, склонного скорее к замкнутости, во времена, которые все историки характеризуют как «неуклонное сползание от принципата к доминату», то есть от ограниченной власти к абсолютной. Следовательно, следует изменить оценку весьма оригинальной природы императорской власти в последние годы ранней империи перед началом ее развала — а для этого (начало 167 года) еще не видно никаких причин.

Сенат: реальность мифа

Кажется удивительным, что до сих пор была почти не видна роль пресловутого Римского сената в деятельности власти, хотя эту самую власть обвиняют в чрезмерном соблюдении интересов аристократии. В действительности это учреждение формально отнюдь не утратило престижа, а Антонины во многом вернули ему прежнее значение. Верно и то, что все важные мероприятия правительства исходили из сената и в конце концов к нему же возвращались. Собрание, которое управляло провинциями, чеканило монету, по согласованию с принцепсом назначало высших чиновников и давало императору верховную власть, отнюдь не было фикцией. Впрочем, упразднить его никогда никто и не пытался. Иногда в нем устраивали чистку, но тотчас пополняли его состав. Но не менее очевидно и другое: от прежней самостоятельности сената не осталось и следа. Все, где сенат еще играл роль, он делал по согласованию с императором и вместе с ним. Адриан из-за одного только дурного характера позволял себе править, подчеркнуто его игнорируя: с Палатина можно было и не замечать курию на Форуме. Но можно было, выглянув из

окна, дружески махать ей сверху рукой, иногда даже спускаться туда и заходить. Так поступал Траян и заслужил почетное прозвище Наилучшего. Так поступал Антонин и получил имя Праведного. Марк Аврелий чувствовал себя там как дома. С сенатом ему было легче пользоваться личной властью.

По правде говоря, сами сенаторы не строили иллюзий по поводу масштабов своей власти, от которой оставались лишь почетные украшения: монету они чеканили только мелкую медную, провинции и без них были спокойны, все назначения настоятельно рекомендовались императором, а императоров еще до сената обычно провозглашало войско. Законы («сенатус-консульты»), которые они торжественно принимали, писались в палатинских канцеляриях. Но вот уже тридцать лет сенаторы имели, если можно так выразиться, присносущное чувство причастности к управлению. Не стоит приписывать им покорность и подлое раболепие: с правительством их, конечно, связывал общий интерес, но вовсе не обязательно корысть. Представьте только себе собрание из шестисот человек родом со всех концов Империи, каждый из которых весьма влиятелен в своей родной общине. Множество клиентов по родству и по общественным связям, местные кланы, экономические (ремесленные и земледельческие) интересы, воинская и интеллектуальная репутация делали их, взятых вместе, достаточно серьезной силой, чтобы служить правительству опорой или, как можно было видеть при Тиберии, Домициане и даже при Адриане, рано или поздно доставить властителю серьезные неприятности. На самом деле такое собрание было не менее представительным и более влиятельным, нежели наши парламенты при Старом режиме и сенат при Империи.

Отрицать представительность этого собрания на том основании, что оно формировалось не на выборной основе и не всенародно, было бы буквально неуместно. По отношению же к идеям, господствовавшим при Империи, оно имело полностью легитимную форму, альтернативы которой не было. Ведь невозможно было организовать голосование всех жителей в провинциях по римским законам, но еще хуже — ставить провинции в зависимость от голосования одних только римских жителей. Август испробовал кое-какие юридические фикции, но они не пережили его правления. Применялась система кооптации членами крупных магистратур, причем эта система находилась под серьезным контролем императора, который мог вычеркивать имена из списков — знаменитых «альбумов»[40] — или добавлять туда своих друзей. Именно таким образом к когорте сенаторских детей, от рождения предназначенных занять места родителей,

присоединились Фронтон, Авфидий Викторин и Клавдий Помпеян. Впрочем, императорский произвол ограничивался строго соблюдавшейся системой очередности прохождения должностей (cursus honorum). Карьера императора могла в виде исключения проходить быстрее, но никому не дозволялось перепрыгивать через ступени, не считая, разумеется, революционных ситуаций вроде тех, когда Веспасиан и Тит в 70 году полностью разогнали сенат Нерона, а Нерва с Траяном в 96 году очистили сенат Домициана.

Эти великие чистки стали удачами для провинциалов. Фактическая монополия древних римских и чисто латинских фамилий окончилась. Впрочем, они уже потеряли способность выполнять свою историческую миссию. Одни были истреблены, другие разорены. В сенате Антонинов уже не было ни Сципионов, ни Метеллов и Гракхов, а выходцев с Востока, из Африки, из Испании становится почти столько же, сколько италийцев. Как ни странно, становится в нем все меньше галлов, хотя галльские провинции были самыми законопослушными. Как полагают, все дело в том, что галлы не видели смысла переезжать в Рим или вкладывать, как это требовалось, четверть своего состояния в покупку земель в Италии.

Как мы уже видели, Марк Аврелий «присутствовал на заседаниях Курии до самого конца. Ни один государь, — пишет далее Капитолин, — не выказывал большего, чем он, почтения к сенату. Чтобы окружить это учреждение еще большим почетом и дать многим его членам уважение, приличествующее отправляющим правосудие, он поручал многим сенаторам, имевшим преторское звание, решение тех или иных дел. Некоторым же сенаторам, обедневшим не по своей вине, он давал звания эдилов и трибунов, не принимал в сенаторское сословие ни одного гражданина, который не был ему хорошо известен…». На самом деле то, чем Капитолин так восхищается, — ловкое манипулирование. Но такова цена гражданского мира. Парадокс в том, что сенат был и бесполезен, и необходим: можно править без него, но никак не против него.

В средоточии исполнительной власти

Слишком пристально вглядываясь в это легендарное учреждение, античные историки и поколения последующих компиляторов оставили неизученными настоящие центры принятия решений и новые социальные слои, по окончании эпохи двенадцати Цезарей[41] вырвавшие исполнительную власть из рук палатинских отпущенников. Мы уже упоминали Императорский

совет, члены которого назначались сроком на год и получали вознаграждение. Больше мы знаем об исполнительных органах — крупнейших канцеляриях. Они функционировали как статс-секретариаты. На второстепенных должностях в них по-прежнему встречаются отпущенники, но в один прекрасный день они сами или их дети пополняли ряды всадников. Большая часть властных и управленческих функций перешла в руки именно этого среднего класса — так называемого всаднического сословия.

Это богатое и предприимчивое сословие из второго уже давно превратилось бы в первое, если бы сенату не удалось сохранить и упрочить свои привилегии, став открытым снизу или сбоку для высших слоев всадничества, усвоив новые стремления и ценности. В каждом отдельном случае процесс перетекания из сословия в сословие контролировался императором, который, таким образом, по-прежнему поддерживал равновесие сословий. Сохранение формальной иерархии маскировало рост реальной мобильности внутри римского общества. Теперь человека из его природного положения вырывали не войны, не революции, не интриги, не чрезвычайные дарования и даже не просто случай. Труд, профессиональные достижения, упорная интеллектуальная деятельность всякого рода все большему числу людей позволяли продвигаться вверх или по крайней мере надеяться на возвышение. Этот фактор был менее заметен, но более полезен для общественного порядка, чем любое репрессивное законодательство. Случалось даже, что всадники отказывались от возможности получить сенаторский сан, сохраняя прежний статус, дававший им доступ к истинным рычагам политической и экономической власти. Сенаторское и всаднические сословие скорее дополняли друг друга, чем противостояли. Взаимного недовольства избежать было нельзя, тем более что Траян и Адриан не скрывали своего предпочтения всадникам, а Антонин отдавал им только должное. Но в любом случае если аристократия отступила перед натиском талантливых и честолюбивых людей, винить в этом она может только себя. Пример кланов Анниев и Ариев показывает, что все козыри были у нее на руках — только надо было уметь их разыгрывать.

Всадничество приобреталось по императорскому патенту; по воспоминаниям о военном происхождении сословия, оно еще долгое время давало привилегию символически или реально содержать «общественного коня», но в первую очередь это было благородное звание, символом которого служило золотое кольцо. Всадник должен был доказать доход в четыреста тысяч сестерциев в год — меньше половины сенаторского ценза. Для этих людей — в большинстве своем финансистов и предпринимателей — это не

было проблемой. Наибольшего расцвета всадничество достигло, когда брало на откуп налоги, но с тех пор как взимание налогов перешло под контроль государства или прямо проводилось государством, всадникам пришлось превратиться в податных инспекторов. Кто-то из всадников возглавлял и финансовое ведомство — Счетную канцелярию (a rationibus). Другие стояли во главе ведомства переписки (ad epistulis), разделенного на два отделения, латинское и греческое (своего рода два министерства внутренних дел, между которыми делилась Империя к западу и к востоку от Эгейского моря), канцелярии ad libellis, ведавшего прошениями, ad studiis, занимавшегося личными делами чиновников, а memoria, хранившего архивы фараонов. Правда, трудно вообразить себе эту гору пергамента; огонь, вода и крысы за многие века не истребили бы ее, если бы во времена монахов-переписчиков она бы попросту не отправилась в переработку. Мы должны понять, что о настоящей жизни Империи знаем очень мало. Осталась лишь память римского народа, воплощенная в камне.

Бессмертные законники

«Вечный эдикт», составленный величайшим юрисконсультом той эпохи Сальвием Юлианом, самим названием показывает, до какой степени римляне полагались на свою юридическую деятельность — даже если слово «вечный» здесь надо понимать более скромно, в смысле «постоянный», в противоположность временному. Юлиан был уроженцем Гадрумета в Тунисе, происходил, очевидно, из семьи римских поселенцев и сделал в Риме блестящую юридическую карьеру. Адриан ввел его в Императорский совет и удвоил ему жалованье, чтобы удержать его там. Этот исключительно строгий и ясный ум сыграл, возможно, сам того не зная, исключительную цивилизующую роль: он упорядочил нормы права. На этой стадии развития античного общества не было ничего важнее. До тех пор римский закон, уже около тысячи лет опиравшийся на Двенадцать бронзовых таблиц, развивался лишь благодаря эмпиризму так называемого преторского права. Каждый претор (высший судебный чин), вступая в должность на очередной год, объявлял свою программу, то есть правила своего судопроизводства, и тем самым на свой лад толковал закон. Даже если произвол ограничивался здравым смыслом, чувством справедливости и апелляционными процедурами, беспорядок был неизбежен. Адриан решил положить этому конец.

Сальвий Юлиан почти ничего не выдумал, но расчистил

заросли и сделал просеки в запущенном лесу, который двести лет спустя вновь почистил Феодосий, а триста — Юстиниан. Кодификация отнюдь не остановила развитие права, а создала в нем пространство для творчества, как в следующем поколении, при Северах, показали знаменитые специалисты по государственному праву: Папиниан, Павел и Ульпиан. Но Юлиан не был прогрессистом: он принадлежал к более консервативной из двух крупнейших школ философии права при Империи — так называемой сабинианской. Другая, прокулианская, считалась новаторской. Чтобы понять разницу между ними, приведем такой пример. Если у сабинианца спросили, кому принадлежит стол, сделанный столяром из моего дерева, то он ответил бы, что мне, поскольку существо вещи — материя, а она не меняла собственника. Прокулианец возразил бы: столяру, потому что форма изменила природу вещи. Это уже Средние века и даже еще более позднее время: ведь основные принципы права, которым учат сейчас в университетах, — все те же принципы этих римских школ.

Отныне император, издающий эдикты и рескрипты, вполне естественно привлекал в свой Совет лучших юрисконсультов. Марк Аврелий завоевывал уважение у Сальвия Юлиана и учился вместе с его внучатым племянником Дидием Юлианом, который позднее стал одним из его главных военачальников. В Императорский совет при нем входили два ученика Сальвия: Волузий Мециан и Корвидий Сцевола. «Больше всего он любил советоваться с юрисконсультом Сцеволой», — передает Капитолин. Странно, что историк не упоминает имени, оставшегося в веках: Гая, автора «Институций», до сих пор хранящихся во всех университетских библиотеках. Гай для нас так и остается знаменитым незнакомцем. Вероятно, он не занимал государственных постов, но был весьма уважаем: его «Руководство права» переписывали все студенты-юристы. Уже в последние годы Империи «Руководство» было потеряно и в XIX веке обнаружено на обороте рукописи святого Иеронима. Эта находка, начиная со знаменитой формулы «Руководства» «Всякое право относится к лицам, действиям или вещам», перевернула все современное учение о праве. Возможно, никому не известный Гай входил в число «мудрецов» (prudentes), частные мнения которых, если они совпадали между собой, приобретали силу закона. Таким образом, правотворчество и юриспруденция все отчетливей становились прерогативой весьма обособленной корпорации, которая обладала доверием и служила совестью самого высокопоставленного из своих членов — самого императора.

Охватить одним взглядом и оценить законодательное и

регламентаторское творчество Марка Аврелия трудно. Традиция, что естественно, особенное значение придает его деятельности, касавшейся состояний частных лиц. Действительно ясно, что пора было навести порядок в семейных делах, издавна оставленных произвольным решениям: «Он первый создал должность претора по опеке, надзиравшего за опекунами, прежде дававшими отчет лишь консулам. Он издал новые законы о наследстве, об опеке отпущенников, о материнском имуществе, о доле сыновей в наследстве матери». Сохранились тексты относительно положения сирот, отпуска рабов на волю, приданого: они свидетельствуют об элементарном стремлении защитить слабого, но еще больше — о простой необходимости равновесия и единообразия. Напрасно было бы искать в этих текстах дух высокого гуманизма, носителем которого был философ Марк Аврелий. Неужели он, как думают многие, был так далек от жизни, так нерешителен, а то и лицемерен, что величие его души привело лишь к отдельным незначительным реформам?

«Самую малость продвинуться»

Дать только один ответ на этот вопрос значило бы разом найти ключ ко всему античному миру. Подобные ключи пытались подобрать Монтескье, Гиббон, Ренан. Но к секретному замку не подошел ни один. Прежде всего отрывочность сохранившихся текстов и, что еще хуже, обычно посвящавшихся им исследований делает любые обобщения рискованными. Но может быть и наоборот: обрывки актов о правах лиц низшего или униженного состояния, может быть, вполне представительны для положения дел своего времени. Это подтверждает другой пример: «Он принимал все возможные меры, чтобы положение граждан было обеспечено, и первый повелел в течение тридцати дней записывать у префекта Сатурновой казны имена всех свободнорожденных младенцев. В провинциях Империи он учредил должности секретарей, также с обязанностью записывать всех новорожденных, чтобы каждый, рожденный в провинции, если ему случится подтверждать свои права свободнорожденного, мог доказать их». Историки видят в этом постановлении зародыш современной регистрации актов гражданского состояния, то есть не просто периодический фискальный ценз, а постоянную гарантию личного статуса каждого. Это, несомненно, была социальная мера огромной важности, но критически мыслящие умы тотчас усматривают здесь нечто противоестественное.

Дело в том, что для некоторых «прогрессивных» историков очень соблазнительно отвести Марку Аврелию почетное место в

галерее консервативных политиков. Оправданием им служит неловкая похвала Капитолина: «Он не столько издавал новые законы, сколько вновь ввел в действие старые», — да и сам он хвалил Антонина за то, что тот не желал «никаких новшеств». И разве формальная регистрация состояния граждан не может быть средством зафиксировать его, заблокировать общество? Рассказав о том, что обеспечивало постоянные переходы из одного высшего сословия в другое, мы обязаны ради правды упомянуть и о том, что именно в правление нашего философа официально установилось неравенство перед законом людей «почтенных» (honestiores) и «подлых» (humiliores) с его ужасными следствиями для уголовных дел. Как записано в юридических текстах, начиная со времен Марка Аврелия, граждане несли различные наказания за одинаковые преступления в зависимости от социального положения. Если бы он мог осознать свою несправедливость, то в свою защиту сказал бы, что величайшая несправедливость — это произвол. Граждане, внесенные в правильно составленные списки, застрахованы хотя бы от того, что их лишат прав по ошибке. И действительно, многие тексты гарантируют отпущенникам, освобожденным заключенным и жертвам пиратов полную неоспоримость их статуса свободных людей.

В общем, каждая государственная мера внутри себя двойственна, поэтому из текстов, вырванных из плохо известного нам контекста, трудно вывести заключения, сведенные воедино задним числом. Понять, чего хотел Марк Аврелий, трудно; оценить, что он мог, рискованно; мера того, чего он достиг, конечно, невелика, но не надо забывать его собственной записи: «Довольствуйся, если самую малость продвинется». Может быть, стремление довольствоваться малым, в котором он признался к концу царствования, пришло ближе к старости, но больше всего старит опыт. Марк Аврелий не был прогрессистом — а кто до него был? Говорят, Цезарь, но его дерзость была настолько самоубийственной, что Брут, без сомнения, спас его от катастрофы. Август — конечно, но своим преемникам он закрыл дальнейший путь. Новшества Траяна и Адриана были блестящими, но каждым из них двигал собственный эгоизм, и они не смотрели в будущее. Марк Аврелий, бесспорно, был самым великодушным, самым восприимчивым к духу правосудности, но он не был готов или не имел времени разрушить старый неудовлетворительный баланс и на его месте установить новый, лучший. Может быть, он бы и пошел на риск во внутренней политике, если бы ему почти сразу не пришлось заниматься прежде всего внешними проблемами. Если так, вот наш ключ к его деятельности; она представляется нам изнурительным

поиском компенсации; чем неопределеннее становились политические перспективы, тем крепче был философский пессимизм, не дававший развернуться его воображению. Если так, то предположение, что от ложного смирения в его душе открылась настоящая язва, очень соблазнительно, но, как мы увидим, психопатологи на этот счет не единодушны.

Коронация Фаустины

Марк уже двадцать лет как женат на Фаустине, а мы про нее еще ничего не знаем. Так она и останется загадочной, но ее образ в истории — правдивый или легендарный — остался отрицательным. Образ этот сложился в последние годы ее жизни, в связи с совершенно непредвиденными событиями, в которых императрице приписывают не самую лучшую роль. Падает тень и на всю ее супружескую жизнь, хотя у нас нет точных данных. Скажем прямо: Фаустина приобрела репутацию Мессалины — а ведь супруг ее говорил: «Жена моя — сама податливость, и сколько тепла, неприхотливости» (I, 17). Впрочем, если верить древним авторам (которым обычно верят), Марк Аврелий прекрасно знал о ее беспутстве и даже жаловался друзьям. Поэтому ему придумали роль терпеливого мужа — одни считали это героизмом, другие слабостью. В момент окончания парфянской войны Фаустине было тридцать пять лет. Нам известно, что она уже родила одиннадцать детей, в том числе по крайней мере дважды близнецов. О некоторых из них так и не осталось более подробных сведений, чем медали и надгробные надписи. В живых оставалось семеро: Луцилла — жена Луция Вера; Галерия Фаустина, родившаяся в 151 году, вышедшая замуж за Клавдия Севера — друга детства Марка, в то время командовавшего XXX Ульпиевым легионом, воевавшим в Месопотамии; их младшие сестры Фадилла и Корнификия. В 161 году родились первые два мальчика: Аврелий Антонин и, несколько минут спустя, Аврелий Коммод. Год спустя непрерывность престолонаследия была подкреплена рождением Анния Вера.

Иногда замечали, что состояние почти непрерывной беременности оставляло мало места для адюльтера, если не предполагать, что дети были от разных отцов. Но такое предположение совсем не обязательно. Для римлян, не в пример многим другим обществам, законнорожденность была священным императивом: юридической и нравственной альтернативой для нее было только законное усыновление (впрочем, применявшееся очень широко). Сколько бы ни было написано о римских

адюльтерах и распущенности римских императриц — при ближайшем рассмотрении никак нельзя поставить под сомнение законность рождения детей в семьях Юлиев — Клавдиев, Флавиев и Антонинов. Исключением может быть только Клавдий, но его дети стали просто жертвой репутации своей матери — Мессалины. Известно, как радовался Август, узнавая в детях своей легкомысленной дочери Юлии черты зятя Агриппы. И наоборот: Тиберий пожертвовал правами своего внука Гемелла в пользу Калигулы, которого терпеть не мог, потому что серьезно сомневался в законности рождения внука. Династия Антонинов дважды чуть не пресеклась из-за бесплодности браков сначала Траяна, а потом Адриана, и потому эта проблема превратилась в политически-нравственное наваждение. Как бы, возможно, ни были легкомысленны Фаустина Старшая и Фаустина Младшая, их чувство ответственности перед династией и страх богов, вероятно, удерживали их от нарушения закона о чистоте императорской крови.

Впрочем, было бы неосторожно настаивать, что Фаустина не сбрасывала эту моральную узду как раз во время беременностей. Такая вольность обеспечивала максимальную безопасность римским женщинам, не знавшим эффективных методов контрацепции, а особенно дамам императорского дома, для которых затруднительны были тайные аборты. Так поступала пресловутая Юлия, которая, по собственным словам, «брала пассажиров только на борт груженого корабля». И все-таки, если верить разговорам о неверности императрицы, они скорее относятся к более позднему времени, когда Марк Аврелий часто отбывал на Дунай. Легко представить себе, что женщина на пороге климакса, постоянно лишенная супружеской близости, позволяет себе лишнее. Но в 166 году до этого было еще далеко. В это время семейный круг императора был, напротив, вполне крепким — может быть, слишком замкнутым — и высоко, чтобы не сказать строго, нравственным.

Любовь к детям

Дети занимали большое место в жизни: это естественно, поскольку их было много, да все со слабым здоровьем. Росли они вместе с родителями. И хотя на Палатине содержалось вокруг них вполне достаточно кормилиц и гувернанток, сама Фаустина, видимо, принимала в их воспитании большое участие. Трудно оценить меру любви римлян к своим детям: мы поражаемся их суровому воспитанию и не видим, какими они могли быть сентиментальными. Правда, из эпитафий и записок в храмы

видно, что простые люди умели испытывать нежные чувства к младенцам. Но с возрождением гуманизма высшие классы тоже стали больше обращать внимание на своих малышей или по крайней мере не скрывать своей привязанности к ним. Об этом говорит очень показательный текст, сохраненный для нас грамматиком Авлом Геллием, в котором выведен Фаворин — знаменитый галльский коллега Фронтона, уроженец Арля, друг Адриана, в его царствование хваливший возврат к природе (в то время эта тема была в моде, как и вообще старина). Фаворин навещает молодую роженицу из сенаторской семьи.

«Надеюсь, — говорит гость, — она сама будет кормить дитя. — Нет, — возражает мать, — ей нужно беречь себя. — Ради богов, позвольте ей быть матерью своему сыну! Что это за противоестественное, неполноценное полуматеринство, которое производит дитя на свет и тут же отталкивает его, вскармливает в своем лоне собственной кровью нечто невидимое и отказывает в своем молоке тому, кого видит живым, имеющим человеческий облик, молящим о материнской помощи?» Он осуждает женщин, сцеживающих молоко: «И это под предлогом не портить грудь, столь важную для их красоты! В своем безумии они доходят до того, что преступно прерывают беременность, чтобы линия их живота не искажалась морщинами…» Далее он возвращается к кормлению детей, обличает опасность кормилиц с их «наемным млеком», особенно тех, которые из варваров: «Попустите ли вы, чтобы дитя — ваше дитя — приняло в свою плоть и душу эманации души и плоти низшего свойства?» Здесь выражается не расизм — порок, не слишком свойственный римлянам, — а интеллектуальный элитаризм. Римляне были убеждены, что от молока гречанки начинают говорить с греческим акцентом, а потому то искали греческих кормилиц, то отказывали им, смотря по тому, начиналась или проходила мода на эллинизм. Но и в риторических упражнениях Фаворина, которые лишь шестнадцать веков спустя смог превзойти Жан-Жак Руссо, нельзя не поразиться искренности таких его слов: «Разве не очевидно, что женщины, отталкивающие детей, которых отдают на воспитание другим, если не рвут, то ослабляют теснейшие узы душ и тел, которыми Природа соединила родителей с детьми?»

Когда Марк и Фаустина были молоды, Фаворин в римских аудиториях еще пользовался почетом. Он считался глашатаем новых идей: «Когда ребенок не растет пред глазами матери, жар любви в сердце матери нечувствительно тухнет, а ее беспокойное попечение в конце концов иссякает…» Такие речи не могли не найти отклика в сердцах обитателей Палатина, которым были свойственны скорее буржуазные добродетели, чем

аристократическая холодность. Неожиданное свидетельство тому — одно из писем Фронтона к Марку Аврелию в деревню, написанное в 162 году: «Я видел твоих цыпляток. В жизни моей не было более сладкого зрелища. Они похожи на тебя так, что ничего не бывает подобнее такого подобия. Так я словно кратчайшим путем отправился в Лорий — кратчайшим, но не падая на скользкой дороге и не взбираясь в гору, — и увидел тебя не только прямо в лицо, но и со всех сторон, откуда ни смотри: справа или слева. Благодаря богам, они хороши с лица и у них сильный голос. У одного в руке была белая булка, как у царского сына, у другого, как у отпрыска философа, — сухарь. Я слышал их милые голоски, и в их лепете узнавал ясный и приятный звук твоего голоса на трибуне. Будь же настороже: теперь мне есть кого вместо тебя любить, на кого смотреть, кого слушать». Эти «цыплятки» — Антонин и Коммод, которым тогда было по два года.

В 166 году шутки вдруг сменяются скорбью: перед нами открывается мало известная область истинных чувств — того, что называют «жизнью, как она есть». Фронтон пишет Марку Аврелию: «Я в крайнем отчаянии плачу и рыдаю… Подряд я потерял сначала супругу, а потом, в Германии, внука. О проклятие! — да, я только что потерял моего Децимана». Это был трехлетний сын Грации и Авфидия Викторина, бывшего легатом Верхней Германии. Фронтон никогда не видел внука, но говорил со слезами: «Рядом со мной другой мой внук, которого я воспитал, и от этого моя скорбь еще сильнее: ведь в его чертах я словно узнаю того, кого потерял, словно вижу его лицо и улыбку, слышу его голос». Он с головой погружается в воспоминания: «Я потерял пятерых детей при самых горестных для меня обстоятельствах. Ведь все они уходили от меня поодиночке, и каждый раз я как будто терял единственное дитя: только лишившись одного, я обретал другого, и всякий раз некому было меня утешить». Фронтон многословно рассуждает о диалектике скорби, но в этот раз живая боль побеждает опытного ритора и уязвленный человек возбуждает наше сочувствие. Он даже сетует на Провидение, которое столь благородного человека, как Викторин, лишает законной надежды на своих наследников: «Неужели боги так безрассудны?» — спрашивает Фронтон. Больше всего его возмущает несправедливость: ведь ни Викторин — человек великих достоинств, — ни сам он не заслужили такой утраты. На этом месте старый адвокат начинает долгую речь, доказывая, что жизнь его была чиста.

Это отнюдь не те стоические «утешения», которые с легким сердцем плодили великие классики жанра от Цицерона до Сенеки

и Плиния. Как мы показали, Фронтон далеко не достиг их вершин и в наших глазах вообще олицетворяет упадок мысли во II веке, но здесь он кажется предшественником чувств нового времени: смутных и многомерных, наивных и соблазнительных. Идущая из глубины души жалоба пожилого человека, жалеющего, что не умер раньше и увидел свое несчастье, признающегося, что бессмертие души вовсе не утешение, — уникальный документ. Он уже забыл свою любимую супругу Грацию и едва находит время пожалеть другую Грацию — мать ребенка. В своем жалком эгоизме он говорит еще только о зяте и жалеет об упадке нравственных ценностей: Фронтон с Викторином остались их носителями, а ребенок должен был их унаследовать. Может быть, так понимал истину не только он сам, но и все его время?

Ответы Марка Аврелия и Луция Вера (который тоже получил пространную жалобу) трогательны, но банальны. Возможно, они думали, что старику учителю недолго осталось жить — и действительно, считается, что он умер несколько месяцев спустя, хотя об этом говорит только прекращение переписки. Фронтон был еще не очень стар — никак не старше шестидесяти пяти лет, — но его здоровье, на которое он жаловался давно, действительно резко ухудшилось из-за острого приступа артрита. Нам не приходится ставить под сомнение его великие душевные качества: привязанность императорской фамилии, которой он пользовался в течение двух поколений, очевидно, была заслужена какими-то неизвестными нам добродетелями. Преданности и придворной ловкости для этого было бы недостаточно. Точно известно, что благодаря обстоятельствам он заменил юному Марку Аврелию отца. Ученик писал: «Если ты хочешь, я чего-нибудь добьюсь»; учитель двадцать лет спустя ответил: «Я прожил довольно. Я увидел тебя императором — таким славным, как я надеялся, таким справедливым, как я предвидел, таким любезным римскому народу, как я желал». Сам учитель был хороший человек (не приходится сомневаться), красноречивый оратор (надо верить) и опытный юрист (этому тоже есть доказательства).

Кстати, благодаря нескольким упоминаниям о деле ожерелья Матидии — племянницы Траяна и тетки Марка Аврелия — мы можем оценить роль, которую хороший адвокат и делец мог играть в жизни семейства, стоявшего выше подозрений. Дело о наследстве по поводу этого ожерелья было казусным. Марк Аврелий не хотел судиться с теми, кто получил его по некоему приложению к завещанию покойной старухи, составленному при неясных обстоятельствах. Фронтон решительно дал ему понять, что эта щепетильность лишает Фаустину и ее дочерей законного наследства. «Ты всегда был сведущим и справедливым судьей —

неужели же в деле, которое прямо касается твоей жены, впервые рассудишь неправедно?» — спрашивает он. Император благодарил его за заботу и сказал, что прежде окончательного решения посоветуется с друзьями и с Луцием Вером. Он явно колебался и тянул время. Фронтон рассказал о деле своему зятю Викторину и в заключение написал: «Боюсь, как бы твоя философия не привела тебя к дурному решению». Учитель и ученик находились на двух разных полюсах общества, больного законничеством и смущенного философскими учениями. Чем кончилось дело, мы не знаем.

Психотерапия

Впрочем, вскоре выяснилось, насколько философия выше риторики. Вскоре после смерти маленького Децимана ушел из жизни четырехлетний Антонин — брат-близнец Коммода. Хотя в те времена и вообще до самых недавних времен подобные удары судьбы переносили лучше, нельзя преуменьшать скорбь отца, за несколько лет до того писавшего: «Когда мои малыши в добром здравии, мне кажется, что и я уже не болен, и что погода прекрасная». Впрочем, он уже готовился давать отпор излишней чувствительности, неуместной для главы Империи: ведь главным в его роли было не умение говорить красивые речи, а умение при любых обстоятельствах сохранять достоинство. Вот когда ему пригодились уроки Аполлония: «Всегда быть одинаковым — при острой боли или потеряв ребенка…» (I, 8). Что это — героизм? Нет — глубокое понимание природы вещей. Значит, фатализм? Пожалуй, если только взять этот термин во всем его метафизическом значении. С этих пор мы больше не можем видеть в Марке Аврелии вечного студента, каким он долго был, наивного молодожена, каким он мог быть, императорского подмастерья, скромного помощника. Хотя за все государство он отвечал только пять лет, опыт, приобретенный за четверть века на Палатине, не мог не привести его к ранней зрелости. Отныне его личность полностью сложилась. Конечно, у Марка Аврелия были и пределы нервной выносливости, и ограниченность понятий. Но даже при том, что он явно не обладал сверхуравновешенностью своих предшественников, однако восполнял этот недостаток проницательным умом, требовательной интеллектуальной прямотой и необычайной методичностью.

Таланты он не получил от природы. Ему их дали уроки наставников, собственная воля, а главное — он использовал их в контексте философской системы, на практике ставшей для него второй совестью. Чтобы понять глубоко оригинальный механизм

деятельности этого ума, которым обычно только восхищаются, а не изучают, посмотрим на его поведение после смерти своего ребенка. Мы не знаем, чем мог ему помочь Аполлоний, чтобы перенести эту скорбь (возможно, только собственным примером), но знаем поучения Эпиктета, которые Марк Аврелий всегда держал под рукой рядом с лекарствами, изготовленными для него врачом Галеном. Эпиктет ведет свою психотерапию с поразительной диалектической ловкостью и, начиная с самых банальных основ, постепенно опрокидывает самые прочные утверждения. Кто не согласится с его первым, фундаментальным постулатом: «Одни вещи от нас зависят, другие не зависят»? Но смерть, продолжает философ, от нас не зависит, а наше представление о ней зависит. То, что смерть страшна сама по себе, не важно — с этим мы все равно ничего не поделаем. Зато нашему представлению мы хозяева. Так будем воздействовать на наши собственные фантазии, и все станет хорошо. Отсюда приходим к поразительному утверждению: «Не требуй, чтобы вещи случались по твоему желанию, но желай, чтобы они случались так, как случаются, и будешь счастлив».

Трудно поверить, что на таком примитивном рассуждении основана великая гуманистическая мораль. Мы просто не видим, как лукаво это упражнение, переходя от банальностей к понятным образам и от афоризмов к замаскированным парадоксам. Обезоруживает страх и мятежный дух. В самом деле — к чему все рыдания и проклятия Фронтона: ведь он мог успокоиться, следуя совету Эпиктета: «Никогда ни о чем не говори: „Я потерял“, говори: „Я отдал“. Умер ли твой ребенок — ты отдал его; жена ли умерла — и ее отдал». Кому отдал, он не говорит. Для общества, искавшего потусторонний мир, в котором соединятся все души, его речь слишком кратка. В то же время и в ту же сторону двигались христиане, но эти попутчики торопились сами и торопили других: они бежали на свое великое последнее свидание. Их представления становились все богаче, образы стоиков — все бледнее. Более того: многие из стоиков поворачивали назад, искали убежища в бесчувствии. Среди них был и Марк Аврелий. Не находя лекарства против чувствительности своих нервов, он попытался подорвать ее концептуальные корни. «Сотри представление. Не дергайся» (VII, 29; ср. также XII, 22). К какому результату ведут его поиски? Победа над собой или поражение. В этом весь парадокс радикального стоицизма. Поэтому не надо удивляться, читая в «Размышлениях»: «Этот молится:… как бы не потерять ребенка! Ты: как бы не бояться потерять!» (IX, 40). Это говорит не о черствости, а о попытке победить отчаяние.

Мир и мор

От горя Фаустины, потерявшей четырехлетнего сына, не осталось следов — мы можем их разглядеть разве что в чрезвычайной заботе, которой она окружила оставшегося в живых Коммода. Она отправилась в Сирию к Луцилле, только что родившей девочку от Вера. Две императрицы встретились. Ни один злопыхатель даже не упоминает о ревности, которая могла бы их поссорить. Рассказывали, будто бы Фаустина была любовницей своего зятя, но приложила все усилия, чтобы дочь об этом не узнала. Больше похоже на то, что Луцилла была с матерью очень близка, и позже они объединились против отца. Капризная любимица, она затмевала сестер. Антиохия ликовала. Луция провозгласили Парфянским, потом Мидийским, хотя вторжение легионов в область персидских святынь было бесперспективно. На сей раз Марк Аврелий согласился и сам принять эти титулы, а также императорскую салютацию — высшую почесть, дававшуюся сенатом за особо выдающиеся победы. Эта победа была четвертой. Все они перечислялись в официальной титулатуре, которой подписывались все акты и послания. Весной 166 года заключается мир. Историки не знают его точных положений, но можно констатировать кое-какие его территориальные следствия. Армения и Осроэна вернулись под контроль римлян; стратегически важные Карры и Дура-Европос стали римскими форпостами; римские базы для обороны и наступления покрыли Армению, Кавказ, Каппадокию, Сирию, сдерживали Парфию, угрожали Месопотамии. Большего и желать нельзя.

Возврат к довоенной ситуации был для Вологеза поражением, но винить за это он мог только себя. Его утешала (но не избавляла от унижения) цена, которую заплатил противник ради того, чтобы даже не повторить завоевания Траяна и всего лишь обеспечить минимальную безопасность своих восточных провинций. А цена была огромная, что еще долго отражалось на Империи. Победоносные легионы вернулись, потерпев большие потери в боях — и лишились они лучших своих подразделений. Но прежде всего они занесли споры гибели для себя и для миллионов жителей Европы: чуму. Мор уже несколько месяцев косил их ряды. Кажется, взрыв эпидемии случился в Селевкии. Родилась даже легенда, что ее вызвал гнев богов за разграбление храма Аполлона. Некий легионер будто бы украл ларец со спорами того, что в истории получило имя «Антониновой чумы».

Этот мор, природа и последствия которого в точности неизвестны, до такой степени поразил воображение поздней

Античности, что преуменьшать его масштабы никак нельзя. Но стоит ли именно чуме вменять нарушение хода истории, ускорившее конец ранней Империи? Чтобы ответить с уверенностью, надо было бы обратиться к другим, более изученным великим пандемиям. Об этой же известно, что она началась в 165 году на Тигре и вместе с легионами прошла по всей Европе. Год спустя достигла Италии, потом была отмечена в Галлии и, наконец, на самом Рейне. Нет сомнений, что в воинских лагерях и в Риме число жертв было огромно. Императорам пришлось запретить хоронить покойников в Городе и в частных владениях. Они решили отнести расходы на похороны на казенный счет и отмечали память особо выдающихся личностей, сраженных бедой, которая не обошла ни одно семейство. Безусловно, это можно назвать социальным катаклизмом. Он длился несколько лет, распространяясь вдоль больших дорог. Но невозможно оценить его влияние ни на экономику, ни на демографию, поскольку чума совпала с другими явлениями, в те же самые годы сотрясавшими ойкумену. Во всяком случае, можно предположить, что между разными факторами дестабилизации просматривалась связь.

Есть вероятность, что, например, эпидемия, начавшаяся в Вавилонии, принудила римлян изменить планы и свернуть восточную кампанию. Если так, то можно предположить далее, что стратегические цели войны были более внушительными (вплоть до оккупации Месопотамии, которую осуществил сорок лет спустя Септимий Север), и отказ от них вызвал недовольство в окружении Авидия Кассия. Кроме того, возможно, что потери от чумы в причерноморских легионах ослабили оборону дунайской границы и соблазнили германцев не мешкая войти в пределы Империи. Но рассказы древних историков, будто целые области превратились в пустыню, позволившие новым историкам предположить, что варвары устремились в эти пустоты, можно поставить под сомнение. Убыль сельского населения имела, конечно, другие причины. А вот смута от сбоев в работе администрации, особенно средств сообщения, возврат забытого чувства постоянной опасности, глубокая психологическая травма от смерти, скачущей по Империи, действительно ускорили исподволь нараставший кризис, и следы этого сохранились в коллективной памяти.

Парфянский триумф

Луций ехал быстрее чумы. Вместе с Луциллой и своим развеселым двором он вернулся в Италию морем. Мисенский

флот дошел от устья Оронта до своей базы к концу мая 166 года. Возвратившихся встретили как героев. Фронтон, хотя он очень плохо себя чувствовал и вскоре умер, успел написать введение и несколько первых страниц из официальной истории Парфянской войны на основе донесений, полученных с гонцом от Кассия. Сохранившиеся отрывки не слишком ценны, и грустно слышать наставления ученика учителю, сделанные в форме почтительных пожеланий: «Ты можешь свободно рассуждать о причинах этой войны и особенно о наших первых поражениях, случившихся до моего прибытия… Чтобы справедливо оценили значение моих действий, надо особенно указать на большое превосходство парфян… Короче, подвиги мои таковы, каковы есть, но ты можешь представить их столь великими, сколь сочтешь за благо». Эти строки дают нам представление о непомерном тщеславии Луция и заставляют отчасти поверить намекам современников, будто Марк Аврелий терпел его все хуже и хуже. Вначале его простодушие хорошо гармонировало с обаянием, но теперь все затмили его претензии. Этого следовало ожидать. При режиме, требующем сильной персонализации одной из двух властей, двум правителям трудно одновременно исполнять одни и те же функции. Как бы ни был бескорыстен Марк Аврелий, ему было трудно стерпеть, что кто-то присваивает себе слишком заметную долю его заслуг.

Марк взял на себя слишком много. Говорят, он принял приглашение Луция посетить виллу на Клодиевой дороге. Он пробыл там пять дней, захватив с собой все свои дела, но во время работы не мог не заметить пресловутую «бесподобную жизнь» Вера. Правду говорят: кое-что надо увидеть, чтобы поверить. Вернувшись, Марк Аврелий знал, с чем имеет дело. Лето было занято приготовлениями к триумфу — магической, в сущности, церемонии, подтверждавшей легитимность правителя и закреплявшей единство Империи. Принцепса вводил в должность сенат, император получал признание преторианцев и легионов, но надо было еще всех граждан и все сословия приобщить к зрелищу неодолимого римского господства. Триумф часто венчал такие войны, которые велись только ради триумфа и победа в которых не была очевидной. Требовалось и вознаградить за труды войско: хотя бы на миг повергнуть Рим к его ногам, и эта церемония должна была быть тем более грандиозной, что в принципе у войска уже не будет другого повода и возможности войти в Город. Гордость и радость римского плебса в весьма заметной степени связаны с этим безмерным самовозвеличиванием силы Империи.

Организацией большого триумфа церемониймейстеры,

преторианцы, городские когорты, муниципальные службы занимались иногда целый год. От прецедента к прецеденту доходили до воспроизведения триумфов Помпея и Цезаря, но по сравнению с республиканским ритуал стал пышнее и спокойнее. Это были уже не предвыборные манипуляции и не великие «очищения», кончавшиеся кровавыми банями. Если бы кто-нибудь повторил массовую казнь иудейских пленников, устроенную Титом, это зрелище, пожалуй, опять собрало бы публику, но у новых властителей не было ни желания, ни надобности устраивать такие общественные жертвоприношения. Начиная со Столетних игр Антонина, на этих великих зрелищах представала в сжатом виде вся ойкумена (известный мир). Они стали своего рода всемирными выставками. Вслед за военным парадом шла внушительная демонстрация делегаций дружественных народов в экзотических национальных костюмах, а потом колонны пленников, сопровождаемые легионерами. За ними следовали носильщики с ценностями, взятыми у врага. С Кавказа и из Мидии везли животных с дрессировщиками: азиатских слонов, верблюдов, даже львов, тигров и барсов в клетках на колесах.

Этот пестрый и бестолковый бродячий цирк, несомненно, приводил в недоумение римлян, сотнями тысяч толпившихся вдоль улиц, взбиравшихся на памятники вдоль Священной дороги от Фламиниева цирка мимо Триумфальных ворот и Великого цирка до Форума и Капитолия, чтобы посмотреть на эту процессию. Какое связное представление о мире могло запечатлеться в умах городского плебса, неспособного осознать, какое огромное пространство защищала ради него профессиональная армия? Только взгляд рабов, захваченных на пределах Империи, мог было охватить это зрелище как всемирное и хотя бы смутно ощутить единство жителей всего мира. Хозяева — римляне из Рима прежде всего были ослеплены своим богатством и чувством превосходства, которое давала им сила. С триумфов они выносили, несомненно, смутное представление о событиях и неприязнь к диким областям и беспокойным людишкам, которых все никак не удается до конца победить и покорить.

Зато порядок и дисциплина чеканной поступи когорт, блеск всадников с султанами на шлемах, лес значков и орлов, открывавший шествие, давали им чувство уверенности. Величие двух людей в порфирах и золотых венцах, стоявших на колеснице, запряженной четверкой белых лошадей, подкрепляло сознание единства государства. Наконец, зрелище магистратов в тогах с пурпурными оторочками, жрецов в золотых и зеленых одеждах воплощало историческую традицию, гибель которой нельзя было

вообразить. Ее поддерживали хранительные мифы, заступничество настоящего перед прошлым, видимого мира перед невидимым. Консулы и трибуны с их номинальной властью, фламины Юпитера, превратившиеся в чиновников, стали чистой видимостью, но если на Рим нагрянет беда — они вернутся в первые ряды, сразятся с ней оружием и молитвой. Ходят слухи, что беды уже обступили Рим, но как их назвать — не знают: то ли это голод вследствие нескольких подряд неурожайных лет в Италии, то ли варвары, собравшиеся на границах, то ли повсеместная чума, то ли все сразу. Все хотят, чтобы легионы поскорее ушли: их тяжело терпеть, гражданам незнакомы эти лица далматинских горцев, фракийцев, батавов, бедуинов, вылупивших глаза, впервые увидев невообразимый Город. Скоро, окончив службу, все эти мужики, втиснутые в кожу и сталь, станут римскими гражданами. Их поселят на окраинах Империи и дадут земли, которые они будут оборонять от собственных родичей.

Апогей

Как ни гляди, даже тем, кто мало что понимает, ближе всадники в красных плащах, окружающие императорскую колесницу. Это чистокровные италийцы — имперская гвардия, преторианцы. Они обсуждают, как сажали на престол императоров. Об этом все знают, но кто же теперь может их заподозрить в подобном превышении полномочий? С самого начала столетия во главе преторианцев стояли люди безупречной честности, умиравшие либо на должности, либо в сражении. Фурий Викторин тоже из таких. Народ, впрочем, больше любит другие части — городские когорты, подчиненные префекту Города, высокопоставленному сенатору, также доверенному лицу императора. Сейчас этот могущественный человек — не кто иной, как Юний Рустик, любимый учитель Марка Аврелия, возведенный им на высшую степень почестей. Преторианская гвардия и городское ополчение втайне соперничают. Их начальники, всадник и сенатор, всегда могут стать открытыми соперниками. Первый начальствует над вооруженными силами и общим управлением Империей, второй — над Римом и его пригородами в радиусе 150 километров. В его распоряжении силы поддержания порядка днем (когорты), отряд ночной стражи, полиция и пожарные, что очень важно в городе, где постоянно случаются драки и пожары. Эти две силы должны друг друга уравновешивать и конечно же друг над другом надзирать, но как сделать, чтобы они мирно сосуществовали? Императоры

прошлого не могли разрешить эту проблему. Антонины ее урегулировали, но надолго ли? Фурии Викторины и Юнии Рустики не всегда раньше могли и наверняка не всегда впредь смогут поддерживать дисциплину вооруженных до зубов гвардейцев.

Только власть, обладающая высшей легитимностью, может рискнуть поставить сильных людей во главе всех учреждений, служб и войск Империи, память которой еще хранит всевозможные насилия и бесчинства. Эта легитимность считается сверхъестественной, но опирается на естественное право; она существует только благодаря исключительной адекватности духу времени, а точнее — благодаря опоре на самые живые силы момента. В течение четырех поколений она поддерживается династией прирожденных администраторов и посредников, у которых нет другой цели, кроме укрепления и упрочения огромного аппарата поддержания социальных связей. Это и был глубинный смысл зрелища, которым любовались римляне, когда триумфальная колесница наконец поднималась на Капитолий. Зритель, который смог бы отвлечься от ошеломительного величия режиссуры (а римляне этого никак не могли), разгадал бы секрет Антонинов: они были центром тяжести системы из превосходно уравновешенных элементов.

И пусть казалось, что они подавляют и чуть ли не сокрушают ее своей мощью, пусть им даже поклонялись как живым богам. Траян отождествил себя с Геркулесом Гадесским, и в нем правда было нечто геркулесовское, как и в Адриане — юпитеровское, но неужели они сами всерьез верили в свою божественную сущность? Марк Аврелий никак не нуждался в том, чтобы ликтор, сопровождавший императорскую колесницу, по обычаю шептал ему на ухо: «Помни, что ты лишь смертный». Он получил мандат посредника, но посредничал не столько между людьми и богами, сколько просто между людьми. Теоретически он искал только то, что могло бы устроить всех, а практической его задачей было поддержание царства равновесной справедливости.

Триумф 12 октября 166 года был его апогеем. Марк Аврелий и Империя вместе вступили в зрелый возраст — их судьбы были неразрывно связаны. Для триумфа избрали день годовщины возвращения Августа из Сирии и освящения алтаря Возвращенной Фортуны — возврата удачи в Рим. Оба императора приняли титул Отца Отечества, который приличие требовало долго отклонять. Значение этого дня было еще и в том, что он дал новый старт процессу престолонаследия: оба оставшихся в живых сына Марка Аврелия, пятилетний Коммод и трехлетний Анний Вер, получили имя Цезарь. При этом они стояли рядом с отцом, а еще

примечательнее было, что там же находились и их сестры — семилетняя Фадилла и шестилетняя Корнифиция, «так что на триумфальной колеснице, — век спустя удивлялся Капитолин, — увидели сразу двух девочек». Так между римским народом и императорской фамилией был заключен пакт, итогом которого стала трагедия, но лишь четверть века спустя.

Это второе посвящение в императоры дало короткую передышку, чтобы выйти из состояния войны и вернуться к управлению внутренними делами. На Востоке мир больше держался молчаливо признанным новым соотношением сил, чем торжественно подписанным трактатом. Правительство извлекло уроки из авантюры Корнелиана и создало там сильное генерал-губернаторство. Марк Аврелий поручил его человеку, звезда которого непрестанно шла к зениту — Авидию Кассию. Если даже предположить, что он колебался, у него, может быть, просто не было выбора. Так долго и думали, но наши источники на сей счет сомнительны. Скорее всего, биография Авидия Кассия, включенная в «Жизнеописания Августов», сочинена на основании его репутации и очень немногих достоверных фактов. В частности, знаменитое письмо, якобы уже в 166 году написанное Луцием Марку Аврелию, чтобы предупредить об амбициях главнокомандующего Восточной армией, вне всякого сомнения, выдумано, однако основано на правдоподобных сведениях, и его не следует отводить как источник информации: «Авидий Кассий, как мне кажется, завидует императорской власти, что замечал уже и отец наш Антонин. Советую тебе следить за его поступками. Он противится всему, что мы делаем, копит большие средства, смеется над твоей любовью к наукам и называет тебя старым философом, а меня буйным школьником. У меня к нему нет ненависти, но я опасаюсь за безопасность твою и твоих детей, если ты оставишь во главе армии подобного ему человека, которого могут слушать и любить воины».

Марк Аврелий якобы ответил так: «Я прочел твое письмо, где ты проявляешь страх, недопустимый для императора и для такого образа правления, как наш. Если боги предназначили Кассию быть императором, мы не могли бы этого избежать, даже если бы хотели — ведь ты знаешь слова Адриана: „Ни один государь никогда не убил своего преемника“. Если же ему не должно царствовать, самые его замыслы погубят его, даже если мы и не примем никаких чрезвычайных мер. Прибавь к этим доводам, что мы не можем объявить преступником человека, которого никто ни в чем не обвинил и который, как ты сам говоришь, любим воинами. Наконец, природа государственных преступлений такова, что даже изобличенные в них всегда представляют себя

жертвами. Напомню тебе, что говорил тот же Адриан: „Как несчастно положение государей: в заговоры против них никто не верит, пока они не станут жертвой заговорщиков“. Итак, позволим Кассию поступать так, как он поступает, потому что во всем остальном в его лице мы имеем превосходного военачальника — властного, смелого и весьма полезного для наших дел. Что касается моих детей — пусть они погибнут, если Авидий больше них достоин любви, если для блага государства жизнь Кассия полезнее жизни Марка Аврелия».

Это умелая — слишком умелая — подделка. Ясно, что письма написаны после того, как десять лет спустя из хода событий стало ясно, сколь глубокую трещину дала нравственность Восточной армии после Месопотамской кампании. Но возможно, что какие-то признаки уже в 166 году давали повод говорить о проблеме, изложенной здесь по-риторски, что Луций и Марк Аврелий горячо спорили, стоит ли учреждать и вручать Авидию Кассию исключительные полномочия командующего. Возможно, Марк Аврелий был готов делегировать заслуженному проконсулу, как Август Агриппе, обширные права, с тем чтобы крепко держать в руках Восток, пока он будет занят на другом фронте. Но было недальновидно ставить под контроль одного военачальника, к тому же главы могущественного местного клана, сразу несколько провинций: Сирию, Иудею, Аравию, — с шестью легионами, а еще недальновидней давать ему вдобавок право поглядывать и на Египет. Однако так и случилось: настолько выросли престиж и амбиции Кассия, по мере того как европейские легионы возвращались на исходные позиции и восточный театр военных действий опять становился второстепенным. Оправдание такой беспечности Марка Аврелия конечно же в том, что европейские провинции стратегически уже были сильно скованы германцами. Из одного только удовольствия ответить парадоксом на каламбур Луция Вера он не стал бы так рисковать с «Авидием, который завидовал». Зато как знак чрезвычайной дальновидности можно отметить, что Марций Вер был назначен управлять Каппадокией. Ключи от Сирии, Армении и Месопотамии были в надежных руках.

Передислокация

1-й легион «Минерва» вернулся в Бонн. 2-й Вспомогательный, которым командовал легат Клавдий Помпеян, — в Будапешт в Нижней Паннонии. Здесь впервые появляется это имя, сыгравшее значительную роль в истории царствования. Выше по Дунаю Иалий Басс убедился, что ему предстоит защищать Верхнюю

Паннонию: теперь все должны были вести оборону на центрально-европейской границе, уже пять лет как ненадежной. Клавдий Фронтон отвел 5-й Македонский легион в Дакию — оплот против дунайских сарматов, с трудом удерживавшийся со времен Траяна. Передислокация проводилась в рамках нового стратегического плана. Неужели Марк Аврелий стал настоящим полководцем? Нет, его роль была и более скромной, но не менее важной. «Прежде чем что-либо предпринять, — сообщает нам Капитолин, — он советовался с помощниками по военным и даже по гражданским делам. У него было любимое правило: „Справедливее следовать советам сведущих друзей, чем заставлять их следовать моим“». Постоянные упоминания об исключительной способности императора слушать других создают впечатление об Императорском совете как о весьма демократичном органе. Сразу вспоминается Антонин: «Радость, если кто укажет лучшее» (VI, 30).

Это перераспределение сил, в какой-то мере входившее в план всеобщей мобилизации и реорганизации управления провинциями, осталось скрытым от глаз римлян. Да их жизнь и не особенно тревожила колониальная война, людские и финансовые тяготы которой несли не они. Они лишь узнавали о победах из присылавшихся донесений и еще не понимали, что с лихвой отплатили за эти победы чумой. Наступил один из лучших моментов в истории Империи — оптимум, который ни одной социальной группе не было выгодно оспаривать из внутриполитических соображений. Марк Аврелий лучше других знал, как непрочно это состояние, но не делал никаких несвоевременных движений, чтобы предупредить внешние опасности, о которых также был осведомлен. Общество не понимало, что Рим опять без повода втягивался в войну — для этого нужна была по крайней мере новая Элигия, новое непереносимое для имперской гордости вторжение. Императорская ставка лихорадочно готовилась к нему; Фурий Викторин набирал два новых легиона для обороны провинций Северной Италии, где альпийские хребты с густыми лесами и глубокими долинами все же не давали надежной защиты от германских завоевателей.

На самом деле Риму всегда не хватало сил быстрого реагирования — как раз двух легионов. Но и теперь вновь созданные легионы тотчас заняли свое место в длинной, довольно прерывистой цепи лагерей и укреплений, тянувшейся от Шотландии до Черного моря, Сирии, Аравии, Египта, Северной Африки, Испании. Трудно поверить, что самая прославленная военная держава древности не имела резервных войск. Каждый

год с трудом находили пять-шесть тысяч человек (ровно один легион), чтобы заменить вышедших в отставку. Воинов приходилось искать в самых отдаленных провинциях. В Италии не стало людей, италийцы до такой степени лишились гражданского сознания? Историки-моралисты так и считают. Но лучше представим себе нечеловеческие условия службы и легендарную жестокость центурионов. Как ни бедно жил римский гражданин, ему не выгодно облачаться в военную форму, которую, между прочим, еще надо было купить.

Глава 6
НАТИСК ВАРВАРОВ (169–173 гг. н. э.)

А я делаю, что надлежит, прочее меня не трогает.

Марк Аврелий.
«Размышления», VI, 30

Прорыв

В июне 167 года, перед рассветом, несколько тысяч германцев переправились через Дунай и неожиданно напали на укрепления, занятые вспомогательными войсками верхне-паннонского легиона — вероятно, 2-го Вспомогательного, стоявшего в Бригеции (ныне Сёни) примерно в ста километрах западнее Аквинка (нынешний Будапешт). Они не выбирали слабый пункт пограничной линии, как шесть лет назад катты в малоукрепленной Реции — впрочем, как мы видели, безуспешно. Правый берег Дуная в среднем течении, от устья Инна до слияния с Тисой и Савой, был укреплен хорошо. Паннонские провинции защищались прямым углом, который Дунай образует, поворачивая к югу. Они имели большое стратегическое значение для обороны иллирийских областей и сухопутных коммуникаций Италии с провинциями Востока. Их охраняли четыре легиона, в том числе и стоявший в Бригеции. Укрепления были хорошо устроены, но нападавшие, несомненно, знали о том, что людей на них не хватает. Часть людей легионы отправляли на Восток, другие погибли в боях, третьих унесла чума. Но несмотря ни на что врасплох они застигнуты не были. Все гарнизоны Центральной Европы уже несколько месяцев стояли в полной боеготовности.

Как проходила эта операция, неизвестно. Да и вообще мы вступаем в область полной неуверенности в фактах. Несмотря на долгие усердные исследования, регулярные раскопки, проводившиеся немецкими, австрийскими, чешскими и венгерскими археологами, несмотря на тщательный анализ всех сохранившихся текстов, наши сведения о войне, которую тринадцать лет до самой смерти вел Марк Аврелий, весьма скудны. Даже датировка отдельных походов до сих пор проблематична. Об этом трагическом периоде, за которым последовали столетия хаоса, не случайно не осталось памяти в

эпических произведениях, как о войнах Цезаря и Германика. Ожесточенная, с неизвестным исходом изнурительная оборона не так вдохновляет историков, как блистательные победы, а народное воображение не так воспламеняет война на истощение, как картина образцовой баталии стройных колонн. Да и какими словами описать ожидание, налеты, кровавые стычки, многие годы днем и ночью, зимой и летом повторявшиеся тысячи раз на протяжении сотен километров? И не только отсюда заговор молчания: римляне не знали и не очень хотели знать, что делала их регулярная армия в местах, которые они плохо себе представляли и боялись. Как показывают некоторые весьма вспомогательные примеры, они вспоминали о ней либо тогда, когда опасность подходила совсем близко, либо когда приходилось помогать этим далеким защитникам своими средствами.

Дней через десять римские жители узнали, что где-то в диких местах орды варваров напали на отважные легионы, но были уничтожены. Командир вспомогательных войск, молодой всадник Макриний Авит Виндекс, был награжден тремя золотыми дротиками и стенным венком[42]. Правда, радость уменьшала тяжкая атмосфера, все еще висевшая над Римом: чума никак не хотела отступать от Города, а очередная засуха стала причиной нехватки продовольствия. Чтобы противостоять новым бедам, Марку Аврелию понадобились все его философии, а точнее, все принципы стоической морали. Он не сомневался: набег лангобардов был зна́ком, что общий мир с германцами, державшийся полтора столетия, прервался. Император еще не знал всех причин такого внезапного потрясения и не мог оценить все его последствия. Никто лучше него не мог знать, какую цену он заплатил еще при жизни Антонина за эту окончившуюся отсрочку. Нетерпение племен, скопившихся по ту сторону Рейна и особенно Дуная, до сих пор сдерживали золотом и мелкими уступками. Племена, а вернее их вожди, хотя они и назывались «друзьями римского народа», заявляли, что им не хватает пахотных земель. Возможно, так оно и было, но разве можно было пускать в Империю этих первобытных бродяг, воинов-пастухов, слабых земледельцев, грозный образ которых стал популярен после Цезаря и Тацита?

Восемнадцать веков спустя легко судить, что требования варваров были по-человечески оправданны, что отказ им дорого обошелся и только отдалил катастрофу. В Империи действительно скопилось много необработанных земель, так что Адриану даже пришлось принимать меры, чтобы вернуть их в оборот. Села пустели: жители переезжали в города. Земледелие

Италии приходило в упадок, а ведь германские вожди в поисках земли обетованной думали увлечь свои народы не в каменистую Далматию, а в богатую долину По. Но плохо обработанными италийскими землями владели бедные колоны и богатые помещики, которых нельзя было лишать собственности. Там еще оставалось место для какого-то числа рабов — германцев или других, — но селить там целые племена, беспокойные и воинственные, не годилось. Лучше было по-прежнему субсидировать германцев через их политических и бесчисленных мелких военных вождей, а при случае помогать им уничтожать друг друга, к чему они, казалось, привыкли. Но этот способ, с успехом применявшийся со времен Тиберия, перестал работать; видимо, это надоело самим вождям. То, что именно Марку Аврелию выпало закрыть эру дипломатии и технического сотрудничества и перейти к применению силы, было несправедливостью судьбы. И хотя в своей мудрой книге он пытался от нее укрыться, все же она его не щадила: для него начались годы горьких раздумий.

Император отдал приказ всем канцеляриям и легатам собрать как можно больше сведений о вторжении при Бригеции и передвижениях по ту сторону рубежа. О германской действительности в Риме знали явно хуже, чем о Вавилонии, Верхнем Египте и Нумидии. Между тем в пограничных районах с германцами существовали постоянные контакты, а торговые связи простирались еще глубже. Благородные юноши — заложники — веселились или учились в Риме. Самое главное, никак нельзя было пренебрегать сведениями, которые приносили тысячи германских наемников, служившие во вспомогательных частях, а по окончании службы получавшие римское гражданство. Разве сам император появлялся не в окружении отборной римской гвардии? На самом же деле императорская ставка, очевидно, много узнавала от фрументариев и центурионов о тех, кто им противостоял. Но общей картины не было. Подчас даже названия племен оставались неизвестными, и никто точно не знал, где они располагаются. А следить за внутренними миграциями в плотной массе народностей северо-востока — недоступной и, как полагали, не имеющей стратегического значения области — не представлялось возможным.

Поэтому Ставка с изумлением узнала, что набег совершили шесть тысяч лангобардов (ломбардов) с берегов Убии. Было бы очень интересно знать, как они смогли пройти через земли квадов, отделявшие их от Дуная. И что вообще там делали лангобарды, по последним данным жившие по Эльбе между Магдебургом и Берлином? Эти новости окончательно убедили

Марка Аврелия, что в Германии происходят значительные события, которые отзовутся по всей Европе. Значит, это была уже не отчаянная бесперспективная авантюра каттов, а согласованный план, проверка на прочность обороны в Паннонии с ведома, а то и по наущению племен, живших к северу от реки. Несомненно, эта атака повторится уже в более уязвимом месте. Марк Аврелий поручил префекту претория Фульвию Викторину укрепить Норик (Верхнюю Австрию, Штирию и Каринтию) и послал на север два новых италийских легиона. Он уже не думал ни о причинах, ни о последствиях. Снова ему придется не следовать политическому призванию принцепса, а исполнять воинский долг императора. Но Марк Аврелий так и не понял глубинной сути проблемы, решение которой нечаянно привело его к бессмертию.

Неподвластная Германия

Это была проблема неподвластной, неустойчивой Германии, вечно беспокойной и уже беспокоящей, то надолго засыпающей, то вновь просыпающейся. Почему она время от времени привлекает к себе беспокойное внимание соседей, а потом надолго про них забывает, замыкаясь в себе? Можно, правда, спросить, зачем Юлий Цезарь, а потом Август будили ее. Они бы на это возразили: а что было делать кимврам и тевтонам в полях Италии? Эта распря не кончалась. Германцы требовали права передвижения на произвольно обширном пространстве, а римляне решили, что наступил момент закрепить свои владения: Рейн и Дунай были прекрасными естественными границами, выход к которым дался дорогой ценой. В качестве мер предосторожности они хотели бы окружить их ненаселенными зонами или государствами-клиентами. Но у германцев не было государств и властей, с которыми можно было заключать надежные договоры. На самом деле римляне не знали об этом обществе почти ничего, и нам до сих пор трудно понять, как оно было устроено и функционировало. Поразительно, что современным историкам все еще приходится черпать значительную долю информации в «Германии» Тацита, зная, что во всем этом остроактуальном сочинении автор упражнялся в двусмысленных намеках, превознося добродетели варваров только затем, чтобы пристыдить римлян за легкомыслие.

Это была этнография на службе морали и политики. Ей не приходится доверять, но завораживает магия стиля: «Германия отделена от галлов, ретов и паннонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков — обоюдной боязнью»…[43] «Населяющие Германию племена… составляют особый, сохранивший

первоначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ». Римлян эта непохожесть ни на кого сбивала с толку: углубляясь в страну, которая «ужасает и отвращает своими лесами и топями», они теряли всякие ориентиры. Как иметь дело с людьми, у которых нет городов, которые вообще «не терпят, чтобы их жилища вплотную примыкали друг к другу»? Честно говоря, подобные вопросы смущают нас до сих пор. Устойчивость примитивных условий жизни германцев при контакте с богатым, уже больным от чрезмерной урбанизации миром предполагает редкую волю оставаться собой. Ни состояние земельных ресурсов и недр, ни климат не объясняют такую отсталость; умственные способности людей тут также явно ни при чем. Германцы никак не могли быть глупее кельтов, место которых заняли в своих областях Европы. Но кельты, переселившиеся к западу, стали предприимчивыми галлами, после недолгого сопротивления принявшими прогресс, несколько грубовато донесенный до них римлянами. Почему же другая ветвь индоевропейцев, дошедшая до верхнего течения Рейна, Эмса, Везера, Эльбы, Одера и Вислы, ничего не желала знать о римских законах, судах и технике, уже три столетия процветавших на несколько десятков — самое большее, несколько сотен — километров дальше?

Объяснить это мы по-прежнему не можем, и наше недоумение станет еще сильнее, если мы обратим внимание на устойчивость элементарных форм политического и общественного устройства у германцев в течение еще нескольких столетий — до вестготов при Аларихе. Можно даже задуматься вместе с Тацитом, что же это за ценности, противостоящие так называемой цивилизации и так назойливо ее влекущие? Мы не будем здесь в очередной раз начинать неистощимый философский диспут о преимуществах природного состояния. Для осмысленных параллелей у нас слишком мало документов. Между прочим, сама эта бедность — чрезвычайно интригующий факт: картина общества, не имевшего письменности (только со II века появляются обрывки завезенных туда рукописей), монеты (обнаруженные римские монеты служили только для украшения, а весь обмен оставался натуральным), развитого искусства (найденные клады состоят из награбленных или полученных в «подарок» римских и греческих ювелирных изделий) с виду не вяжется с постоянным массовым возбуждением, характерным для этого народа. Вернее было бы сказать «народов»: само понятие политического или кровного единства в этой картине также отсутствует.

Историческая туманность

Германцы действительно сами себя так не называли и даже не знали общего названия, которое им давали античные географы. Это был агломерат самостоятельных племен, совершенно независимых и часто враждебных друг другу. Очень поздно к ним пришла мысль объединиться для обороны или, как они считали, против желания римлян подчинить их своим законам. Несчастье Марка Аврелия было в том, что именно в его царствование они осознали свои общие интересы, а его энергичная контратака это ускорила. В тот момент те, кто потом назвал себя аламанами («всеми людьми»), были маленьким незначительным племенем. Но по некоторым признакам мы можем догадаться, что после Цезаря и Тацита многое изменилось, хотя на вид структура общества оставалась стабильной. Со времен Августа и Тиберия расхождение между фактическим состоянием общества и древней общинной мистикой занесло в поведение германцев споры шизофрении. Еще неясные геополитические явления вскоре толкнули их в безудержную гонку.

До недавнего времени историки не понимали, что описания Цезаря и Тацита следует понимать двойственно. Совершенно верно, что германцы не знали частной собственности, что у них существовало нечто вроде непосредственной демократии. Небольшие общины свободных людей собирались на собрания, на краткие периоды времени распределявшие пахотную землю и скот. Цезарь толковал это как стремление избежать соблазнов оседлости и собственности, но современные этнологи могут отыскать этому и другие объяснения. Собрания избирали вождей (в некоторых случаях — королей), а на время войны — военачальников; все они теоретически были временными и сменяемыми. «О делах, менее важных, — пишет Тацит, — совещаются их старейшины, о более значительных — все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу». В этом можно признать референдум по инициативе правительства, с той разницей, что правительство здесь было слабым, а собрание не имело лидеров. Но история странным образом показывает, что процесс укрепления власти пошел другими путями. Общепризнанную власть создавал не общий интерес, а индивидуальная инициатива и престиж предприимчивого деятеля.

В самом деле, в этой исторической туманности можно различить возникновение параллельной системы власти на основе личной отваги и успеха, которая, не противопоставляя себя явно старым ячейкам племенного общества, формируется внутри нее, а впоследствии занимает в ней преобладающее,

подавляющее место. Для этого нужно только, чтобы один из воинов встал и предложил отправиться в поход за его собственный счет вместе с товарищами, которые разделят риск и выгоду от предприятия. Это система, которую Цезарь описал так: «Один вождь, один поход, один отряд». Возможно, ее следует рассматривать как спусковой клапан для индивидуальной энергии, хотя риск был велик для всего племени. Никто, правда, не боялся государственного переворота, потому что понятия не имел о государстве, но удачные набеги неизбежно обогащали предводителей командос и привязывали к ним клиентуру, жившую захваченной добычей — зерном, скотом и рабами. Частная собственность вгрызалась в общество, как червь в яблоко. Возникала новая легитимность, рождавшая верноподданнические чувства. Тацит писал, что большинство собирается вокруг уже отличившихся в боях, после чего «вожди сражаются ради победы, дружинники — за своего вождя».

Так родилось западное феодальное общество, а с ним и грабительский — он же рыцарский — дух. Если так, мы поневоле должны читать Тацита иначе. Мы увидим не доблестных воинов, а бандитов: «Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию». Они заядлые игроки: «Потеряв все свое достояние и бросая в последний раз кости, назначают ставкою свою свободу и свое тело». Их сила может сравниться только с их же изнеженностью: «Жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя».

Марк Аврелий, несомненно, читал и «Германию», но в основном практические советы брал из «Анналов». Там он мог найти картину третьей, гораздо более знакомой ему формы власти, служившей прообразом той, с которой ему предстояло столкнуться. Король богемских маркоманов был единственным германским вождем, который мог тягаться с римлянами. У Тацита его зовут Маробод, и он бросил вызов Августу. Впрочем, он, как и его преемник времен Марка Аврелия по имени Балломар, был «другом римского народа». Но логика власти, а также провокации римлян и собственных мелких вассалов — искателей приключений увлекли его. Открытие в Империи второго фронта отсрочило падение Маробода, принудив Тиберия заключить с ним компромиссный мир. Он кончил свои дни политическим изгнанником в Равенне.

Балломар унаследовал редчайшее положение абсолютного монарха одного из германских народов. Тут не обошлось без

поддержки римлян. Если варварский вождь — их сосед — вследствие собственной удачи или давления на него становился потенциальным агрессором, ему предлагался дипломатический статус союзника, имевший выражение в технической помощи и личной финансовой поддержке, позволявшей ему содержать верную дружину. Но с клиентами такого рода Рим должен был вести себя осторожно. Пока шла парфянская война, Балломар честно соблюдал все тайные соглашения. Может быть, ему теперь уменьшили субсидии, может быть, он стал слабее, может быть, решил, что ослабли римляне — этого мы не знаем. Так или иначе, он не смог или не захотел задержать отряд, пришедший издалека. Но сам набег этого отряда имел свою причину или ряд причин, о которых историки строят гипотезы по косвенным данным, донесенным современниками. Капитолин, писавший двести лет спустя, сообщает, что Марку Аврелию пришлось «прогнать грабителей — виктуалов и маркоманов, к которым присоединились и другие народы, бежавшие под натиском более отдаленных варварских племен, угрожавших нам войною, если мы откажемся принять их в своих провинциях». Только внимательно вчитавшись в эту фразу, мы разглядим в ней проявление одного из громаднейших происшествий в истории человечества.

Великое переселение

Это было настоящее историческое землетрясение, эпицентр которого находился где-то на юге Скандинавии и побережья Балтийского моря. В результате демографического взрыва народы, подобно потокам лавы, разлились по равнинам Северной Европы, уничтожая или поглощая местное кельтское население. Порядок событий и их последствия до сих пор мало изучены. С самого начала эти народы были обречены на роль странников в истории, и лишь с начала нашей эры можно различить главные из них (а их были десятки), разглядеть их следы. Август вдруг с удивлением узнал, что маркоманы, которые, как он считал, живут на Эльбе, под предводительством короля Маробода всей массой переселились в «богемский прямоугольник». С таким же удивлением узнал и Марк Аврелий, что лангобарды живут не на севере, а в центре Европы. Но он не мог знать — а мы, кажется, знаем, — что очередной «подземный толчок» произошел еще в начале 60-х годов в устье Вислы, где высадилось неизвестное германское племя, прибывшее из Швеции: гепиды. Их натиск вынудил переселиться живших там готов. Готы, вассалами которых были вандалы и бургунды, решили на свой риск поискать

счастья в других местах. Достаточно дальновидно они не устремились в магму соседних племен Европы, а направились на Украину, где, как они знали, было много необжитых мест. Благоразумно избегая встречи с вассальными Риму народами маркоманов и квадов, а также границ провинции Дакия, они прошли берегом Черного моря и там в скифских степях стали ждать, когда придет час новых приключений.

Но в каком бы порядке ни проходило такое масштабное переселение, оно вызвало цепь не поддававшихся расчету последствий. Вандалов вдруг прогнали из Силезии; они пошли на юго-запад и столкнули с места баварских гермундуров, а восточнее — карпатские племена, которых отбросили на квадов. Бургунды под давлением гепидов изгнали семнонов из Померании, а те нажали в Саксонии на свебов, которые устремились в Богемию на маркоманов. «Вскую шаташася языцы?» — этот библейский вопрос обретает здесь странный отзвук, а отчасти и ответ. Точно такое же стечение обстоятельств позднее увлечет бургундов на Рону, вандалов на Рим и Карфаген, готов в Италию, Аквитанию и Испанию. Пока же оно привело к самым пределам Империи невиданную прежде коалицию народов. «Вскоре, — пишет Евтропий, — с маркоманами соединились квады, вандалы, сарматы, свебы и все прочие варвары». Балломар стоял во главе этой коалиции: у него был только один вариант — обратить нашествие, рвавшееся к югу, себе на пользу. В начале осени 167 года воины двух свебских племен, виктуалов и хариев, с помощью спасшихся из Бригеция лангобардов, а также квадов и маркоманов, напали на Норик. Всего, по словам Диона Кассия, в союзе действовали десять королей — это была первая confederate barbarica; римляне всеми правдами и неправдами уже два столетия оттягивали ее появление. Укрепление Лауриак на Дунае защищал сильный гарнизон: четыре кавалерийских алы и четырнадцать пехотных когорт. Но и он не выдержал: варвары вошли в альпийские провинции, разграбили их и увели жителей в рабство.

С этого момента наши источники становятся неясными — впрочем, сама ситуация была запутанной, и современники ничего в ней не понимали. Так что в хронологии «германской войны», тянувшейся до 180 года (с перерывом в 175–177 гг.), многое остается неуточненным. Письменных документов, надписей на монетах и эпитафий так мало, что приходится изучать сцены сражений на спирали колонны, возведенной в честь Марка Аврелия на Марсовом поле. Но датировка и порядок этих сцен спорны. В любом случае, мы не видим на них первых варварских атак 167 года. Очевидно, римляне не ожидали их так скоро.

Были ли при этом, как сообщают историки, упорные бои, или же агрессоры, занявшись грабежом тех мест, на которые проникли (долин Норика и Реции, степей Паннонии) вовсе не собирались идти дальше на юг? Вероятно, до конца года на этом фронте не было новых боевых действий. Но на востоке, в нижнем течении Дуная, на Дакию напали язиги — сарматы, уже около столетия жившие, в основном под контролем Рима, в венгерских степях между Дунаем и Тисой. Так что эти «союзники» тоже разорвали старый договор — может быть, по соглашению с германцами, — и таким образом опасность Империи грозила от Альп до Карпат. Люди везли за собой на повозках семьи и пожитки, вели стада и табуны и совершенно не собирались возвращаться домой — само понятие дома для них не имело смысла. Но по пути они выселяли и уводили на север местных жителей: крестьян, торговцев, римских граждан. Об этом свидетельствует множество кладов, зарытых в тех местах.

В Риме эти новости упали на почву, уже отравленную чумой. «Война с маркоманами вызвала такой ужас, что Марку Аврелию прежде всего пришлось созвать жрецов со всех сторон и исполнить все обряды, в том числе принятые у иноземцев, чтобы всеми возможными способами очистить Город… И так он семь дней по нашему обычаю приносил жертвы лектистерния». Это был вековой римский обычай, крайний случай обращения римлян к богам: их статуи выносили в преддверие храма и клали на парадные ложа — собственно, пиршественные, потому что перед ними ставились блюда с такой едой, которую, как считалось, особенно любили боги. Но приглашение на помощь жрецам Юпитера иноземных служителей Изиды и Кибелы — свидетельство глубокого нравственного смятения как властей, так и народа. Капитолин, надо оговориться, связывает эти магические действия — как официальные, так и мошенничества мелких шарлатанов — с усилением эпидемии. «Она, — пишет историк, — уносила в Риме столько жертв, что для вывоза трупов пришлось реквизировать множество повозок». Гениальный врач Гален Пергамский, авторитет которого сохранялся еще полтора тысячелетия, в одной из девятисот своих книг описал эту эпидемию, но вопреки настояниям Марка Аврелия не спешил возвращаться в Рим: он оставался в родном городе, чтобы о нем забыли.

Подъем по тревоге

«Тогда Марк Аврелий, несмотря на голод в Городе, убедил народ в необходимости войны и сделал представление сенату,

что оба государя обязаны отправиться на войну». Капитолин говорит о психологической подготовке, которую можно отнести к началу 168 года. Уже тридцать лет римляне привыкли, что император у них всегда рядом. Императоров может быть и двое, но с ними должен оставаться лучший. Если же оба отъезжают — значит, Италия в серьезнейшей опасности. Но тогда императоры оставляют вместо себя панику. Теперь становятся понятнее театральность магических церемоний, шествия разряженных жрецов и обильные гекатомбы, но все же не будем спешить с выводом, что Марк Аврелий и окружавшие его люди предпринимали эти церемонии только для успокоения страха в народе. Они и сами искали успокоения: ведь вера в сверхъестественное спокойно уживалась в них с реализмом. Это было если не суеверие, то чувство прочной связи с богами — хранителями Города, и оно жило в них. Храм Венеры и Ромы, построенный Адрианом, был самым величественным из зданий вдоль Священной дороги, а при любом важном событии все вооруженные отряды в городе поднимались от Форума на холм поклониться Юпитеру Капитолийскому в его храме.

Но обращение к силам невидимым ничуть не сказывалось на мощи реальной деятельности ответственных лиц. Скорость осуществления и эффективность мер, принятых по решению Императорского совета, глубоко впечатляют. В окрестностях Аквилеи — главной крепости, защищавшей Италию, — еще продолжались оборонительные работы, а уже началось контрнаступление с подручными средствами. Дело здесь было не только в стратегии, но и в наличных силах. Передвигать легионы, оголяя прежние направления, было невозможно: они и так находились в боевой готовности. Значит, чтобы выйти на север полуострова, укрепить Аквилею и обеспечить связь с паннонскими легионами, которые стали наконечником копья Империи, нужны были новые войска. Ядром этой силы могли стать римские преторианцы. Но где взять еще людей? «Тогда император, — пишет Капитолин, — как во времена пунических войн, дал оружие рабам, которых наименовали волонтерами, а также гладиаторам, получившим имя обсеквентов. Он завербовал даже далматинских и дунайских разбойников, покупал у германцев воинов, чтобы сражаться с германцами». Очевидно, все эти меры были приняты не за несколько месяцев, а по мере неотложной необходимости. Из отребья никто не будет составлять целый легион. Но власть искала драматического эффекта и добилась его. Напоминание о массовой мобилизации после каннского разгрома всегда вдохновляло римлян.

Ряд совпадающих признаков указывает, насколько

масштабные решения были приняты зимой 167–168 года. Ставка усиленно работала над планом возвращения утраченных земель. Вновь оказалось, что далекая Дакия — важнейший опорный пункт: ведь если германцы-вандалы и сарматы-язиги по-прежнему будут вести бои на юго-восточном фронте, оборону в центре будет легко обойти. Поэтому верховное главнокомандование тщательно изучило обстановку. Возглавить войска от Дакии до Мёзии, то есть от Карпат до юга Далмации, поручили Клавдию Фронтону, легату 5-го Македонского легиона. Таким образом брался под защиту средиземноморский путь в секторе, говоря грубо, от Черного до Адриатического моря. С севера этот сектор прикрывала Паннония, и Марк Аврелий счел ее стратегически настолько важной, что поставил туда человека, которому доверял больше всех — Клавдия Помпеяна. Это был «новый человек», сын сирийского всадника из Антиохии, выдвинувшийся благодаря блестящим достоинствам. Быстрая карьера привела его к роли начальника главного штаба, личного советника императора. Своего друга Гельвия Пертинакса, бывшего центуриона, добившегося самых высших воинских степеней, Помпеян поставил на важный пост начальника тыла в Северной Италии. Вскоре на первый план выдвинулся еще один человек весьма низкого происхождения, Бассей Руф. Чем ближе была беда, тем выше поднимались достойные.

Решение Марка Аврелия самому встать в первые ряды войска нам кажется естественным, поскольку мы его так себе и представляем — верхом на коне. Но шаг этот можно расценивать как исторический, и поэтому возникает вопрос — насколько он был удачен. Внезапный разрыв с сорокасемилетней привычкой к домоседству не мог не повлечь последствий для психики, сколь бы естественным с точки зрения долга и необходимости он ни казался. Когда «два императора в воинских доспехах отправились усмирять разбой виктуалов и маркоманов» (это случилось в марте 168 года), никто не догадывался, что центр тяжести власти на целое десятилетие переместится на верхний Дунай. Варварскую опасность не недооценивали, но никто не знал, до какой степени можно погрязнуть в такой оборонительной войне, к которой подталкивали Империю. Изгнать германцев из Империи — нормальная цель, но надолго отбить у них охоту и возможность вернуться — совсем другое дело. Как только войска войдут на территорию противника, чтобы разрушить его базы, они столкнутся с таким сопротивлением и естественными преградами, которых никто не видел со времен Цезаря. Каким же образом Марк Аврелий дал втянуть себя в то, что сейчас назвали бы «грязной войной»?

Ответ не прост. Тут не все объясняется неизбежным загниванием «колониальных» войн. Надо еще принять во внимание, что Марк Аврелий умственно и нравственно не был гибок. Решив что-нибудь один раз, император твердо следовал и был глух к новым доводам. Он не боялся прослыть упрямым, потому что, как мы видели, он и в Антонине любил эти черты: «Пребывание в том, что было обдумано и решено… Что держался одних и тех же мест и тех же дел…» (I, 16). Во всем этом можно увидеть признаки недостатка воображения или, наоборот, жизненной силы. Есть много доказательств, что Марк Аврелий часто поступал по инерции. Пострадали от этого германцы и христиане: на их вызов он отвечал твердостью с элементами жесткости — отсюда его бесконечные и безысходные сражения.

«Необходимость войны» — это одно, «обязанность обоих государей отправиться на войну» — другое. Первое объясняется вплотную подступившей опасностью, второе — политическими соображениями: Марк Аврелий успел оценить пределы возможностей Вера и то, насколько опасно оставлять его одного. Даже если не слишком доверять биографии Вера, приписанной тому же Капитолину, явно пристрастному в обратную сторону, можно думать, что между столь неравноценными полюсами власти проскакивали сильные разряды. «Вернувшись из Сирии, Вер многое делал без одобрения брата. Марк Аврелий не хотел ни посылать его одного против германцев, ни оставлять в Риме из-за его разврата». Стоит забыть об устойчивом мотиве «разврата» и предположить, что два принцепса просто-напросто не сходились характерами, а между очень непохожими людьми, их окружавшими, отношения тоже были непростые. В общем, так и осталось непонятно, кто кого взял с собой. Но если бы Марк Аврелий остался в Риме, опытные полководцы, несомненно, овладели бы ситуацией и, возможно, остановили бы долгую и бессмысленную эскалацию германской войны.

Конечно, предполагать такое — значит не считаться с честью государя. В числе «Размышлений» есть выписка из «Апологии Сократа»: «В том, мужи афиняне, и правде, что где кто сам же себя сочтет за лучшее поставить или где его поставит начальник, там, думается мне, ему и встречать опасность, не принимая в расчет смерть или другое что, а только постыдное» (VII, 45). Решение Марка Аврелия было и мудрым, и смелым, если действительно «отъезд императоров имел счастливые последствия, ибо, едва они явились в Аквилею, большинство королей ретировались вместе со своими народами, а зачинщиков

этих смут предали смерти». Но на деле все было не так просто. Вполне возможно, что вождей коалиции действительно застал врасплох размах римского контрнаступления: ведь они рассчитывали на то, что в Италии нет войска, а снять оборону с Дуная римляне не могут. Марк Аврелий быстро собрал ополчение и сам возглавил его — это обескуражило противника, внесло в его ряды замешательство. Но нет сомнения, что сражались они не на жизнь, а на смерть. В старых переводах Диона Кассия есть любопытная литота: «Они сильно беспокоили римлян». Должно быть, действительно беспокоили, если «после данной маркоманами битвы, в которой погиб префект претория Фурий Викторин, император поставил ему три статуи».

Ни одна римская победа не оставила столь неразборчивых следов — видимо потому, что она не была полной. «Часть войска погибла», — пишет Капитолин, но не разделяет умерших от чумы и погибших в бою. Все германцы участвовали в боях. «Среди убитых варваров находили женщин в полном вооружении», — замечает Дион Кассий: воображение римлян всегда поражало напоминание об амазонках. Захватчиков, окончательно деморализовала гибель короля квадов. Они, как видел уже Тацит, были способны «только к кратковременному усилию», и уж точно их организация была рассчитана на быстрые набеги. Перспектива долгой кампании в противостоянии с методически организованной, хотя и только что уязвленной, силой им не нравилась; вполне возможно, что они возмутились против тех, кто обещал им быстро покончить дело. Поэтому они попросили римлян избрать им нового царя. Такой переворот показался Марку Аврелию подозрительным, и хотя Луций побуждал его остаться в Аквилее на берегу Адриатики, если уж не вернуться в Рим, старший брат решил дойти до Альп и заново организовать там прикрытие. Он опасался, что отступление германцев — обман. В очередной раз пригодились уроки Тацита: «Податься назад, чтобы потом вновь броситься на врага, — считается у них воинскою сметливостью, а не следствием страха». Обеим сторонам надо было перестроиться. Марк Аврелий, оценив степень опасности, согласился на подобие мира и утвердил воцарение у квадов проримского короля Фурция.

Exit Lucius [44]

Зиму 168/69 года императоры провели в Венеции (Аквилее), как будто готовили весеннюю кампанию, но в январе Марк Аврелий отправил письмо в сенат, оповещая об их возвращении. Говорят, что он уступил настояниям Луция, но причина была,

несомненно, серьезнее: ставка сочла тотальную войну неизбежной, и требовалась мобилизация всех ресурсов. Стало понятно, что германская коалиция, оформившаяся впервые в истории, тотчас не распадется. Даже само количество объединившихся племен отрезало им путь назад. Кроме того, были серьезные подозрения, что маркоманы уже заключили тайное соглашение со своими соседями — сарматами-язигами. Марк Аврелий в сопровождении Луция отправился объяснить положение сенату. Но недалеко от Аквилеи, в Альтине, Вера разбил апоплексический удар. «Его вывели из повозки, пустили кровь и отвезли в Альтин, где он и умер на третий день, не обретя дара речи». Ему было тридцать девять лет. В Рим прибыл траурный кортеж. «Марк Аврелий поместил его в число богов и похоронил в мавзолее Адриана. Он дал ему фламина и жрецов. Теток и сестру он осыпал дарами». Но ему так и не удалось успокоить недовольство ни клана Цейониев наверху социальной лестницы, ни азиатов-отпущенников внизу: лишившись императорской власти, они распустили клеветнические слухи. «Ни один государь не защищен от клеветы, и его во всеуслышанье обвиняли, что он лишил жизни Вера — либо ядом, либо при помощи врача Посидиппа, который, как говорили, дурно лечил принцепса».

Приведя это обвинение, Капитолин оправдывает в нем Марка Аврелия, но выдвигает не менее фантастическое предположение: он приписывает преступление Фаустине, якобы сделавшей это, чтобы Вер не проговорился об их связи или чтобы помешать Веру составить заговор против Марка Аврелия вместе со своей сестрой Фабией. Как-то забылось, что и отец Луция, Цезарь Цейоний Коммод, умер молодым от кровохарканья. Оба, как было известно, злоупотребляли застольями. Порой Вер на них даже засыпал. Но дело не в диагнозе: ненадежный, путающийся под ногами человек вернулся в небытие, из которого был извлечен приемным, а может быть и родным, дедом Адрианом. Благодаря великолепным статуям и одной плохой хронике небытие обернулось бессмертием. Луций, как говорят, был добрым и мягким человеком. Вполне возможно: если бы он был не таков, удача, титулы и сластолюбие, да еще при таком окружении, втянули бы его во всяческие злоупотребления абсолютной власти. В следующее правление это окружение — искатели приключений, подобранные в Антиохии, — показало себя во всей красе. Если бы в Рим вернулся один Вер с телом Марка Аврелия, можно себе представить, что мировая история пошла бы совсем иначе.

Теперь наконец установилась нормальная ситуация: в Империи остался только один хозяин. В сорок девять лет Марк

Аврелий получил возможность принимать решения, не будучи принужден советоваться с другим государем. Но теперь он тем более нуждался в приватных советах. Он усилил свой кабинет. Особенно выделял двух доверенных лиц, которых быстро возвысил. Прежде всего вместо погибшего в сражении Фурия Викторина он назначил префектом претория Бассея Руфа. Этот человек сделал исключительную карьеру. Говорят, в юности, когда он был работником у крестьянина, сосед увидел его сидящим на дереве и в шутку крикнул: «Эй ты, великий префект, слезай!» Это не то чтобы пророчество, но явно говорит о его властной и внушающей уважение натуре. Бассей Руф прошел все ступени военной службы и, став центурионом, был принят в сословие всадников. Затем он стал префектом вигилий, префектом Египта. Его административные таланты оказались так велики, что на этих постах, связанных с большой властью, он не задерживался. Теперь его перевели из Египта и поручили самую главную префектуру. Фактически он стал главой правительства. Без всяких колебаний Марк Аврелий приблизил к себе и другого человека — сирийского всадника Клавдия Помпеяна.

Мало найдется карьер столь образцовых, как у Помпеяна. Он постепенно, но неуклонно шел к самым высоким постам, причем, по всей видимости, не прибегая к интригам, не пользуясь случаем. По многолетней верности и скромности как Помпеяна, так и Руфа можно судить о человеческих достоинствах не только главных помощников императора, но и его самого. Помпеян официально играл роль вице-императора, как Агриппа при Августе или другие серые кардиналы, от которых в истории остались заметные следы. Мы уже встречали его в должности легата Нижней Паннонии, и впоследствии он тоже командовал легионами, но прежде всего он играл роль начальника главного штаба и доверенного советника. Вслед за ним возвысились другие малоизвестные люди: для Империи это был вопрос жизни и смерти, а для императора — личная, можно сказать, структурообразующая необходимость. Он дал понять сенату — разумеется, не прямыми словами, — что «теперь, потеряв коллегу, от которого не имел никакой помощи, он начнет управлять Республикой». Сенаторы отсюда сделали вывод, что он рад смерти Вера. Пожалуй, это будет преувеличением. Но облегчение он почувствовал — появилась возможность действовать энергичнее, в чем мы скоро убедимся.

Реконструкция вооруженных сил, глубоко дезорганизованных восточной войной, чумой и первыми пограничными сражениями, продолжилась. К концу года завершились набор и обучение новых наемных солдат, формирование двух дополнительных легионов,

получивших название Италийских. Оставалось найти источники финансирования. Марк Аврелий, «не решаясь поразить провинции чрезвычайным налогом», принял редкое и эффектное решение: выставил на публичные торги, устроенные на Траяновом форуме, имущество из дворца: картины знаменитых мастеров, посуду, украшения, шелковую парчу — все сокровища, унаследованные от Адриана. «Торги длились два месяца и принесли достаточно денег, чтобы довести до конца, согласно его решению, войну с маркоманами. Позднее он позволил покупателям вернуть драгоценности обратно за ту же цену, за какую они их купили, и нимало не сердился ни на тех, кто вернул их, ни на тех, кто оставил себе». Ведь и вправду, как то, так и другое можно было счесть неприличным, и мы еще не знаем, насколько пострадало самолюбие Фаустины и Луциллы. Зато мы знаем, как они сопротивлялись плану Марка Аврелия выдать дочь замуж еще до окончания вдовьего траура, который согласно обычаю должен был продолжаться до конца года. Он торопился по многим причинам: несомненно, уже тогда был виден трагически проявившийся много лет спустя бурный и буйный характер молодой вдовы, имевшей от Вера дочь. Ей было всего двадцать лет, и она могла мечтать о самой роскошной партии столетия. Может быть, наоборот: она хотела бы, именуясь Августой, пожить на свободе. Но как такой брак или же вольная жизнь сочетались бы со стилем жизни императора? И какую опасность для престолонаследия мог таить честолюбивый молодой зять? Марк Аврелий — пожалуй, единственный раз в жизни — проявил твердость перед женщинами своей фамилии. Он заявил: Луцилла станет женой Клавдия Помпеяна.

Неравный брак

С его точки зрения, это был блестящий брак, рассчитанный психологически и благоразумный политически. Встреча с Помпеяном была великой удачей его царствования. Как бы превосходны ни были другие друзья, именно Помпеян приходился под стать Империи на любом месте, на которое его ставили. В случае чего из него получился бы регент, о котором можно только мечтать. То, что он был тридцатью годами старше Луциллы, отца ничуть не смущало — даже напротив. Ведь выбрал же Август в мужья своей честолюбивой и легкомысленной дочери Юлии Агриппу, который был намного старше, и это решение окупилось бы, не умри несколько человек преждевременно. Наконец, Марку Аврелию очень нравилось, что этот выдающийся ум, всегда желавший служить ему и больше ничего, всегда будет

поблизости.

У Фаустины и Луциллы было много причин для обоюдной вражды: равная гордыня и потребность кружить головы, конкуренция в вопросах дворцового этикета. Но уж, отстаивая свою независимость, они явно были сообщницами. Помпеян в их глазах имел четыре неискоренимых порока: недостаточно знатен, слишком стар, некрасив и предан Марку. И они были правы. Брак с сыном антиохийского торговца был мезальянсом. Теперь он стал сенатором, но это не меняло его происхождения, не говоря уж о том, что он был сириец. К тому же этот старый семит действительно был дурен собой. Человек с морщинистым лбом и крючковатым носом, несколько раз изображенный рядом с Марком Аврелием на колонне с Марсова поля, наверняка и есть Помпеян. В Риме не наблюдалось серьезных расовых проблем. Император многих сирийцев сделал сенаторами, а среди слуг на Палатине их было еще больше. Не пройдет и двадцати лет, как в течение трех поколений будет править афро-сирийская династия. Но в жилах Антонинов еще текла испано-латинская кровь. Фаустина и Луцилла были ее хранительницами, без этого власть становилась нелегитимной. «Этот брак был так же противен Фаустине, как и нареченной».

Но Марк Аврелий не сдался: свадьба состоялась. Мы ничего не услышим о раздорах этой неравной четы, пока двенадцать лет спустя не случится драматическая развязка. Теперь же императорскую фамилию посетило горькое испытание. В сентябре маленький Анний Вер простудил ухо, в результате чего образовался нарыв. Его пришлось оперировать, однако малыш умер. Он мог бы изменить ход истории, но отныне она принадлежала только оставшемуся в живых — Коммоду. Родители горевали, стараясь как можно меньше омрачить своим горем римлян: тогда проходили игры в честь Юпитера Капитолийского. Всего пять дней на Палатине носили траур. Император «самолично утешил врачей и вернулся к государственным делам». Под грузом этих дел стала прогрессировать болезнь желудка, перешедшая в хроническую форму. Все чаще Марк Аврелий прибегает к чудесному средству фериак, составленному Галеном. Гален как раз только что приехал в Рим, приняв приглашение императора, а вернее явившись по призыву.

Гален на просторе

«Побывав в первый раз в Риме и вернувшись на родину тридцати семи лет от роду, я снова занялся врачеванием. Но

вскоре из Аквилеи пришло письмо от императоров, призывавших меня к себе. По окончании зимы они решили идти войной на германцев. Впрочем, я надеялся избежать их вызова. Я слышал, что один из императоров — старший — человек покладистый, благодушный, миролюбивый и спокойный…» Сам Гален всегда был резок, вспыльчив и возбужден. Характером он вышел в мать, хотя не любил ее и плохо уживался с ней в родном пергамском доме. Зато от отца, архитектора Никона, он унаследовал ясный ум, страсть к культуре и большое состояние. В этом роду азиатских греков всегда занимались точными науками, и, может быть, диагностическим гением Гален обязан больше геометрии, чем философии, больше рациональному наблюдению, чем отвлеченному умозрению. Между тем знаменитая пергамская медицинская школа, где он учился, находилась под мистическим покровительством Асклепия[45]. В храме этого бога лечили, как правило, водами, хотя уже тогда было известно много современных медицинских специальностей. Во II веке существовали и офтальмологи, и гастроэнтерологи, и невропатологи, и хирурги. Различные хирургические инструменты, найденные в Помпеях, позволяют без всяких сомнений установить характер проводившихся ими операций.

Но стоит ли удивляться, что наряду с этой прогрессивной техникой по-прежнему существовали самые примитивные терапевтические методы — например, гадание во сне (больным велели остаться на ночь в храме и во сне получить предписание от Бога)? Есть ли у нас право скептически относиться к этим иррациональным способам лечения, многие из которых ныне вновь включены в перечень официально допустимых? Гален не любил применять их к пациентам, но в его собственной биографии нечто подобное было. Следуя сну, который увидел его отец, он стал заниматься медициной, а чтобы избавиться от службы на войне при Марке Аврелии, он, как мы увидим, ссылался на повеление Эскулапа. Мы не знаем, наивность это или хитрость. Лучше обратим внимание на то, что молодой Гален изучал строение человеческого тела в гладиаторском госпитале в Пергаме, куда сам напросился на практику. Потом он учился в Александрии — передовом научном центре того времени, плавал вокруг Средиземного моря, собирая тысячелетние рецепты. Приехав в Рим, тридцатитрехлетний Гален вскоре прославился несколькими особенно замечательными диагнозами и исцелениями. Это было в 162 году. Своими успехами и заносчивостью он восстановил против себя весь медицинский мир. Против него интриговали. Гален заподозрил, что его хотят убить, и в один прекрасный день, через четыре года после

приезда, куда-то исчез.

Его нашли в Пергаме, где он уже начал писать свой монументальный труд. Это сочинение выходит за рамки учения всех традиционных медицинских школ: не только эмпириков, не искавших глубинных причин болезней, а опиравшихся на опыт состоявшихся излечений (подход, не лишенный здравого смысла, но рискованный), но и рационалистов. Последние, не удовлетворяясь внешними симптомами, которые часто связаны с иллюзиями или случайностью, рассматривали также причины болезней — как очевидные, так и недоступные чувствам. Исследовательская мощь Галена, его дар обобщения и независимый ум на десять столетий поставили его вне и выше всей античной медицины. Он был мастером экспериментального метода и вместе с тем скрупулезнейшим анатомом и физиологом, а кроме того, и талантливым популяризатором. В Риме образованная публика рвалась на его лекции; даже у женщин вошло в моду ходить на его анатомические уроки, которые он проводил на животных, поскольку не имел права препарировать трупы.

«Когда я приехал в Аквилею, чума разбушевалась как никогда, а потому императоры с некоторыми воинами тотчас вернулись в Рим, а большей части, то есть нам, долго еще с трудом приходилось выживать: большинство из нас умерло не только из-за чумы, но и потому, что она случилась зимою». Следовательно, речь идет о начале 169 года. «По дороге в Рим Луций оставил мир живых. Марк Аврелий доставил его тело в Город и провел его апофеоз[46], а потом занялся походом против германцев. Он всяческими способами старался забрать меня с собой, но, узнав от меня, что Асклепий, Бог отцов моих, запрещает мне ехать, убедился и оставил меня. Я объявил себя служителем этого Бога с того дня, как он спас меня от начинавшегося воспаления, которое могло стать роковым. Итак, император благочестиво покорился Богу и попросил меня дождаться его возвращения, ибо полагал, что война вскоре благополучно закончится. Сам он отбыл, а в Риме оставил сына своего Коммода, тогда еще малолетнего. Он поручил воспитателям мальчика следить за его здоровьем, а если он заболеет, незамедлительно позвать меня».

Этот текст подтверждает принятую хронологию: по крайней мере до сих пор она точна. Кроме того, он говорит о покладистости Марка Аврелия. Можно было бы назвать ее даже слабостью, но причина может быть в другом. Лукавил Гален или нет, ссылаясь на повеление Асклепия, но государь не мог не почтить воли бога врачевателей: ведь и сам император радовался,

что ему «в сновидениях была… дарована поддержка» богов (I, 17). Кроме того, знаменитый житель вольного города Пергама на том же основании, что и прославленный ритор, обладал личной неприкосновенностью. Наконец, в другом месте Гален говорит: «Я убедил его оставить меня в Риме, потому что он надеялся вскоре возвратиться». Главное же, будущее показало, что с этого времени Марк Аврелий больше заботился о здоровье Коммода, чем о собственном. Галена часто упрекали за «дезертирство». Но он не был военным врачом, а император в Аквилее в таких не испытывал недостатка: при каждом легионе в медицинской службе состояло двадцать четыре хирурга. Для человечества было полезней даже то, что Гален мог усовершенствовать свою панацею — фериак, благодаря которому автор «Размышлений» мог сносно себя чувствовать. Ему это понадобилось очень скоро.

Марк Аврелий в строю

Мы знаем, что Марк Аврелий около месяца провел в поместье Пренеста, в холмах к востоку от Рима: может быть, желая уберечь себя и своих близких от чумы, может быть, чтобы заботиться о тяжелобольном малыше Аннии Вере. Но семейную обстановку он уже разлюбил или силился разлюбить. Он слишком хорошо понимал, какие новые места ему предстоит увидеть. Поэтому теперь становится понятнее, что с помощью диалектических ухищрений он отныне привыкал к неизбежному. «Приучайся» — эта «мысль для самого себя» одна из ключевых в сочинении, которое он станет писать, чтобы отразить напор своего окружения. Как раз пришла пора вспомнить: «Что здесь, что там, все одно и то же: в полях ли, на горах…» Мы думали, что это оправдание, почему он пятьдесят лет не выезжал из Римской Кампаньи. Но ведь тем же принципом тождества можно оправдать и зимовки в горах Норика, куда он удалился с берегов благодатного Тибра провести остаток дней у ледяного Дуная. Ему было довольно счесть безразличным все, относящееся к внешнему миру.

Вероятно, не случайно начало работы над «Размышлениями» совпало с началом германской войны, которая обернулась для Марка Аврелия тяжелым разрывом со всеми привычками и прежним опытом. Можно остановиться на поверхностном уровне толкования его поучений, конечно же имеющих всеобщую нравственную ценность, но в первую очередь это, пожалуй, опыты самовнушения, предпринятые человеком, который не имел особого дара к изменению, однако ему пришлось много взять на себя. «Считай безразличным, зябко тебе или жарко, если ты

делаешь, что подобает; и выспался ли ты при этом или клонится твоя голова, бранят тебя или же славят, умираешь ты или занят иным образом…» (VI, 2). Кажется, все это обычные стоические правила, на самом же деле — глубоко личные: «А я делаю, что надлежит, прочее же меня не трогает…» (VI, 22). Начиная с этой декларации, логика рассуждения Марка Аврелия становится более жесткой, образы собираются в более четкие сочетания, из-под лика бесстрастного государя на нас смотрит истинное лицо измученного человека.

Его решимость была соразмерна угрозе. «Все народы, — пишет Капитолин, — восстали на него: маркоманы, нариста, гермундуры, квады, свебы, сарматы, лакринги и буры, а также иные, как то: сосибы, строболы, роксоланы, бастарны, аланы и костобоки, соединившиеся с виктуалами…» Как и на каких основах создалась подобная коалиция, мы никогда не узнаем за неимением хотя бы малейших сведений. Можно представить себе, что военный клич передавался от племени к племени, но их не связывали почти никакие обязательства: ведь даже каждый клан сражался сам по себе. Только у квадов и маркоманов общество было достаточно организованно, чтобы управлять ими. Нет ни малейших следов общей стратегии, но, несомненно, соседние племена время от времени держали совет. Шаг за шагом народности, всегда готовые к переселению, во главе которых стояли воины, не выпускавшие оружия из рук, продвигались к югу по долинам притоков Дуная, альпийскими и карпатскими ущельями. В ходе войны некоторым вождям, например королям Балломару и Фуртию, удавалось согласовывать действия между собой, а затем и с сарматами. Возможно, они замышляли крупные операции, но общие планы все время нарушались дикими набегами нетерпеливых подданных и союзников.

Неизвестная война

Итак, заканчивался 169 год, отмеченный смертью Луция (январь) и маленького Анния (август — сентябрь), а также браком Луциллы и Помпеяна. К осени того же года относят и отъезд императора в лагерь на Дунае — вероятно, Карнунт (Петронелл, восточнее Вены). Но начиная с этого времени фазы войны, хотя ее основные эпизоды нам известны, невозможно точно расположить во времени: даже самые основательные предположения дают погрешность не меньше года. Неопределенность здесь вполне естественна; лучше принять ее как есть, чем пытаться прояснить положения, которые ясно не видел никто.

Ставке верховного командования пришла пора перебраться в

Центральную Европу. На границе, которая от края до края оказывалась все более уязвимой, постоянно появлялись новые угрозы. На Рейне, в Верхней Германии, проснулись катты — очень агрессивный и достаточно организованный народ. Однако в истории ему не повезло — он вскоре исчез из нее. Против них император послал еще одного своего друга, Дидия Юлиана — племянника знаменитого юриста. Юлиану пришлось отражать и хавков — морских разбойников, явившихся в устье Рейна. Он оставил свое имя в истории, но всего лишь как ничтожный император, двадцать пять лет спустя продержавшийся только несколько дней.

Больше всего мы знаем о нападении, случившемся в 170 году. Люди из племени костобоков жили на южном склоне Карпат, севернее Дакии. Неизвестно, под каким давлением или по каким побуждениям они устремились на юг, опрокинув заставы, только что восстановленные Клавдием Фронтоном. Сам он был убит, тщетно пытаясь оборонить их. Агрессоры, за которыми пошли другие германские народы, а там и сарматы-роксоланы, вступили в Македонию и Фракию, опустошая все на своем пути. Некоторые добрались до Ахайи, подошли к предместьям Афин и разграбили Элевсин, уничтожив храм, где проходили мистерии Деметры, построенный еще при Перикле. Но они слишком оторвались от своих баз, и Корнелий Климент, сменивший в Дакии Клавдия Фронтона, в конце концов одолел их. Набег на Элевсин и гибель святилища, на которое много веков никто не посягал, были зловещим предзнаменованием.

Возможно, одновременно с набегом на дакские рубежи на востоке состоялось контрнаступление в центре, подготовленное императором в 170 году в Карнунте. Оно началось с того, что пять легионов и несколько отдельных подразделений перешли Дунай. По некоторым признакам, наступление проводилось плохо и его неудача сопровождалась тяжелыми потерями. Более того, оно привело к обратному результату: воспользовавшись концентрацией легионов к северу от Дуная, маркоманы проникли в долины Норика, выводившие в Италию, и чуть не овладели Аквилеей. Они разрушили Опитергий, их видели в окрестностях Вероны. Трудно объяснить, почему так изменилась ситуация, откуда столь грубые стратегические ошибки: римляне уже очутились в Богемии, а варвары между тем грабили Венецию и Аттику. Как Помпеян вышел из положения, мы не знаем.

Уже к 171 году относится надпись, в которой упоминается императорское воззвание за номером шесть, а Марк Аврелий именуется «Император Германик». А ведь именно такие источники да еще надписи на монетах дают самые надежные

хронологические привязки. В героические моменты империи монетные эмиссии были самым эффективным средством пропаганды: они разносили во все концы света и основные сведения, и лозунги, которые мы теперь можем истолковать во всех тонкостях: «Возвращенная Фортуна», «Испытанная верность», «Безопасность», «Восстановитель Италии», конечно, «Победа» и «Германик». Эти намеки подкрепляются случайными находками — военными дипломами и эпитафиями; особого рода документ — изображения на Аврелиевой колонне, обессмертившие самые драматические эпизоды войны. Многие из них поддаются локализации, но весьма немногие — датировке. Что касается сочинений историков того времени, можно лишь сожалеть об их утрате.

Прочие враги

Так что лучше ограничиться общим обзором этой изнурительной войны. Силы противников были принципиально различны по организации, вооружению и тактике, но на протяжении десяти лет кровопролитных боев они оказались равны. Первая великая война в Европе закончится, оставив измотанных противников на исходных позициях, но это будет только передышкой. Колониальная война? Да, если угодно: ведь столкнулись неравные цивилизации. Но колонизатором была не господствующая империя, сама считавшая, что достигла максимального размера, а, наоборот, пробуждавшийся третий мир, который вторгался в поисках жизненного пространства, не умея благоустроить его у себя.

Новый мир спустился от холодных морей и из морозных степей в теплые края и уже не мог вернуться назад. Ему были нужны благоприятные климатические и географические условия, которые его устраивали, а также богатства этих стран, которые он полагал вполне естественными. Колонизаторство в нем было рефлекторным. На памяти людской он не видел ничего, кроме малонаселенных, невозделанных пространств. Двести лет тому назад его авангард остановился перед лицом оседлого и благоустроенного старого мира. У нового мира было время посмотреть на старый, оценить его обороноспособность, найти слабые места. Но он не принял ни его покровительства, ни его нравов, а заключил временное соглашение и стал ждать, что будет.

Теперь для ожидания будущего времени не оставалось: авангард почувствовал мощный натиск с тыла. Мы уже говорили о его отдаленных причинах. Но значение первоначального повода

не стоит преувеличивать. Племена, начавшие переселение — готы и бургунды, — по оценкам нашего времени, насчитывали не более десятка тысяч человек в каждом. Но полагают также, что всего лишь несколько лет засухи или поздних заморозков могли вынудить эти племена, не знавшие интенсивного земледелия, вторгнуться на территорию соседей, которые и сами не умели увеличить плодородие своих земель. Гипотеза демографического взрыва мало объясняет, если рассчитать возможные многообразные следствия подобного толчка в маргинальных зонах. И вообще, на берегах Дуная столкнулись не слишком значительные силы. Десять римских легионов насчитывали не больше восьмидесяти тысяч человек из общего числа вооруженных сил в 350 тысяч человек, дислоцированных вдоль границы протяженностью 10 тысяч километров.

Тем тяжелее оказываются потери римлян. «Многие знаменитые граждане погибли на этой войне». Мы уже говорили о гибели префекта претория Фурия Викторина и командующего дакскими легионами Клавдия Фронтона. В 170 году в ходе неудачного наступления был убит командир гвардии Макриний Виндекс. Насколько кровопролитны были бои, можно себе представить, внимательно изучив изображения Аврелиевой колонны или вспомнив потрясающие рассказы Тацита, перечитав хотя бы историю разгрома Вара и походов Германика. Да и сами мы своими глазами видели колониальные войны, в которых превосходно вооруженные армии под командованием дипломированных стратегов оказывались биты плохо вооруженным и организованным противником. В Юго-Восточной Азии, в Магрибе, в Афганистане экспедиционные корпуса великих держав оказывались под угрозой полного уничтожения, подобно римлянам в Германии, но кому приходило в голову сравнивать эти факты, извлекать из прошлого уроки? Для легионера, закованного в сталь, бой становится неравным, как только он оказывается на территории противника, среди его гор и лесов. Наемный десантник не может одолеть население племени, ведущее бой без правил.

Тогда наступающая сторона стала приспосабливаться. Она тоже начала формировать мобильные легкие отряды, вспомогательные войска из мавров, фракийцев и даже германцев под началом специально обученных центурионов. Легионы же удалялись от постоянных или походных лагерей лишь для того, чтобы обжить уже зачищенную территорию или жечь жилища и урожаи германцев. Сила их была в единстве и в походном порядке, а прежде всего в саперной службе, прокладывающей дороги и мосты. Все, что легиону не было нужды разрушать, он

приводил в порядок. Но по дороге он неизбежно проходил через крутые перевалы и узкие ущелья, где он опять оказывался уязвимым. Ведь теперь не только он обладал метательными орудиями — противник их тоже захватывал и копировал. Чем дальше войска продвигались в святая святых врага, тем чаще встречали постоянные укрепления: стены и частоколы. Тогда стали использовать деревянные осадные башни, которые умели делать римские инженеры.

Как изучать историю по барельефам

На колонне Марка Аврелия вся история изображена с предельным реализмом, документальная ценность сцен, зафиксированных художниками — очевидно, историографами на армейской службе, до сих пор до конца не изучена. Как можно сетовать, что мы мало знаем о походах Марка Аврелия, видя эти десятки сцен, сотни персонажей, самые разнообразные ситуации, изображения военной формы и оружия? Историков, как и искусствоведов, смущает только беспорядочность этих картин. Невольно сравнивают это сбивчивое, нервное произведение с его великим образцом — колонной Траяна, стоящей всего в нескольких сотнях метров от нее. И действительно, Траянова колонна, воздвигнутая на шестьдесят лет раньше, выполнена в гораздо более высокой и художественной технике. Это такой же шедевр среди изобразительных памятников, как «Записки» Цезаря среди литературных.

Но времена изменились. Траян творил историю, Марка Аврелия она принуждала. На смену завоеваниям Траяна, задуманным ради славы и успеха, после полувека с лишним обманчивого мира в Европе пришла политика необходимости и выживания. А ведь даки воевали не хуже германцев. Но когда Рим еще владел инициативой, Траяну везло. Его гений организатора предвидел все, включая то, какой архитектор его обессмертит. Марк Аврелий не нашел своего Аполлодора Дамасского. Создатель его колонны обладал иного рода талантом и другим представлением об эпическом искусстве. Он изображал не великолепное, а истинное, не восхищал, а волновал. Исследователи сравнивали блестящее изображение разговора Траяна с его начальником штаба и ближайшем другом Лицинием Сурой и портреты Марка Аврелия вместе с другим сирийцем — Помпеяном. Первое изображение потрясает классической красотой. Оба персонажа изображены в профиль; очевидно, они обсуждают что-то конкретное и прекрасно понимают друг друга, но император выше ростом, его фигура излучает спокойное

превосходство. Во втором случае ясно видны изменения, произошедшие в искусстве: император чаще всего изображается анфас, черты его лица не стилизованы — наоборот, сразу видно, насколько он изможден и устал. Он не выше окружающих его людей, лица которых, как и у него, полускрыты бородами и длинными вьющимися волосами. Помпеян держится на заднем плане: он вездесущ в тени императора, на всех лицах обеспокоенность, да оно и понятно: кругом царит хаос.

Неоднозначное величие

Хотя враги, изображенные на колонне, побеждены, попраны и закованы в цепи, современный зритель уже не может увидеть здесь эпический рассказ о победоносной кампании. Подозревали даже, что страдания и унижения германцев представлены так патетически лишь ради гордыни и жажды мести римлян. Тяжело идущие победители и скорбно отступающие побежденные скорее могли бы выразить бедствия войны, чем величие победы. Мы видим лица женщин и детей, лишившихся свободы, через которые нельзя передать ничего, кроме величия. Но, даже сделав скидку на анахронизм современного восприятия искусства, нельзя не удивиться неоднозначности такого величия. Должно быть, художникам из римских мастерских (здесь работали, видимо, они, а не эфесяне, как для Траяновой колонны) не нравилась эта война; во всяком случае, они выражали новый строй чувств, впоследствии восторжествовавший в западном искусстве. Величие стало более человечным, красота более импрессионистической, от искушений декадентства не так отмахивались.

Видно, как смущено было сознание римлян: время самоуверенности для них закончилось. Откуда самоуверенность, если такой дорогой ценой приходилось отражать и сдерживать варваров? Увековечить убитого полководца — в какой-то мере значит почтить и тех, кто без доспехов, с одной пикой в руке встретил его полки. Деревянная пика с железным наконечником, а то и просто обожженная на огне, самый простой деревянный щит — вот все вооружение германского пехотинца. Он не имел ни лука, ни меча: они были только у конников. Даже много веков спустя у него не появилось почти ничего нового ни в оружии, ни по части дисциплины, ни в стратегии. Вестготам Алариха приходилось разживаться пиками у убитых товарищей или врагов. Всадники подчас сражались, бросая камни. Провианта они брали только на один день. Приходилось бродить в поисках пищи, порой некоторые умирали с голода. В чем же был секрет этих завоевателей? Как мы видели, не в огромном числе, а в

индивидуальной храбрости, эффекте неожиданности, приспособленности к местности, а главное, в презрении к смерти и даже стремлении к смерти, открывавшей им Валгаллу.

На колонне германцы, как их и описывал Тацит, изображены высокими и красивыми. Мужчины носят бороду. Прическа женщин поразила римлянок: в высшем обществе вошли в моду белокурые парики[47]. Вместе с тем новая софистика ставила в пример иные из германских нравов, которые считали «естественными»: мы видели, как Фаворин рекомендовал вскармливание детей матерями, что так хорошо получалось у варваров. И все-таки римляне не особенно интересовались этой войной, и может даже быть, что проявлялось и некоторое недовольство: «Видя, как император забирает гладиаторов в войска, люди восклицали: он-де отбирает у них удовольствия и хочет всех насильно превратить в философов… Поэтому он очень заботился, чтобы в его отсутствие римский народ развлекался и велел самым богатым людям устраивать игры». Но глубже и опаснее было то, что творилось в душах этих самых «богачей», особенно в восточных провинциях, в то время, когда римское войско явно увязало на Дунае.

Глава 7
ФИЛОСОФ В ДОСПЕХАХ (173–175 гг. н. э.)

Приучайся, хоть и не думаешь уже овладеть.

Размышления, XII, 6

…Мысль переключается и преобразует в первостепенное всякое препятствие нашей деятельности. И продвигает в деле самая помеха делу, и ведет по пути трудность пути.

Размышления, V, 20

Столица Империи — Карнунт

На несколько лет Рим переедет из Рима в Карнунт — временную резиденцию гражданской и военной власти в ста километрах к западу от Виндобоны (Вены). Много веков спустя Вена станет столицей другой империи, а Карнунт — скромным археологическим объектом близ никому не известной австрийской деревушки. Там в нескольких сотнях метров от Дуная нашли остатки укрепленного лагеря 14-го Парного легиона и примыкающий к нему дворец наместника. Речной берег был сильно укреплен, поскольку маркоманы беспокоили основанный еще при Тиберии лагерь. Повсюду вокруг, как и следовало ожидать, находят следы «канаб» — скоплений лавочек, кабачков и мастерских, которые как грибы росли вокруг постоянных лагерей. Там же тайно или явно жили солдатские женщины — проститутки и подружки, ожидавшие оформления отношений. Легионер имел право жениться только в сорок лет, по окончании контракта. Тогда он признавал своими детей, воспитанных близ лагеря и чаще всего в лагере и остававшихся. Этих будущих рекрутов так и называли «лагерниками» (castris). Отрыли и руины амфитеатра на пятнадцать тысяч мест, построенного за счет некоего Домиция Смарагда, декуриона муниципия — несомненно, сирийца, нажившегося на поставках армии.

Самым значительным событием стали раскопки самого города, немного выше по реке. Это было большое поселение: оно, вероятно, насчитывало больше тридцати тысяч жителей. Географические причины с военной и торговой точек зрения

послужили его возникновению, а потом способствовали процветанию. В Карнунте ось «север-юг», по которой шел янтарь и двигались завоеватели, пересекалась со стратегической дорогой на Восток, служившей и для импорта пряностей. Поэтому город с многоязычным населением из купцов и отставных легионеров стал крупнейшим рынком Центральной Европы. Вокруг Форума возвышались храмы римских и чужеземных богов. Открыт новый амфитеатр, сохранились следы зоосада. Вероятно, в городе был выстроен и еще один дворец кроме губернаторского. Не его ли занимал Марк Аврелий? Обычно любят представлять себе, как он пишет «Размышления» в палатке при свете масляного ночника. Во время некоторых походов, которые он лично возглавлял, так случалось, но, как правило, он работал в комфортабельной резиденции, служившей жилищем его приближенным, домочадцам, членам Императорского совета, главам основных ведомств, чиновникам, дворцовым слугам. Штату из нескольких сотен чиновников разного ранга и писцов, без которых не могла продолжаться государственная деятельность, нужны были удобства. В Карнунте, а несколько лет спустя в Сирмии, военные инженеры и дворцовые службы очень скоро воссоздали обстановку, необходимую для престижа и функционирования власти.

Роль служб передачи информации, о которых уже говорилось, стала первостепенной. Можно представить себе, какая сложнейшая переписка только по судебной части шла между римскими архивами и высшими инстанциями в Карнунте и Сирмии, если этими инстанциями были сам император и префектура претория. В Городе только префект Рима в некоторых случаях имел право подписи за императора. Отныне этот пост стал чрезвычайно ответственным, его занял двоюродный брат императора Витразий Поллион. Но именно в маленьком городе на Дунае входили в историю люди, которые в Риме, возможно, ограничились бы обыкновенной карьерой: Клавдий Помпеян, его помощник и протеже Гельвий Пертинакс, Авфидий Викторин, Антистий Адвент. Здесь впервые встречаются имена Септимия Севера, Дидия Юлиана, Песценния Нигра, Клодия Альбина. Каждый из них рано или поздно станет претендентом на престол (сарах imperii) и встретит смерть. Сейчас они все у крепости, преданы императору и все еще заодно.

Что бы ни говорил сам Марк Аврелий, ему нелегко далась перемена образа жизни. У него были слабые бронхи, не вынесшие холода и сырости. Само то, как упорно он в своих писаниях советует не обращать внимания на климат и обстановку — знак, что на чужбине ему неуютно. Кто-то заметил, что он еще никогда

не видел ни большой реки, ни высоких черных лесов. Риторика помогла ему представить это в образах, а подсознание страдало от приступов ностальгии. Вторая книга «Размышлений», вероятно, более ранняя, чем первая, была написана в Карнунте. В ней нет ничего, кроме жалоб и мыслей о смерти. Значит ли это, что в пятьдесят лет Марк Аврелий перенес такое потрясение, что почувствовал потребность выразить печали, которых в Риме не знал, которым не давал волю или долго терпел их? Здесь мы подходим к весьма неоднозначной проблеме: отношения автора и произведения, автора и его времени, книги и ее судьбы.

«Писано в области квадов»

Судьба «Размышлений» загадочна. Об их первозданном тексте ничего не известно. Вообще никаких упоминаний о письменном произведении Марка Аврелия нет до 364 года, когда на него сослался некто Фемистий в письме к императору Валенту. Затем его след теряется до X века и вновь обретается в письме одного восточного епископа к другому: он рекомендует чтение Марка Аврелия, с которого у него сохранился древний список. Епископ обещал послать этот список собрату, а себе велел сделать другой. Потом несколько столетий грамматисты или христианские апологеты цитируют то одну, то другую мысль императора, и вдруг в 1559 году в Цюрихе появляется издание в переводе с латинского (а Марк Аврелий писал по-гречески) с абсолютно неизвестной рукописи. Только в 1643 году Мерик Казобон издает оригинальный греческий текст[48]. Новое издание вышло в 1652 году в Кембридже. Упущенное быстро наверстали: только в Англии в конце XVII века увидело свет 26 изданий, в XVIII — 58, в XIX — 81. Но Возрождение состоялось без Марка Аврелия. Монтень на каждом шагу ссылается на Сенеку, но, кажется, ничего не знает об авторе «Размышлений».

По какой же непростительной небрежности произведение императора, которого видели усердно пишущим, и послание философа, учению которого восхищенно внимали, так надолго осталось в забвении? И наоборот: чьими преданными заботами оно не пропало в анархии, наступившей вслед за его царствованием? Можно строить разные гипотезы, но все они подведут нас к еще более загадочной проблеме: проблеме природы и предназначения этой книги. Что хотел написать Марк Аврелий, что собирался оставить после себя? Нет никаких признаков, что заглавие «Та heauton»[49] («К самому себе») принадлежит ему; никто не смог объяснить ни порядок изречений, ни их распределение по двенадцати книгам. Может

быть, перед нами лишь сырые заготовки к будущему произведению, которое автор при жизни не успел привести в должный вид? Может быть, это ряд беглых записей в хронологическом порядке или вовсе без порядка, сделанных на сон грядущий или между дел? Это не пустые вопросы, даже если они останутся без ответа. Известно, как менялся и оспаривался смысл «Мыслей» Паскаля у разных исследователей, которые по-разному раскладывали его клочки бумаги. А ведь там в общих чертах известно, что он хотел доказать.

Каждая гипотеза, едва возникнув, опровергается. Предполагали, например, что Марк Аврелий обращался только к публике: никогда прежде не видали автора, писавшего в точном смысле слова для себя. Но ведь римский император был не обычным автором. Впрочем, надо сделать исключение *для* Юлиана — прирожденного писателя, — и почему бы тогда Марку Аврелию не пожелать вернуться к первоначальному призванию, которое он оставил из-за неожиданного воцарения? Но почему же тогда он — превосходный ученик Фронтона — не постарался композиционно оформить их? Говорят: он умер и не успел это сделать. Но ведь с первых же строк своего сочинения он готовится к смерти, желает ее… Итак, загадка не решается диалектическими доводами. Решать ее, несомненно, следует на иной почве, обратившись к самым истокам стоицизма. Тогда станет видно, что способ рассуждения входил в самое существо учения: это не метод, облекающий его или входящий в него извне, чтобы раздробить — само учение состоит в раздроблении. Тем, кто действительно хочет видеть в Марке Аврелии ученика Эпиктета, которым он и сам себя объявляет, не следует удивляться, что ход его размышлений нелинеен, что он обращается к практике в виде набора элементарных картинок вокруг твердого, таинственного, непроницаемого ядра — самой природы. «Размышления» Марка Аврелия относятся к «Руководству» Эпиктета как геометрия Паскаля к эвклидовой: то же самое плюс страсть и метафизическая интуиция. Чтобы понять характер этого произведения, дальнейшие изыскания, пожалуй, и не требуются. Над тем, в каком состоянии оно до нас дошло, стоит еще задуматься.

Четыреста девяносто семь записей на греческом (философском) языке, разделенные на двенадцать книг о человеке, его природе, обязанностях, ограниченности, о других, об обществе, о неживом мире, о смерти, богах и Вселенной. Много повторений, но по-своему интересных. Чрезвычайное множество образов, сравнений, постоянные переходы от конкретного к абстрактному и обратно. Обращения к читателю,

нотации самому себе. Цитаты из Платона и Еврипида. Воспоминания о великих мужах прошлого. Все это не очень оригинально: по такому же рецепту всегда строились моралистические произведения, в том числе и стоические[50]. Поражают только явно произвольное деление на книги и порядок записей, весьма удивительные для ученика Секста с его «постигающим и правильным отысканием и упорядочением основоположений, необходимых для жизни». Отсюда предположение, что рукопись была обнаружена в виде двенадцати беспорядочных связок, строго сохранена в том же самом состоянии и без всяких перемен скопирована для императорского или семейного архива. Отсюда и искушение уйти от этого случайного порядка, переставить фрагменты согласно единому плану, как потребовал бы от императора Фронтон, как сделали бы его душеприказчики, пережившие его лет на двенадцать: друг Авфидий Викторин и зять Клавдий Помпеян.

Это нетрудное, логичное и полезное упражнение. Становится видно глубинное единство мысли и характера человека, который отчетливо выражает свои представления о том, как идут дела в порученном ему мире и как надо себя вести с ближними. Его ум отнюдь не беспорядочен, а ясен и, может быть, слишком резок. Между фрагментами, хотя они соединены наудачу, мало противоречий: от начала до конца он хочет передать одно и то же — неотвязное отчаяние, против которого укрепляет воля, ряд упражнений на выживание. Почему книга не была ни тогда же, ни позже собрана и опубликована в более упорядоченном виде? Из-за уважения к традиции, из-за суеверного страха что-то менять в произведении, которое и так хорошо продается, из-за нехватки воображения? Это вопрос к издателям. Но один ответ можно дать уже сейчас. Книгу под названием «Размышления» можно держать на ночном столике, чтобы раскрыть наугад и найти в ней предмет для размышления. От Марка Аврелия — как и от Сенеки, Монтеня, Ларошфуко и Ницше — ждут не объяснения мира, а кратких озарений души, электрических разрядов в уме, индуцированных молниями стиля, потрясающих образов, неожиданных словечек, сильных идей и изящных тонкостей. Книги нравоучительных правил читают импрессионисты. Марк Аврелий заслуживает лучшей публики.

Другое понимание

Итак, чтобы понять смысл его царствования, нужно постараться реконструировать внутреннюю логику его размышлений, растянувшихся на все десятилетие, изменившее

облик западного мира. Тогда станет виден целостный облик автора — его настоящий автопортрет. Правда, с первого взгляда ничто, кроме первой книги воспоминаний благополучного школьника, не носит личного оттенка: философ затмевает человека. Но ведь сама эта первая книга дала нам уже столько отмычек, а на взрослого Марка Аврелия школьное образование оказало такое влияние, что мы не отступим от путеводной нити его признаний. Кроме того, он даже не подозревал, что письма к Фронтону донесут до отдаленного потомства его духовный образ таким, о каком он и сам, пожалуй, забыл. Так что напрасно император старался обезличиться, развоплотиться. Впрочем, остается еще одно препятствие или, точнее, почти неизбежная ловушка — семантическая: в какой мере «я» в данном случае означает «другой»? В самом деле, непонятно — к кому он обращается? Смысловая неоднозначность в любом языке позволяет автору скрыть себя под чужим именем. Итак, кто этот слушатель, которому в первой же строчке второй книги говорят так: «С утра говори[51] себе наперед: встречусь с суетным, с неблагодарным, дерзким, с хитрецом, с алчным, с необщественным…»? Марк Аврелий, говорящий сам с собой, его сын Коммод, которого он хочет предупредить об этих печальных обстоятельствах, всякий ближний вообще? Этот вопрос встает на каждой странице, и всякий раз на него можно отвечать по-разному. Именно поэтому вокруг Марка Аврелия и его произведения до сих пор столько неясностей.

Итак, перед нами невольно зашифрованная книга, которую, в зависимости от выбранного ключа, можно читать и как вполне применимый к жизни, но и вполне стандартный учебник теории Стои, и как оригинальный опыт личного переживания этой философии. Специалистам удалось распознать в ней множество старых тем, затертых методов и образов стоической школы. Другие видят только откровенные признания и работу над собой. Одно другого не исключает. Так, иногда мы как будто читаем тертый рецепт древней мудрости, «общее место», как говорили риторы: «Вступай в борьбу, чтобы оставаться таким, каким захотело тебя сделать принятое тобой учение. Чти богов, людей храни. Жизнь коротка; один плод земного существования — праведный душевный склад и дела на общую пользу» (VI, 30). И сразу же вслед за тем замечательное место: «Во всем ученик Антонина: это его благое напряжение в том, что предпринимается разумно, эта ровность во всем…» и т. д. (Там же). Вот это и есть Марк Аврелий: император, говорящий сам с собой. Общее место становится историческим фактом, Зенон и Эпиктет на деле пришли к власти — той, которую Марк получил по завещанию, но

именно потому считает себя обязанным ее заслуживать. Конечно, под пером императора фраза «дела на общую пользу» весит гораздо больше, чем у простого ритора.

«Жизнь коротка…» Кажется, странно встретить здесь такой пошлый афоризм, но еще удивительнее, как настойчиво он повторяется в разной форме. «В скором времени будешь никто и нигде» (VIII, 5); «Не блуждай больше… Поспешай… к своему назначению…» (III, 14). Человек, который в пятьдесят лет так озабочен краткостью жизни, конечно, очень измучен; не будь он связан самой высокой присягой — отправился бы на покой. У того, кто пишет: «С утра говори себе наперед: встречусь с суетным…» или далее: «Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет то, что просыпаюсь на человеческое дело… Или таково мое устроение, чтобы я под одеялом грелся?», — явно не все в порядке со сном. А ведь мы и из писем к Фронтону, и от Галена знаем, что Марк Аврелий страдал бессонницей. Совершенно очевидно: он говорит не об абстрактном стоическом утре, а о том, которое день за днем встречал на Дунае.

Медицинская карта

Хотя мысли о краткости жизни, ничтожности человека, суетности всех вещей действительно являются основополагающими в стоическом учении, Марк Аврелий постоянно к ним обращается, к месту и не к месту применяет. Все это — знак сокровенного душевного смятения, издавна и исподволь развивавшегося, а теперь обострившегося из-за внешних причин: расставания с родиной, холода, окружающей дикости, тревог. Как бы добросовестен и пессимистичен ни был человек по природе, все равно одно дело управлять легионами и подписывать приговоры под сводами Палатина или в садах Пренесты, а другое — вести войска по лесам, где ожидают засады, а после схватки самому присутствовать при казни пленных. Сцены на мраморной колонне, от которых мы содрогаемся, много лет были буднями человека, для которого прежде зло оставалось какой-то абстракцией. Конечно, он, как и всякий воин на свете, привык к ужасам, но мы теперь знаем, что, даже если цивилизованный человек сам себя считает нечувствительным к жестокости, все-таки он подсознательно страдает от нее. Эта боль укореняется в каком-нибудь слабом месте нервной системы, бередит старые раны. А ведь мы знаем, что у Марка Аврелия по наследству или с детства были расшатаны дыхательная и пищеварительная системы. Его письма говорят об ангинах и бронхитах, о строгом режиме питания. Врач и биографы

императора упоминают об этих недугах вплоть до самых последних его лет, сообщают, какие лекарства он принимал.

О первоначальных причинах и ухудшающих состояние факторах этих болезней, об их взаимодействии, а подчас и об их психологических следствиях строилось много предположений. И все же природа и тяжесть симптомов, отмеченных многими свидетельствами, еще нуждаются в правильной оценке. Первое из этих свидетельств дано нам самим Марком Аврелием, который благодарит богов, «что в сновидениях мне была дарована поддержка, не в последнюю очередь против кровохарканья и головокружений» (I, 17). Какая поддержка, он не говорит. Насчет диагноза можно колебаться между легочным кровохарканьем и язвой желудка. Отрывок из Диона Кассия подтверждает эти предположения, но не позволяет сделать выбор между ними: «Во время Дунайского похода он весьма ослабел телесно, так что поначалу совсем не мог выносить холод, и когда собирали воинов по его приказу, ему приходилось сначала уходить в комнату, а уже потом держать перед ними речь; ел он очень мало и только по ночам. Днем же у него не было привычки что бы то ни было есть, разве что лекарство под названием фериак. Он принимал его не потому, что боялся отравления, а потому что грудь и желудок у него были плохие, а благодаря лекарству, говорят, он мог справляться и с этими недугами, и с другими».

Вот мы и встретились с пресловутым «фериаком» — чудо-лекарством Античности. На самом деле это родовое название для микстур столь сложного состава, что расходятся даже сведения о количестве его компонентов, но их было очень много: от шестидесяти до ста. Гален говорит о фериаке в книге «О противоядиях». Если это средство применялось против ядов, его по понятной причине называли «митридатием», против укусов зверей — собственно фериаком, а одна из его разновидностей, «галена», придуманная врачом Нерона Андромахом, исцеляла и от минеральных ядов, и от укусов животных, и от различных болезней. Надо внимательно перечитать, что пишет об этом Гален: «Если принимать это лекарство ежедневно, как делали император Марк Аврелий или сам Митридат, станешь совершенно невосприимчивым к любым ядам. Рассказывают, например, что Митридат хотел отравиться, чтобы не попасть в плен к римлянам, но не нашел ни одного яда, который мог его убить. Об этом слышали все. Что же касается императора Марка Аврелия, то я его знал сам. Сначала он начал принимать противоядие в дозе размером с египетский боб ради безопасности; иногда он пил его, не смешивая ни с вином, ни с водой, иногда добавлял в какую-либо жидкость. Но поскольку

среди повседневных дел ему случалось вдруг глубоко засыпать, он велел не лить в микстуру маковый сок».

На основании этой фразы сложилась легенда, будто Марк Аврелий был опиоманом, и состоялась жаркая полемика между двумя современными историками: один, австралиец, доказывал, что яркие образы «Размышлений» — галлюцинаторные видения, другой, француз, усматривал в них просто старые штампы. Первый увлекался собственными фантазиями и делал неправомерные заключения, второй как будто просто делает вид, что не знает, кем был автор книги. Очевидно, что ум Марка Аврелия совсем не похож на одурманенный: это доказывает и его стиль, и отбор образов, говорящий об удивительной изобретательности. Автор «Размышлений» всегда стремился сохранять ясность ума и не зависеть от внешних влияний. Мы читаем это на каждой странице, а дальнейшие слова Галена о деле с маковым соком и о том, что из этого вышло, служат доказательством: «Но тогда он, напротив, вследствие долгой привычки, поскольку от природы был темперамента сухого и долго принимал разжижающее средство, часто стал проводить ночи почти без сна. Поэтому ему пришлось принимать противоядие, содержавшее маковый сок, но выдержанный, ибо, как я уже не раз говорил, когда лекарство этого рода выдержанно, маковый сок в нем становится более мягкого действия. Тогда он находился в дунайских областях из-за войны с германцами».

Перед нами случай добровольной, но слишком резкой абстиненции; выходом становится выбор правильной дозировки. Гален приписывает эту заслугу себе, но не забывает и упомянуть о содействии своего знаменитого пациента, который «благодаря сознательному отношению к себе строго поддерживал темперамент своего тела. Он постоянно употреблял это снадобье и пользовался им вместо пищи». Дело, впрочем, яснее не становится. Следовало бы точно знать состав и питательную ценность фериака, а также его терапевтическое действие. Смолистый клевер, клубень кокорника. дикая рута, молотая вика, корица, растворенные в змеиной вытяжке и выдержанном маковом соке, достаточно ли этого для поддержания сил, помогает ли это от язвы желудка? Хотя Гален и, как можно думать, император, были вполне довольны, Марку Аврелию приходилось жить в совершенно ненормальном режиме: ведь согласно Диону Кассию он ночью ел, а днем лечился. От маковой зависимости он избавился, но зависимость от фериака сохранилась, и даже если это было просто эффективное плацебо, психофизические проблемы императора никуда не исчезли.

Детские травмы

Не говоря о наследственности, про которую мы почти ничего не знаем, можно исследовать эти проблемы, исходя из известных сведений о его детстве. Напомним основные факты: Марк — драгоценный отпрыск могущественного рода, родственного императорской фамилии, рано стал предметом надежд многих людей и показал себя достойным этих надежд. Момент был самый благоприятный: Адриану приходилось выбирать в своем окружении наследника, в котором ему отказала природа. Перед кончиной императора порядок престолонаследия драматическим образом застопорился: среднее поколение преждевременно ушло из жизни, оставались лишь старики и несовершеннолетние. Наконец Адриан нашел компромиссное решение, избрав солидного, зрелых лет наставника Антонина и привязав его к двум дорогим сердцу наследникам: один наследовал интеллект Адриана, другой — эстетизм.

Вот в этой путанице амбиций, расчетов, естественных и насильственных смертей и рос Марк Аврелий. Когда ему было шестнадцать лет, внучатый племянник Адриана Педаний Фуск был приговорен к смерти за слишком явное стремление к титулу Цезаря — титулу, к которому мать и два деда, не подавая вида, усиленно готовили Марка. Как он пережил такую смутную ситуацию, какой след она оставила в его душе? В его книге нет ни намека на обстоятельства его возвышения, на рискованность предприятия, в которое его отправила семья, но зато примечательно равнодушие к Адриану и его вспышкам гнева, заметно безразличие к случаю, который привел его самого к власти. Если он и вправду об этом не помнил, то наверняка хранил в подсознании. Ведь вся его эпоха двойственна. С начала столетия в каждом человеке и во всем обществе на смену покорности судьбе впервые приходит ожидание хоть какой-то справедливости и безопасности. Последствия этого необычайного переворота, возвещенного при Траяне, не иссякали еще три четверти столетия — пока длился золотой век Антонинов.

И нет ничего мистического в том, что Марк Аврелий стал воплощением этой эпохи. Он сам был ее продуктом, сам пользовался ее благодеяниями, прежде чем стать ее благодетелем. Окажись он в том же положении веком раньше, оно стало бы для него роковым: его быстро вывели бы из игры, как несчастного Британника[52]. Тогда это было правило. Теперь беда с Фуском стала исключением. И для истории, и, конечно, для участников событий разница огромна. Британника при Нероне погубила система, Педания Фуска — несчастье, приступ безумия

умиравшего Адриана. К императору вернулся рассудок, и он вернулся к Марку. Все встало на свои места. Может быть, ледяной ветер смуты на миг коснулся сердца юного Цезаря? Вроде бы нет: кажется, что он не сознает смертельного риска политики, благодушно купается в теплых струях гуманности, разлившихся по Империи.

Его воспитанием занимался не один Сенека, а добрый десяток наставников, в администрации было полно мудрых Бурров — даже чересчур: мальчика обкормили культурной революцией. Из-за чрезмерной опеки он оторвался от жизни — замкнулся в моральной автаркии, но никак не мог выправить дисбаланс, заложенный в основе его воспитания, его негармоничного взросления рядом с требовательными дедами и властной матерью. Ему не хватало мужской руки — отца, которого он лишь смутно помнил в раннем детстве. Он полагал, что найдет себя рядом с Фронтоном, потом с Антонином, но чего не было, того нельзя было воротить. Сошлись все условия для хронически беспокойного состояния, а физиологически — для развития язвы желудка.

Язвенная болезнь

Для поведения язвенника обычно характерен набор признаков, которые даже помимо симптомов, связанных с желудком, говорят о скрытом расстройстве организма. Больной бывает замкнут, беспокоен, дотошен до маниакальности. Порывами, желая достичь единства с высшим, он проявляет внешнюю активность, но всегда готов остановиться и занять оборонительную позицию. У него часто бывают трудности с общением, он не так понятен для окружающих, как хотел бы. Не зная, что источник его страданий внутри собственного организма, он ищет для них внешние причины — злобу окружающих или несовершенство мира. У него есть потребность придумать для себя правила жизни, и лучше всего ему подходят стоические: этика, которая все объясняет, извиняет, упрощает, упражняет в терпении, дает привыкнуть к худшему, учит принять то, чего не можешь изменить. Римский стоицизм учил и сражаться, и выходить из сражения. Лучший способ одолеть силы зла, истощив в борьбе с ними все силы добра, уйти в неприступную крепость внутри себя. А если и в ней не удержишься, всегда возможно уйти из жизни — растворить свои атомы в первозданной природе.

Столь тяжелое заболевание вегетативной нервной системы неизбежно ведет к внешне противоречивому поведению: потребность в людях вместе с мизантропией, призывы к

солидарности и позывы к уединению, а на высшей степени расстройства — страстное обличение страстей. Диалектика стоицизма легко примиряет эти противоположности, свободно переходит от практической нравственности человека в обществе к его метафизической природе как одной из стихий Космоса. Нервный человек, изнутри разъедаемый кислыми соками, ищет убежища в представлениях о всеобщей относительности, в воинствующем, несмотря на множество уверток, скептицизме. Вот откуда у Марка Аврелия перебои ритма, перепады напряжения, как бы невольно появляющиеся в «Размышлениях». Сегодня он с восторгом цитирует Еврипида: «Жаждет влаги земля, жаждет высокий эфир», — и добавляет от себя: «А мир жаждет сделать то, чему суждено стать. Вот я и говорю миру, что жажду и я с тобою» (X, 21). А на другой день: «Вот каким тебе представляется мытье: масло, пот, муть, жирная вода, отвратительно все. Так и всякая другая часть жизни и всякий предмет» (VIII, 24). Такие же вариации и на другие темы: «Чти богов, людей храни»; «Какие пришлись люди, тех люби, да искренно!» (VI, 39) — и тут же: «Теперь обратись к нравам окружающих — самого утонченного едва можно вынести; что себя самого еле выносишь, я уж не говорю» (V, 10). Что это — литературные эффекты? Нет, такая причина никогда не бывает достаточной.

Желчность, с силой выразившаяся в сочинении Марка Аврелия, была и выходом для физических соков, и риторическим упражнением, а может быть, лекарством и для телесных, и для душевных недугов сразу. Проклятиями и нотациями он давал себе разрядку и в то же время оправдывал себя, чеканя мощные, сами по себе прекрасные фразы. Ученик Эпиктета и воспитанник Фронтона в этих отточенных формулировках примирялись друг с другом. Избавившись от изжоги, можно быть и великодушным. В конце концов, сам фериак, возможно, был только вспомогательным средством: не столько лекарством, сколько продуманной диетой. А катартическое действие «Размышлений» на автора и, во вторую уже очередь, на читателя трудно переоценить. Например, как иначе трактовать, что в четвертой книге между двумя мудрыми мыслями вдруг появляется злая и несуразная запись: «Темный нрав, женский нрав, жесткий, звериное, скотское, ребячливое, дурашливое, показное, шутовское, торгашеское, тиранское» (IV, 28). Точка, абзац. Это похоже на ритуальное проклятие, которое римляне писали на свинцовых табличках и зарывали под порогом личных врагов. И думал ли тут Марк Аврелий о ком-нибудь вообще? Таких пассажей в книге много, и в них не стоит искать ничего, кроме безусловного рефлекса, нервной разрядки, рвотного спазма.

Так, может быть, и в серьезно-благородных «размышлениях» стоит видеть только эйфорию, следующую за кризисом, выкрик облегчения? Если в сочинении Марка Аврелия искать правду о его авторе, его, пожалуй, и стоит прочесть под этим углом зрения. Было бы ошибкой возносить его на тот уровень, на котором он хотел стоять сам и думал, что на нем стоят все люди доброй воли (но не все люди вообще). Ведь он писал не для того, чтобы возвышаться над другими, а его книга — не идеализированный автопортрет, который он желал бы завещать потомству. И ведь в своем поведении как государственного мужа он оставил достаточно примеров чувства меры и здравого смысла, чтобы его отдаленный преемник Юлиан отдал ему пальму первенства на суде веков. Письма его неоспоримо свидетельствуют о кротости натуры и благородных порывах сердца. История имеет основания упрекать его в ошибочности суждений и слабости, но с учетом рамок, поставленных ему античным обществом, общий итог его правления вполне положителен. Нет нужды возвеличивать Марка Аврелия еще больше.

Стратегия и магия

Некоторые драматические эпизоды германской войны, преданные бессмертию художниками и писателями того времени, свидетельствуют о глубоком смятении в умах римлян на всех ступенях общества. Создается впечатление, что значение религиозного антуража, который всегда сопровождал легионы — гаданий, обращений к предсказателям, — все больше возрастало. Сверхъестественное всегда было составной частью римской действительности, и всякое рискованное предприятие обязательно сопровождалось колдовскими обрядами, посвященными законным и не вполне законным богам. Гаруспики каждый день гадали на алтарях лагерей, а храм в лагере всегда стоял рядом с преторием. В истории известно много случаев, когда командование цинично пользовалось легковерием солдат: не в той ли самой Дунайской армии лунное затмение позволило сыну Тиберия подавить опасный мятеж? Но и сами командующие были суеверны. Мы видели, как в начале Парфянской войны предсказание Александра Абонитихийского обмануло Севериана. Казалось бы, отсюда нельзя было не извлечь урока. Ан нет: в Карнунте мы встречаем того же обманщика с тем же удавом Гликоном.

Об этом деле нам также сообщает сатирик Лукиан Самосатский. Как мы помним, Александр выдал дочь замуж за старого сенатора Рутилиана, а зять ввел его в римское общество

«и даже в императорский дворец». И вот «во время Германской войны, когда Марк Аврелий сражался с маркоманами и квадами», он дал двусмысленное предсказание, одно из многих в таком роде:

В воды быстрого Дуная
Вы пустите, повелю я,
Сильных скакунов Кибелы,
Увенчавши их цветами,
Ладаном их умастивши,
И тогда из рук Победы
Примет вождь и мир, и славу.

«Сделали точно по его слову: два льва (скакуна Кибелы) переплыли через реку в лагерь врагов, которые их убили палицами. Сразу же затем наши потерпели страшное поражение, причем пало двадцать тысяч человек, и бежали до самой Аквилеи, которую чуть не захватили враги. Александр и тут вывернулся: он предсказал победу, но не говорил, римскую или германскую».

Не будем искать у Лукиана точных исторических привязок, хотя, возможно, это было то самое поражение 170 года, в котором погиб префект Макриний Виндекс и после которого германцы устремились в Северную Италию. Осада Аквилеи, как и непосредственная угроза Вероне, подтверждается источниками. Достоверно и показательно само обращение к магии во время войны, и мы встречаем тому другие примеры, подтверждаемые официальной пропагандой. Про «чудо о грозе» сохранились и рассказы, и изображение на колонне Марка Аврелия. В труднопроходимом ущелье римлян вдруг забросали снарядами из машин, о которых они не подозревали (обычно такие машины мастерили перебежчики или наемные механики). Римское войско оказалось в большой опасности, но вскоре Фортуна обратилась на их сторону: молния поразила неприятеля и сожгла катапульту. «Марк Аврелий своими молитвами сам вызвал эту грозу», — утверждает Капитолин. Действительно: на некоторых монетах 172 года он изображен в одеянии полководца с молниями в руках. Этот эпизод послужил как бы печатью на первой победе над маркоманами. Но год спустя, когда римляне напали уже на квадов, римское войско опять оказалось в ловушке и вновь потребовалось божественное вмешательство — «чудо о дожде».

Это событие так потрясло воображение современников, что стало легендарным. Его изображение на колонне и описание, чуть позже сделанное Дионом Кассием, совпадают, но Ксифилин, делая выписки из Диона, тайком вставил туда кое-какие

подробности согласно своей вере. Вот текст, дошедший до нас: «Во время войны с квадами римлянам явилось зримое знамение Божьего благоволения. Они попали в теснину, где должны были погибнуть не в сражении, а от жары и жажды. Их окружало несметное множество врагов, так что нигде нельзя было найти воды. Без сил, израненные, изнывающие от зноя, лишенные влаги, они были осуждены на гибель, и все же в этой крайней опасности были спасены, ибо тучи вдруг собрались, набухли и пролились обильным дождем. Вначале говорили, что египетский колдун по имени Арнуфий, состоявший при римском войске, воззвав к Меркурию и прочим духам злобы поднебесной, выпросил у них дождь…»

Появление египетского мага рядом с римскими фламинами могло объясняться многоплеменным составом легионов, но приписанное ему в этой войне могущество — знак резкого усиления иррационализма. Понятно, что несколько столетий спустя монах Ксифилин ничтоже сумняшеся вставил в повествование легенду, давно ходившую среди христиан — солдат знаменитого 12-го Молниеносного легиона из Каппадокии: «Но вот историческая истина, в которой я уверен. Арнуфий не был истинным колдуном, однако среди легионов Марка Аврелия был один, набранный в Мелитене — городе, жители которого исповедовали христианство. И поскольку во время той войны государь этот был в чрезвычайном затруднении и дрожал от страха за ее неверный исход, префект претория напомнил ему, что среди его воинов есть христиане, которые своими молитвами все могут получить у Бога. Император, обрадовавшись, велел христианам помолиться» и т. д. Ксифилин говорит, будто об этом не объявляли официально, но все об этом знали. Впрочем, он сам себя выдает, говоря, будто Марк Аврелий после этого издал эдикт, защищавший христиан, и дал легиону наименование «Молниеносный». Никаких следов этого эдикта не существует, зато Молниеносный легион известен со времен Августа.

Далее компилятор возвращается к тексту Диона Кассия, который можно считать весьма точной легендой к изображению на колонне: «Увидев первые капли дождя, римляне раскрыли рты и стали пить. Потом начали подставлять щиты и шлемы, вволю пили сами и давали пить лошадям. В тот же миг на них напали враги — римляне и пили, и сражались сразу, а раненые пили воду, смешанную со своей кровью. Нет сомнения, что натиск врага сильно поколебал бы римлян, но он был остановлен сильным градом и грозой, поражавшей врага: одним небо давало воду, других сокрушало огнем. Иные из квадов переходили к нам

искать убежища. Император, сострадая их несчастью, принял их человеколюбиво». На колонне тоже видно, как солдаты в очень выразительном беспорядке (искажение перспективы и наивность фигур, несомненно, умышленны, если исключить возможность внезапного упадка искусства) указывают на небо, утоляют жажду, поят лошадей; изображены враги, лежащие на земле, а наверху, над всей этой сценой — лицо с бородой из капель дождя. Пока не решено, кто это: Гермес Воздушный или Юпитер — Посылатель дождя. Еще вероятнее, что это Тот-Шу, египетский бог, которого заклинал Арнуфий.

Само то, что римляне, которых вел Пертинакс (нельзя точно сказать, присутствовал ли при этом событии Марк Аврелий), позволили себе попасть в такое безвыходное положение — было характерной чертой этой беспрецедентной войны. Насколько известно, Август, Друз, Тиберий, Германик, Корбулон, Траян сражались более умело и уверенно. Вар попал в ловушку, но только потому, что пренебрегал уже и минимальной осторожностью, к тому же не мог заподозрить в предательстве своего «советника» Германна, у римлян известного как Арминий. Германик тоже несколько раз попадал в тяжелые ситуации, потому что безрассудно рисковал. Но политика Антонинов, принимавшая во внимание все уроки прошлого, их методичная, осторожная стратегия должны были бы предотвратить любые случайности, хотя и противники их многому научились. Неужели при всем том Марк Аврелий, Помпеян, Пертинакс и Викторин совершали такие грубые ошибки, что спасти их могли только чудеса?

Неизвестные сражения и тайная дипломатия

Ответ понятен: они считали, что им не приходится выбирать, ни с каким неприятелем сражаться, ни на какой позиции встречать его, ни какой тип боя вести. Поневоле, но вполне сознательно, а потом и настойчиво, они бросили все доступные (достаточно ограниченные) силы Империи на эту контрнаступательную войну, в которой, как мы уже видели, можно опознать черты современных колониальных экспедиций. Политика Марка Аврелия на Дунае сначала была политикой «зачистки», потом «права преследования», затем «обороны посредством наступления» и, наконец, «выжженной земли». При такой политике войско рано или поздно неизбежно должно было увязнуть в болоте или попасть в засаду в горах. Если для предотвращения таких случаев прибегали к магии и молитвам, это не должно нас удивлять. «Чудо о дожде» в том виде, в каком

донесли его до нас скульптура и каллиграфия, должно бы входить в программу наших военных училищ.

Несмотря на фрагментарность источников подобного рода, мы можем составить себе общее представление о дунайских войнах. В целом они окажутся просто чередой точечных акций, прерываемых перемириями, непрочными договорами, вновь заключаемыми союзами и, в конце концов, всеобщим истощением. Во всем этом постоянную, незаметную, но значительную роль играла дипломатия. Мы встречаем многочисленные упоминания о посольствах, друг за другом прибывавших в Карнунт, а затем в Сирмий. До самого конца столетия германцы так и не выступили единым фронтом: так ловко действовали римляне, чтобы их разделить, а может быть, и сами они с такой выгодой набивали себе перед римлянами цену. «Одни приходили от племен, другие от царей», — повествует Дион Кассий; он упоминает случай, когда явилась просить союза и получила его делегация во главе с двенадцатилетним вождем Баттарием. «Иные, — пишет далее историк, — приходили просить мира: так было с квадами. Им дали мир, чтобы расстроить их союз с маркоманами, а также потому, что они дали императору много коней и скота, пообещали выдать дезертиров и освободить уведенных в плен граждан — тринадцать тысяч сразу, остальных потом. Но им не дали права ездить на большие рынки, чтобы маркоманы и язиги, которых они обязались не пропускать через свою землю, как-нибудь не затесались среди них с целью разведать римские позиции и запастись провиантом». По этим словам можно понять всю важность ярмарок: они были местом мирного сближения народов, но в то же время и бесконтрольных контактов, то есть политическими клубами. Над ними был установлен активный надзор римлян, центурионы заменяли туземных приставов. Дунайский флот, базировавшийся в Карнунте, патрулировал Дунай и его притоки. Для квадов такое положение было стеснительным и унизительным. Они не выполнили своих обязательств и возобновили военные действия.

Вспомним, что после первой попытки вторгнуться в Венецию они просили вернуться под покровительство римлян и получить короля, приемлемого для обеих сторон. Этого короля, известного под латинизированным именем Фурций, свергли. Его сменил Ариогез, но он оказался таким несговорчивым, что Марку Аврелию пришлось оценить его голову. С неприятельскими вождями так поступали очень редко: ведь желали того римляне или нет, только с ними можно было разговаривать. Впрочем, когда после очередного поражения квады выдали Ариогеза, его только поселили под стражей в Александрии. На расстоянии

веков такие нарушения договоров нас не удивляют, но ведь для римлян это было непростительное вероломство. Марк Аврелий сделал отсюда вывод, что с такими бесчестными народами мир всегда будет ненадежным. Разбить их поочередно не стоило и пытаться, противостоять всем вместе тоже невозможно. И Марк Аврелий продолжил политику оттеснения, «зачистки», продвигаясь по главным торговым путям германцев, рискуя, но полагаясь на богов грозы и дождя.

Неверные союзники, ненадежный мир

Но продвигаясь на север, он не мог упускать из вида потенциального противника на правом фланге — язигов с венгерской равнины — глубокого кармана между Дунаем, который в этом месте резко поворачивает на юг, и Тисой, также текущей в меридиональном направлении и впадающей в Дунай в самой южной точке этого отрезка. Язиги были сарматским племенем, поселенным здесь по ошибочному расчету Тиберия: он хотел сделать оседлой эту западную ветвь иранского племени, оторвавшуюся от своего восточного корня и кочевавшую в области Понта. На дунайской границе за язигами — ненадежными союзниками римлян — день и ночь следили паннонские легионы, с севера язиги граничили с квадами, жившими на другом берегу Грана, на востоке с даками, обитавшими за Тисой. Но теперь дакам серьезно грозило движение германских завоевателей, которых, как мы видели, несколько лет назад, в свою очередь, вытеснили с устья Вислы гепиды: вандалов, временно двинувшихся на юго-восток, гоня перед собой костобоков. Перед легатом Корнелием Климентом, сменившим Клавдия Фронтона, оказалось вандальское племя астингов. История, рассказанная Дионом Кассием, как нельзя лучше иллюстрирует запутанную ситуацию в уже «балканизированной» Европе, которую Рим смог взять под контроль уже гораздо позже, превратившись в Византию и утратив свою душу. «Астинги со всеми семьями вторглись в провинцию Дакия, надеясь за свой союз получить деньги и землю. Не получив удовлетворения, они оставили жен и детей под покровительством Климента и отправились силой захватить земли костобоков. Но, победив этот народ, они продолжали грабить Дакию. Вандалы-лакринги, пришедшие раньше них, испугались, как бы Климент их не выслал за то, что они пользуются грабежами астингов, и неожиданно на них напали. Тогда астинги с миром пришли опять к римлянам, и Марк Аврелий устроил им поселения при условии, что они будут

сражаться с его врагами. Отчасти они исполнили это обещание». Понятно, что Марк Аврелий при всем желании не мог держать под контролем такую запутанную ситуацию, чреватую наследственными спорами в Центральной и Восточной Европе вплоть до сего дня. Другое дело — решить, вышел ли он из положения благоразумно или своими ошибками усугубил его. В тот момент (в 174 году) до него дошла весть, что язиги хотят нарушить нейтралитет, и он боялся, как бы они не ударили ему в тыл, когда перед ним еще были маркоманы.

Поэтому император усилил давление на маркоманов, поодиночке отрывая от них соседей и союзников: первая коалиция германцев наконец рухнула. Маркоманы запросили мира. Условия для них были тяжелее, чем для квадов: им запретили селиться в семикилометровой полосе от Дуная, а торговать им дозволялось лишь в определенные дни в определенных местах. Маркоманам вменялось в обязанность вернуть уведенных в плен паннонцев и большую добычу, взятую у граждан империи. Провинциальные власти раздали возвращенную добычу, а паннонцы вернулись во фригийских колпаках, но этот символ свободы оказался чуть ли не издевательским: они получили только ограниченное право гражданства. Видно, сограждане никогда не доверяли побывавшим в оккупации… Маркоманы желали жить на римских землях — им дали земли, а вернее, поселили, явно насильно, в Дакии, в Паннонии и даже в Северной Италии, куда они приходили за землей лет пять назад, в окрестностях Равенны. «Но они взбунтовались, — сообщает Дион Кассий, — и дошли до того, что чуть не захватили город. Поэтому Марк Аврелий больше не допускал варваров на землю Италии и выслал даже тех, кого поселил там ранее». Стало быть, политика ассимиляции удавалась еще хуже, чем политика оттеснения.

Язиги тоже послали послов к Марку Аврелию, но от них он решил добиваться безоговорочной капитуляции. Чтобы оправдать тяготы, которых он требовал от войска, и непопулярную в Риме войну, ему надо было к титулу Германика добавить титул Сарматика. Поэтому началась новая кампания, которая принесла не только новые жертвы, но и новые повышения. Прежде всего, ставка главного командования была перенесена из Карнунта в Сирмий на юге Паннонии (ныне Митровица), на Саве, в нескольких километрах от того места, где, приняв ее, широко разливается Дунай. За императором последовал двор. Дворец в Сирмии с его службами и канцеляриями перестроили. Туда же прибыла императрица Фаустина со всей свитой. После четырехлетней разлуки императорская чета вновь соединилась и

зажила семейной жизнью — очевидно, в глубине Паннонии было безопаснее, чем на Дунае. Император находился уже не на передовой. Он увидел младшую дочку, четырехлетнюю Вибию Сабину. Вторая дочь Анния Галерия уже была там вместе с мужем Клавдием Севером, а старшая, Луцилла, сохранившая пожизненный статус императрицы, — вместе со своим принцем-консортом, неприметным и всемогущим Клавдием Помпеяном.

Преторы и легионеры 2-го Вспомогательного легиона объявили Фаустину «Матерью лагерей». Это был знак успокоения умов и сердец. Но жизнь императора, видимо, была не так спокойна: с трудом приспособившись к континентальному климату и воинской жизни, он был вынужден вновь менять привычки, в словенском городке вернуться в мир палатинских интриг. Не тогда ли были написаны самые мрачные из «Размышлений»? Взять хотя бы такую разочарованную запись: «Где живешь, там можно счастливо жить. А живешь при дворе, значит можно счастливо жить при дворе» (V, 16). Силлогизм служит примирению с действительностью. Сирмийский период, продлившийся всего год, оказался неспокойным. Капитолин говорит об упадке духа из-за потерь в войсках: «Друзья его, обеспокоенные этими потерями, уговаривали его вернуться в Рим, но он не послушал их советов». Упрям он был от природы, но такова же была и логика этой войны с ее бесконечным «еще чуть-чуть и победа».

Фаустина, конечно, приехала в Сирмий не потому, что соскучилась по мирной семейной жизни. Есть предположение, что о здоровье Марка Аврелия поползли тревожные слухи. Вскоре оказалось, что правящие круги Империи вообще чувствовали себя неважно. Неужели Дунай, который «унес жизни стольких знаменитых граждан», из-за которого приходилось на всем экономить, стал центром вселенной? «Убитым трибунам Марк Аврелий велел воздвигнуть статуи на Форуме Траяна», но римским жителям от этого было не легче. Только армия от войны получила какую-то пользу: чины стали идти очень быстро. До этого римлянам вовсе не было дела. Когда Пертинакс — сын вольноотпущенника — стал сенатором и командующим армией, повторяли стих из «Умоляющих» Еврипида: «Войны несчастной следствие несчастное». Префекта претория Бассея Руфа считали совсем неотесанным. Нет сомнения, что Марку Аврелию дорого обходилось выслушивать такие порицания, что за непреклонность он платил расстройствами организма. «Военные, — пишет Дион Кассий, — требовали у него вознаграждения, в котором он им отказывал, говоря, что ему пришлось бы дать им в награду кровь их отцов и близких, а императора могут судить только боги». Он

был последним цезарем, который мог безнаказанно так говорить. Так что Марк Аврелий жил на грани смертельного риска, и не только жена его об этом тревожилась.

Беспорядки по всей Империи

Как сейсмические толчки распространяются вдоль линии континентального разлома, так и отзвуки столкновений на Дунае ощущались до самых дальних пределов Империи. Связь между германской войной и смутами, о которых в это время слышно из Британии, Африки, Армении и Египта, очевидна. Перевод действующих частей очень многих легионов на Дунай, ослабление пограничных контингентов, конечно, подтолкнули локальные агрессии. В 171 году шайки непокоренных мавров пересекли Гибралтарский пролив и разбрелись по Бетике — родной провинции правящей династии. Местным ополченцам не удавалось с ними справиться. Марку Аврелию пришлось послать туда Авфидия Викторина, который с частью сил единственного на полуострове 7-го Гальбанского легиона, стоявшего на севере, в Леоне, прогнал незваных гостей. «Геркулесовы столбы» между беспокойным Рифом и сонной Андалузией еще долго оставались слабым местом Южной Европы. На другом краю Средиземноморья, в Египте, внезапно тоже возгорелся очаг смут, который был связан с явным ослаблением римского присутствия. Дело известно под именем «восстание вуколов».

Дион Кассий оставил нам об этом впечатляющий отчет: «Пастухи и другие жители Египта, которых подстрекал на мятеж некий жрец по имени Исидор, переоделись в женское платье и отправились к центуриону якобы заплатить выкуп за своих посаженных в темницу мужей». Эти пастухи, или вуколы, то есть волопасы, жили в болотистых землях дельты Нила близ моря. Они издавна стояли особняком среди египетского крестьянства, почти никому не подчинялись, сопротивлялись непрестанным переписям и сборам податей, характерным для управления этой во все времена забюрократизированной провинцией. С вуколами смешались сборщики папируса, также рассеянные по местам, в которые могли проникнуть только всякого рода беглецы: дезертиры, бродяги, преступники, находившие приют в болотах у анахоретов (первоначально это слово означало тех, кто скрывался от податей). Как это собрание изгоев в своих неприступных местах, сорганизовавшись, дошло до взрыва — социополитический феномен, вероятно, недоступный пониманию древнего историка.

«Они убили центуриона и одного из его помощников, часть

их внутренностей съели, а над оставшимися поклялись в верности друг другу. Исидор среди них всех был, без сомнения, самым прославленным и уважаемым. Под предводительством такого способного вождя легко разбили римлян, бывших в Египте, и взяли бы Александрию, если бы из Сирии не прислали Авидия Кассия остановить их войска. Кассий не посмел вступить в сражение с противником столь многочисленным, храбрость которого усугублялась отчаянием. Тогда он прибег к хитростям и происка́м, которыми внес между главарями размежевание, погубившее их».

Ныне некоторые историки считают, не пересказ ли это произведений простонародной литературы, процветавшей в то время. Но бунт был на самом деле. Подобные движения и легенды черпали силу и в нищете жителей, и в преследованиях, которым подвергались мистические учения древнего Египта. Исидор означает «дар Изиды» — многозначительное имя для тех мест, в которых Изида родила Гора. Ритуальное принесение в жертву центуриона, кровавая клятва служат свидетельством, какие законы были у разбойников, а разбойниками тогда называли всех беглецов, всегда готовых бунтовать и грабить города, из которых их изгнали. И вот они узнали, что римские гарнизоны — единственная сила, способная их сдерживать, — уже не столь сильны. Египет охранял только 3-й Траянов легион, частично переброшенный на Дунай. Силы местной полиции не могли противостоять многолюдному мятежу (историк признает мощь и хорошую организацию вуколов). Показательно уже то, что военачальник Кассий, бывший, как мы видели, грозой парфян, не решился дать им сражение.

Империя стала физически и нравственно уязвима. Сельская местность, надо считать, была небезопасна повсюду в Империи (число изгоев из развитых городских общин прямо пропорционально силе этих общин), но если банды угрожали Александрии — это было серьезное предупреждение. В фантазии современников легенда или быль о вуколах нашла еще более мощный отзвук: «разбойник» остался в преданиях романическим персонажем, иногда обаятельным, иногда отвратительным, но неразлучным с приключениями странствующих рыцарей, спасающих невинных дев. Из страха и надежды, порожденных нарушением правопорядка, родилась народная наивная литература, весьма фантастическая и довольно бездарная. Ожидания иудеев и христиан выразились в их мрачных апокалипсисах — александрийцы свои выражали в розовых романах, за которыми отдыхали душой в тревожное время. Забыться за чепухой — это ведь тоже анахоретство. Позже эта

литература даст весьма успешных авторов, сочинения которых можно прочесть и сегодня: Ахилла Татия, Гелиодора, Ксенофонта Эфесского. Но уже при Марке Аврелии римская элита, содрогаясь, читала романы Апулея и Лукиана[53], в которых говорящие ослы жалуются на разбойников. Появился жанр, в котором разум наконец-то очищался от своих атавистических фантазий, мог публично выразить такие чувства, для которых прежде не было языка. Человек приручил самые нелепые сны и теперь отваживался шутить со священным. Забрезжила заря Нового времени.

Но империи слепо шли своим путем к закату. Авидий Кассий с большим войском вошел в Египет: это было ответственное решение, вызванное необходимостью. С тех пор как Август взял в личное управление царство Клеопатры, ни один сенатор не мог появляться там или же выполнять административные функции: Египтом от имени императора управляли всадники. Это правило не нарушалось никогда. Может быть, Авидий Кассий, прежде чем действовать, получил мандат Марка Аврелия, может быть, это разрешение по умолчанию содержалось в числе весьма широких полномочий, предоставленных военачальнику. Так или иначе, табу было нарушено, а это имело неисчислимые последствия. «Великий империй», выданный блестящему полководцу для Востока, распространился к югу. Севернее же появилась фигура еще одного сильного воина: Марций Вер, отличившийся, как мы помним, на Парфянской войне, стал наместником Каппадокии. Он держал все сухопутные пути между Востоком и Западом, угрожал с фланга Армении и Месопотамии, нависал над Сирией. Вот сколько замков оказалось в его крепких руках! Он не только солдат, но и выдающийся дипломат; он также тверд характером и честен, как и его знаменитый предшественник Стаций Приск. Но и ему пришлось согласиться отправить на фронт несколько своих легионов — среди них и знаменитый 12-й Молниеносный из жителей Мелитены. Некий Тиридат счел момент благоприятным, чтобы нарушить договор об Армении и изгнать из страны проримского царя Сохема, посаженного на престол Луцием Вером. Заговор удался: каппадокийскому легату пришлось заново брать армянскую столицу. Эти однообразные качели — одна из самых нелепых констант римской истории. Даром потраченная противоборствующими империями на пустынных дорогах несчастной страны энергия — иллюстрация того, как дорого обходится геополитика, какой роковой становится эта наука для тех, кто оказался на пути вековых распрей…

О Сарматской войне не известно ничего, кроме того, что зимой 174–175 годов очень дерзкая атака язигов обернулась

против них же. На льду Дуная их конница напала на легионеров; в принципе римская пехота должна была быть сметена лавиной неспособных остановиться коней. Тогда римляне тесно сомкнули строй, первый ряд бросил щиты на лед, встал на них ногами, как на твердую землю, и отбил натиск копьями. Спустя год сражений подобного рода римская дисциплина одолела сарматскую стремительность. Несколько вождей отправили в Сирмий послов. Весной 175 года один из вождей, Зантик, начал переговоры с римлянами от лица всех племен. Так, казалось, оправдывалось упрямство императора. Капитолин пишет: «Он имел намерение устроить провинцию в Маркомании, а другую в Сарматии». Месяц спустя он был уже в Риме.

Процесс Герода Аттика

Кажется, Марк Аврелий не обрел в Сирмии желанного душевного покоя («…живешь при дворе, значит можно счастливо жить при дворе») и сам себя за это упрекал: «И чтобы никто от тебя не слышал больше, как ты хулишь жизнь при дворе — и сам ты от себя» (VIII, 9). Значит, ему там надоело, а поскольку он же себе это ставил в вину, стало быть, душа его была не на месте. Хорошо осведомленный сочинитель Филострат, несколько десятилетий спустя написавший «Жизнеописания софистов», описал для нас один день в Сирмии. Вновь перед нами Герод Аттик. Он стал на двадцать лет старше — теперь ему, видимо, под семьдесят, — но гордыни в нем не убавилось. Снова над ним тяготеет обвинение сограждан в злоупотреблении властью, и наместник Ахайи счел возможным принять его к рассмотрению. Аттик подал встречный иск против афинских демократов, которые сочли за благо сбежать — так боялись они его гнева, а особенно его отпущенников, способных на все. Как мы помним, в обвинении против Герода, которое некогда, к большому смущению Марка Аврелия, поддерживал Фронтон, фигурировали подкуп, растрата и человекоубийство. На сей раз истцы (их имена известны: Демострат, Праксагор и Мамертин) апеллировали в Сирмий, «рассчитывая на благорасположение императора и его наклонность к демократии».

Героду Аттику тоже пришлось явиться в Сирмий, поскольку дело рассматривалось лично императором. Он прибыл с великолепной свитой: секретарями, интендантами, слугами, и разразился гневом, узнав, что его противники поселились рядом с дворцом, а император посылал к ним узнать, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Ему же со всей свитой отвели какую-то башню в предместье. Дело было в том, что его не любила Фаустина —

видимо, из-за его размолвок с Антонином, когда тот был наместником Азии. Как пишет Филострат, она дошла до того, что научила малышку Вибию Сабину просить отца, ласкаясь с ним у него на коленях, «ради любви к ней выручить бедных афинян». Затем на человека, который мог все купить и всех очаровать, кроме Фортуны, обрушилось несчастье: двух дочерей его интенданта Алкимедона, подававших ему еду и питье (Герод их удочерил и воспитывал, как своих), убило молнией, ударившей в башню. Перед судом предстал сраженный горем старик; забыв все свои ораторские приемы, он принялся обвинять Марка Аврелия: «И вот благодарность за прием, который я, по твоей просьбе, оказал Веру, когда он был в Афинах! Теперь же ты принесешь меня в жертву капризам женщины и маленькой девочки!» Префект претория Бассей Руф, по должности председательствовавший на суде, обнажил меч: «Так ты ищешь смерти?» Герод возразил ему: «Друг, в мои годы человеку уже ничто не страшно», — и вышел. Клепсидра[54] была еще почти полной.

Марк Аврелий даже не пошевелился. «Перед судом он так сдерживал себя, что никто не видел, чтобы он хоть раз нахмурился или переменился в лице, а ведь это случается и с самыми беспристрастными судьями», — замечает Филострат. Император предоставил слово афинянам и спокойно слушал их, пока они не прочли постановление народного собрания Афин, обвинявшего Герода в том, что он медоточивым красноречием ввел людей в заблуждение. «Увы, — воскликнул Демострат, — горек был этот мед, и счастливы те из нас, кто умер от чумы!» Тогда, пишет Филострат, император на глазах у всех разразился рыданиями. Мы не обязаны ему верить: его рассказ часто страдает от излишней любви к эффектам. Но вполне возможно, что для Марка Аврелия эта сцена действительно была слишком тяжела. Для него таким же потрясением стала необходимость осудить старого друга, человека, жившего когда-то в доме его матери, самого знаменитого оратора того времени, только что провалившегося у него на глазах, как и громогласные заявления афинян. Суд благоразумно решил, что те жаловались не только на самого Герода, но и на его отпущенников, и главным виновным счел Алкимедона, признав при том, что он уже наказан гибелью дочерей.

У таких тяжелых драм не бывает красивой развязки. Считают, что Герода не осудили формально на изгнание, но просили не выезжать из имения в Марафоне, куда к нему по-прежнему приезжали ученики из Афин. Он недолго ждал, чтобы по своему обыкновению возобновить отношения с Марком Аврелием,

написав ему жалобное и вместе с тем вызывающее письмо. Император все понял и отправил примирительный ответ, позволивший старой суперзвезде сохранить лицо. Вскоре мы вновь увидим их вместе в очень важном деле.

Глава 8
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (175–176 гг. н. э.)

Тут уж так явственна твоя погрешность, раз ты человеку, имеющему такой душевный склад, поверил, что он сохранит верность.

Марк Аврелий. Размышления, IX, 42

Кассий: жребий брошен

В середине апреля 175 года Сирмий стал дипломатической столицей. Никто уже не удивлялся, что по городу свободно ходят германские и сарматские вожди в сопровождении телохранителей. Римляне не торопились заключать мир: им было нужно, чтобы этот мир был прочен — ведь если бы легионы вернулись в родные лагеря, их трудно было бы повернуть обратно. Кроме того, они хотели выиграть время, чтобы усилить постоянные укрепления, оставляемые в придунайских областях. Они уже укрепили передовые позиции у квадов и маркоманов — иные находились в сотне километров севернее Дуная. Необходимо было нейтрализовать и неприятный сарматский выступ на Венгерской равнине. До чего могли дойти требования римлян, никто так никогда и не узнал. Хватит ли у них сил и амбиций попытаться присоединить нынешние Чехию, Моравию, Нижнюю Баварию и Венгрию, ограничатся ли они протекторатом с военными опорными пунктами или обширной нейтральной зоной к югу от Десятинных полей? Неужели Марку Аврелию удавалось то, перед чем пришлось отступить Цезарю, Друзу, Тиберию, Домициану, Траяну? Какое неодолимое препятствие перед ним стояло: географическое, военное, этническое? Быть может, наш философ и сделал бы этот решающий исторический шаг, но тут случилось чрезвычайное происшествие, которое потрясло все его царствование.

Незадолго до конца апреля трибун стратоpов — «всадников быстрых, увенчанных перьями», по слову Ювенала, которых ничто не могло задержать в пути, — во весь опор прискакал в Сирмий с востока. Он привез Марку Аврелию послание от Марция Вера: антиохийские легионы Авидия Кассия провозгласили его

императором. Кассий объявил, что получил из Сирмия известие о кончине Марка Аврелия и ради спасения Империи он, правитель всея Азии, облекался в пурпур. Марций Вер в своем послании свидетельствовал свою верность Марку Аврелию и объявлял о решимости преградить узурпатору сухопутную дорогу в Европу. Очевидно, это событие произошло двумя неделями ранее; дальнейшие сведения должны были поступать регулярно, но с таким же опозданием. Сейчас нам довольно трудно представить себе, как соотносились реакции на события с ответными реакциями, когда сообщения запаздывали во времени. После первого шока Марку Аврелию, чтобы не ошибиться с ответом, следовало тотчас же вообразить, как могли развиваться события в Антиохии за эти две недели. Принимать срочные меры против неожиданной атаки, зашедшей уже далеко, причем в неизвестном направлении, — дело вообще весьма рискованное; только восемнадцать веков спустя средства моментальной связи позволили избавиться от этого неудобства. В столкновениях на окраинах Римской империи нападавший всегда имел несколько недель форы, не считая собственного времени на обдумывание. Так что заговор на Востоке нельзя было задушить в зародыше, находясь в Риме, — разве что напасть первым, как Цезарь на Помпея и Октавий на Антония.

Но зато и Кассий лишь две недели спустя мог узнать, как восприняли новость Марк Аврелий и войска на Дунае, какой реакции он должен ожидать. Впрочем, Императорскому совету приходилось принимать в расчет и еще одно неизвестное: как заявление Кассия приняли в Риме? Ведь он мог принять там серьезные предварительные меры, заслав в Город своих агентов. И вскоре в Сирмии узнали, что эти агенты действительно неплохо поработали. Так что заговор Кассия был подготовлен заблаговременно и оправдались предостережения Луция Марку (если, конечно, не сомневаться в подлинности их переписки, о которой шла речь в главе про Парфянскую войну). В обстоятельствах 175 года было непонятно, каково положение у законного императора в Сирмии: стратегически выигрышное или цугцванг. Очевидного ответа на этот вопрос не было — если бы он был, Кассий не бросился бы в авантюру. На какие же преимущества по дебюту своей партии мог рассчитывать мятежник?

Мы видели, что под его началом было шесть легионов в Сирии, Иудее и Аравии; теперь к ним можно было прибавить еще египетский легион: Кассий уже прежде им командовал, а по последним сведениям, префект Египта Кальвизий Стациан передал легион в его распоряжение. Конечно, они были

ослаблены отправкой части солдат в Дунайскую армию, но Кассий в случае удачного для себя оборота дел как раз и рассчитывал на своих солдат в Европе. Законный император, со своей стороны, располагал шестнадцатью легионами с Рейна и Дуная, а теперь узнал, что и два легиона Марция Вера остались ему верны. Британские и испанские легионы могли прислать войска в поддержку. Бояться было нечего, кроме предательства, эпидемии беспорядков, раскола Империи, возможно, способного привести к гражданской войне вроде случившейся после смерти Цезаря. Такую перспективу нельзя было не предвидеть, и она удручала Марка Аврелия. Как могли его службы прозевать заговор? Впрочем, ведомство греческих дел под руководством Александра Пелопатона делало свою работу нормально. Рим не в первый раз получал сюрпризы с Востока: там ходило столько слухов, что всерьез их не воспринимали. Гораздо больше беспокоил префект Кальвизий Стациан, бывший глава ведомства латинских дел, доверенный человек Марка Аврелия. Вспомнили, что его сын Фаустиниан сам напросился на службу в Александрию, где занимал пост главного контролера финансов. Явное предательство, или Кассий, к которому Египет перешел на службу, чистосердечно полагал, что Марк Аврелий потерял контроль над Империей?

Обстоятельства этого дела так и не стали известны, все документы были намеренно уничтожены. Было бы, например, интересно проверить, действительно ли здоровье Марка Аврелия в тот год внушало серьезное беспокойство его близким. Если так, становился бы правдоподобен слух о сговоре между Кассием и Фаустиной. Слух этот восходит к Диону Кассию — тогда молодому человеку, ожидавшему зачисления в сенаторы и получавшему все правдивые и ложные сведения из первых рук. В его «Истории» читаем: «Когда Авидий Кассий поднял мятеж в Сирии, император, никак этого не ожидавший, послал против него Коммода, который достиг отроческого возраста. Кассий, уроженец Кирры, был человеком редкого мужества и одарен всеми достоинствами, которых можно ожидать от владыки Империи… Конечно, решив захватить верховную власть, он совершил большую ошибку, но его подвигла на это Фаустина: видя, что муж ее нездоров, а Коммод мал и неумен, она испугалась, как бы власть не попала в руки кого-нибудь, кто сделал бы ее простой обывательницей. Тогда она тайно подговорила Кассия жениться на ней и стать владыкой Империи, если болезнь Марка Аврелия придет к роковому исходу. Покуда Кассий обдумывал этот план, к нему пришла весть о смерти Императора (ведь в таких обстоятельствах всегда выдумывают

самое худшее). Не проверив, истинна ли весть, он объявил о намерении взять власть; говорили, что войска, служившие в Паннонии, уже передали ее Кассию».

Разумеется, Дион Кассий — не единственный источник дошедших до нас сведений об этом эпизоде, который надолго разладил все римское общество. «Жизнеописания Августов» говорят о нем, опираясь, вероятно, на сообщения другого современника — утраченное сочинение Мария Максима, выдержки из которого позднее сделал Псевдо-Юлий Капитолин. В «Жизни Марка Аврелия» сообщается: «Авидий Кассий принял императорский титул, как говорят, по желанию Фаустины, не надеявшейся, что супруг ее останется жив… Другие же говорят, что Кассий возложил на себя инсигнии, сам распустив слух о смерти Марка Аврелия». Эти совпадающие свидетельства, вроде бы явно обличающие узурпатора и его сообщницу, все же оставляют место для разных предположений, выбор между которыми историки, придерживающиеся установленных фактов, сделать не решаются. Ясно, почему древнее предание неблагожелательно к Фаустине и видит в ней вдохновительницу всего замысла. Ей и следовало заключить с Кассием через голову мужа договор о страховании жизни, который в случае кончины Марка Аврелия должен был быть автоматически выполнен по всем пунктам. Кассия войска тотчас провозглашали императором, а династическую легитимность он обретал через брак с Августой. Усыновив несовершеннолетнего пасынка, он становился переходным императором — играл роль, назначенную для Антонина Адрианом. И что мог сделать сенат, как не оформить законом свершившийся факт? Но в этом вроде бы логичном плане есть слабые места. Он предполагает, что всех военачальников Рейнской и Дунайской армии уговорами или угрозами перетягивали на свою сторону. Но тогда в расчет не принимался Помпеян, уже фактически имевший власть второго лица в государстве. Он был так силен, что Фаустина (говорили и так) только затем и обратилась к Кассию, чтобы перейти дорогу нелюбимому зятю. Ей не нравилось, что он сын сирийского всадника. Впрочем, таков же был и Кассий.

Марк Аврелий принимает вызов

Как бы то ни было, Кассий объявил себя императором, назначил префекта претория, взял в свои руки Египет — житницу Рима, и его люди объявили, что он вот-вот высадится в Италии. После минутного замешательства Марк Аврелий, находясь в Сирмии, энергично выступил в ответ. Он срочно послал в Рим за

Коммодом и одновременно отправил особые войска «для охраны Города». Дион Кассий сообщает, что сперва он попытался сохранить втайне новость, полученную от Марция Вера, но слухи поползли по всем большим дорогам, и тогда Марк Аврелий решился обратиться к легионам. Текст его речи, переданный историком, — конечно же одно из многих риторических сочинений, которыми он перегрузил свое повествование. Но этот текст настолько хорошо подходит к обстоятельствам и к личности Марка Аврелия, что в нем нельзя не признать признаков правдоподобия, опирающихся на подлинные сведения. Пересказ речи, выполненный двадцать пять лет спустя, не мог слишком сильно отличаться от оригинала, иначе современники ему бы не поверили.

Ритуал воззвания к воинам связан со священным характером лагеря легионеров, в центре которого находился храм, предназначенный для гаданий. Принеся жертву на алтаре, военачальник-император обращался к войскам, выстроившимся перед помещением командования (преторием) бок о бок с храмом. Пожалуй, только первые ряды, в которых стояли трибуны и центурионы, могли расслышать слабый голос Марка Аврелия, только что, как сообщают биографы, откушавшего очередной дозы фериака: «К чему нам, дорогие мои товарищи, гневить Богов, раз уж мы в их руках? И все же тот, кто, подобно мне, испытал заслуженное несчастье, не может удержаться от жалобы. Война все время сменяется войной — и вот уже война гражданская. Какое может быть несчастье больше, чем увидеть, что верность не царит более среди мужей, чем убедиться в предательстве близкого соратника! Я бы презрел эту угрозу, касайся она только меня — ведь я же не притязаю на бессмертие. Но поскольку Кассий угрожает гражданскому миру и общей участи, я желал бы призвать его, чтобы он, представ перед вами и перед сенатом, дал взвесить свои притязания. И если бы решили, чтобы для блага государства я отрекся в его пользу, я бы охотно сделал это. Да и зачем мне держаться за должность, многие годы отнимающую у меня сон и покой?

Но Кассий, явив свое великое вероломство, не захочет услышать меня и откажет мне в доверии. И тогда я призываю вас, дорогие мои товарищи, к мужеству…» Примечательно диалектическое построение речи: видно, как величайшее умение служит здесь величайшей искренности. Но надо было воззвать и к более примитивным чувствам людей, пришедших в смятение: «Впрочем, никогда не будет, чтобы солдаты из Киликии, Сирии и Египта, будь они хоть в тысячу раз многочисленнее, одержали над вами верх. Как бы ни был одарен Кассий, как бы ни был он до сих

пор удачлив, он преуспеет не больше, чем лев во главе стада коз. Вспомните, что вы, а не он одержали победу над парфянами. За Марцием Вером, который на нашей стороне, числится не меньше подвигов…» Наконец, предлагается мир с позиции силы: «Может быть даже, Кассий, узнав, что я жив, уже раскаялся. Тогда он, узнав, что вы уже в походе, конечно, откажется от своего предприятия. Тогда я боюсь лишь одного: чтобы он не убил себя или другой кто не убил его, дабы избежать позора при встрече с нами. В этом случае я утратил бы единственную возможную пользу от войны и победы: возможность прошения».

Продолжение речи, видимо, дальше от подлинника, но достаточно характерно для духа своего времени. Дион Кассий, писавший при очень жестоких императорах, вкладывает Марку Аврелию в заключение такие слова: «Мое предположение может показаться вам невероятным, но не должно думать и того, что добрых чувств уже не осталось в человечестве. Итак, желал бы я, пользуясь настоящими несчастьями, доказать, что из всего можно извлечь благо, даже из гражданской войны». Прекрасный гуманистический взгляд, связанный с самой остротой столкновения, и в глазах современников, чаявших лучшего общества, Марк Аврелий в нем победил. Он и сам должен был поверить в свою победу: ведь все, к кому он воззвал, пошли за ним. Римский сенат объявил Кассия врагом общества. Коммод выехал из Рима 19 мая, а около 5 июня приехал в Сирмий. Ему еще не исполнилось четырнадцати лет, он носил претексту (детскую тогу). Родители решили облачить его во взрослую тогу на два года раньше срока, и торжественная конфирмация состоялась, вероятно, 7 июля — в день вознесения Ромула на небо. С этих пор Коммод считался совершеннолетним, стал принцепсом юношества и Цезарем, который мог быть соправителем, а позднее наследником своего отца. У Кассия сразу стало гораздо меньше аргументов. Фаустине больше нечего было бояться. Теперь сенат всегда мог вручить наследнику атрибуты императорской власти, а в самом крайнем случае его немедля провозгласили бы легионы.

Невидимая трещина

Легитимность власти восстановилась так легко и быстро, что прямо удивляешься легкомыслию плана Кассия, если не думать, что он на какой-то миг действительно решил, что Марк Аврелий при смерти. Как только император, приняв вызов, появился на публике, шансов у мятежника не оставалось. «Однако, — пишет Дион Кассий, — когда он узнал, что Марк Аврелий жив, он зашел

уже слишком далеко, чтобы покаяться; он захватил область до Таврийских гор и готовил свое признание провинциями». Это вполне возможно. Следует вспомнить, что Кассий воспитывался в Египте в семье наместника, имевшего в Александрии больше власти, чем император в Риме. В Сирии его семейство занимало ключевые позиции, в Египте его сын Мециан служил на важнейшей должности, а его зять Дриантиан был одним из главных чиновников в Ликии. Как же этот клан с крепчайшими корнями, возглавляемый легендарным полководцем, мог смотреть не свысока на императора, никогда не ступавшего на землю восточных провинций, расточавшего богатства Империи в нескончаемых войнах с северными варварами?

Чтобы в этом убедиться, не обязательно обращаться к письмам Кассия Дриантиану, записанным в «Жизнеописаниях Августов»: по мнению всех историков, они подложны. Но и здесь фальсификатор опирается на расхожие мнения того времени: «Несчастна Республика, попавшая во власть богачей и желающих разбогатеть! Марк Аврелий, конечно, добрый человек, но он сохраняет жизнь людям, поведение которых сам осуждает, чтобы хвалили его доброту… Он занимается философией, рассуждает о милосердии, о природе души, о правде и неправде, и не чувствует нужд отечества». В этом пассаже следует видеть отзвук памфлетов, которые партия Кассия — сенаторы и всадники, занимавшиеся бизнесом, отпущенники, связанные с восточной торговлей, распространяли в Риме. Этих людей германская война касалась только постольку, поскольку стоила денег и человеческих жизней. Они вспоминали республиканские добродетели, пользуясь памятью другого Кассия[55] — Авидия, — но это была демагогическая уловка. Дело для них было в том, чтобы восстановить доходные связи между Востоком и Западом, покончив с разорительной борьбой Севера и Юга.

Кассий мог еще долго продержаться: ему хватало денег, было на кого опереться политически. Он покорил основную массу антиохийцев. Но тайные силы уже действовали против него и привели к краху его авантюры. «Марк Аврелий еще готовился к походу, — сообщает Дион, — когда пришла весть о гибели Кассия. Некий центурион по имени Антоний, встретив его на дороге, ранил его в шею, но рана не была смертельной, потому что убийца слишком быстро проскакал на коне мимо. Тогда некий декурион ударил его еще раз. Они отрубили ему голову и отослали императору». Дело свершилось моментально, и никто на месте не вступился за полководца: это доказывает, что сирийское войско боялось схватки с европейскими легионами, о скором приходе которых уже было известно. Убийцы Кассия

знали, что им ничего не грозит. Впрочем, их ждало и большое разочарование, ибо, как пишет Капитолин, «Марк Аврелий не высказал никакой радости, узнав об убийстве Кассия, и велел немедленно похоронить его голову».

И не только Антоний с товарищем были разочарованы поведением императора с заговорщиками. «Он запретил сенату сурово наказывать причастных к этому делу и велел не осуждать на смерть ни одного из сенаторов… Казнили только несколько центурионов». Из главных виновников лишь Мециан в Египте поплатился жизнью, за остальными установили надзор, причем они сохранили почти все состояние. Но историки, расточая похвалы снисходительности Марка Аврелия, дают понять, что на то были не только нравственно-философские причины. Новая сцена «милосердия Августа» действительно украсила царствование, но в первую очередь помогла скрыть неприглядную сторону дела. Настойчивое желание императора провести в Риме всеобщую амнистию доказывает, что там держалась атмосфера всеобщей подозрительности и сведения счетов, в которой издали трудно было разобраться, чтобы держать под контролем. Проще было решить, что с головой Кассия похоронен и мятеж. И все-таки на Востоке стереть его следы было не так-то просто. Раскол увлек несколько миллионов человек, военные и гражданские служащие остались неверны присяге. Могла ли всеобщая амнистия все привести в порядок? Не следовало ли провести дознание о поведении некоторых лиц? Еще никогда со времен гражданской войны, последовавшей за смертью Цезаря, а век спустя — со смертью Нерона, перед Империей не стояла такая политическая и нравственная дилемма.

Но мы подошли к тому месту, где следует исследовать проблему еще глубже. В рассказах о мятеже Кассия так часто говорится об ответственности императрицы за его начало, что ясно: уже современники никак не могли серьезно не подозревать ее. Мы видели недвусмысленные обвинения Диона Кассия, позднейшие намеки Капитолина, утверждавшего, что источником его был Марий Максим. В то же время Вулкатий Галликан, под именем которого дошла до нас «Жизнь Авидия Кассия», утверждает: «Фаустина ничего не знала об этих событиях, хотя Марий Максим, который всегда старался ее оклеветать, предполагает, будто она была сообщницей Кассия. Но осталась переписка императрицы с мужем, где она просит его как можно суровее наказать мятежников». Соблазнительно было бы взять и прямо подшить эти письма к делу, но они, к сожалению, очень похожи на специально сфабрикованные; невзирая на трогательную защитительную речь Ренана, историки ими не

пользуются. Так что следы правды приходится искать в других местах.

После Кассия

Авидий Кассий носил пурпур три месяца и шесть дней. Он подобрал состав Императорского совета, назначил глав канцелярий, послов; все заговорщики с первого же момента оказались при деле. Нетрудно понять, что не все заговорщики были обыкновенными злодеями: они просто хотели использовать законный переход власти, казавшийся неизбежным, в свою пользу. Ввиду отсутствия внятного конституционного закона, наследование престола в Риме происходило отнюдь не автоматически. Только традиция велела отдавать преимущество наследнику по крови, но он при этом должен был уже иметь какой-либо из знаков суверенной власти, а у Коммода их еще не было: титул Цезаря, который он носил с детства, был просто личным именем, говорившим о возможности занять высшее место. Если бы Марку Аврелию оставалось жить всего несколько дней — а так тогда, по-видимому, и предполагали, немедленно началось бы столкновение западных и восточных армий; у каждой из них был и свой глава: на Западе — Клавдий Помпеян, на Востоке — Авидий Кассий. С учетом расстояний второй вынужден был сделать первый шаг. Итак, два полководца вопреки всякому завещанию разыграли бы свою партию. Кассий первым вынул меч; он поспешил причислить Марка Аврелия к лику богов, как будто уже был облечен высшими жреческими полномочиями, как будто исполнял сыновний долг. Такое благочестие давало ему преимущество; люди вообще замечали, что он публично никогда не говорил плохо об императоре. Но о Коммоде он и не вспомнил.

Между тем он мог бы предложить себя в регенты и породниться с Антонинами — так после смерти Коммода сделал Септимий Север. Если у него действительно был уговор с Фаустиной, именно это было бы нормально. Она, со своей стороны, могла бы публично объявить, что выбирает его, а не сенатского фаворита Помпеяна. Но то ли такого уговора вовсе не было, то ли он был недостаточно ясным, то ли Кассий в последний момент отказался от него. Последняя гипотеза выдвигалась не раз. Она могла бы объяснить, почему Фаустина, как мы только что видели, в письмах к Марку Аврелию так яростно требует примерно наказать предателей. Но что можно вообще сказать по поводу писем, о которых даже неизвестно, не придумали ли их нарочно для доказательства невинности или же двуличности императрицы, со времен Античности даже слишком

интересующей историков.

Может показаться, что и заговором, таким кратким и так легко подавленным, мы интересуемся слишком сильно. Его обстоятельства известны очень плохо, мы не знаем большинство его действующих лиц. На первый взгляд, это всего лишь случайное происшествие. Но к нему привязалась очень устойчивая легенда. Это легенда не об Авидии Кассии: он был авантюристом, которого больше боялись, чем любили, а его сторонники не успели или быстро потеряли охоту раскрыть себя. Это легенда о Марке Аврелии — добром императоре, которого предали генерал с именем, отдающим заговором, и собственная жена с пьянящим именем Фаустина, бесстыдно поддержавшая подлого изменника, пообещавшая ему царство и свое ложе. Стоило только вообразить столь гнусную интригу, и сразу становилось ясно, почему вскоре все обернулось так скверно. Великодушие, верность и законность оказались попраны, в самом сердце Империи завелось святотатство.

Как бы прямолинеен ни был такой сюжет, он не лишен исторической ценности. Неужели те, кто утверждает, будто быстрый крах ранней Империи объясняется чисто экономическими причинами, всерьез верят, что деградация институтов менее вредна, чем девальвация монеты? Люди конца века, ставшие свидетелями моментального забвения всех ценностей века Антонинов, не имели представления об учении исторического материализма: они понимали только, что обществом вновь правит насилие. Но каким колдовством, через какую рану оно проникло? Мало-помалу в памяти людей утвердился образ Узурпатора и Неверной Императрицы. Как чума, вне всякого сомнения, взялась из ларца, похищенного солдатом Кассия в храме Аполлона в Селевкии, так и анархия могла родиться только от тяжкого клятвопреступления, совершенного мятежником и вероломной женой. Задним числом в громовом раскате, прозвучавшем в Сирмии в апреле 175 года, расслышали весть о том, что добрых чувств, что бы ни говорил Марк Аврелий солдатам, все-таки уже не осталось в человечестве. Значит, оптимистическая фраза, четверть века спустя вложенная в его уста живым свидетелем событий — Дионом Кассием, была антифразой, пророчествующей об антиобществе.

По тому, как крепко укоренился в историческом повествовании столь скоротечный путч, можно судить о том, насколько он был ошеломителен. Вероятно, у этого события была большая подводная часть, и некоторые признаки подтверждают это. Войдя в Антиохию, Марций Вер сразу опечатал бумаги Кассия. Когда Марк Аврелий захотел их посмотреть, Марций

ответил, что уничтожил их. Такая инициатива была серьезным превышением полномочий и могла показаться даже крамольной. Марций Вер вполне сознавал это. Он сказал: «Беру всю ответственность за это на себя и готов поплатиться головой, но я не мог допустить, чтобы на кону стояло столько других голов». Что бы он ни прочел — какие-то списки или компрометирующие письма, нашел ли он там нечто, затрагивающее императорскую родню (а о своих товарищах по оружию наверняка что-то нашел), точно одно: этого преданного и ответственного человека испугал масштаб возможного скандала. Марк Аврелий мог только поблагодарить его за такое нарушение дисциплины, но тотчас пошел слух, что в общей куче были и письма Фаустины. Притом от всякого риска она все равно еще не избавилась: как оказалось, эфемерный начальник латинской канцелярии Кассия, некто Манилий, сбежал вместе с самой секретной частью переписки своего господина. Он, несомненно, скрывался у парфян. Хотел ли он воспользоваться своими возможностями для шантажа или по смерти Марка Аврелия эти возможности иссякли сами собой? Семь лет спустя он вновь оказался в Риме, предстал перед судом, но дело завершилось быстро: как сообщает Дион Кассий, Коммод сжег все письма, не читая. Это необычное свидетельство историка в пользу Коммода на самом деле — похвала Помпеяну, который в первый год нового царствования сохранял ведущее положение в правительстве. Сношения с Кассием, очевидно, были весьма обширными и на очень высоком уровне, ни один клан не был заинтересован в предании писем гласности. Для потомства же Фаустина так и осталась жертвой постоянного нежелания раскрывать секреты.

Путешествие на Восток

Легионы, готовые двинуться на Восток, вернулись в лагеря; что они при этом думали, не говорится. Век тому назад римляне, казалось бы, избавились от кошмара гражданской войны, но она могла вспыхнуть вновь в конце любого царствования. При таких перспективах быстрое возвышение Коммода казалось мудрой предосторожностью, и только зная будущее, мы можем обвинять Марка Аврелия в недальновидности. Понятно, что германцы были недовольны: если бы имперские силы находились в затруднении, германцам легче было бы договариваться. Некоторые племена даже просились идти сражаться с Кассием вместе с легионерами (это доказывает, что политика клиентских отношений и сотрудничества возобновлялась). Им отказали: свои неприятные счеты римляне должны были сводить сами. Вообще же их позиция

в отношении своих вчерашних противников, каждый из которых теперь крепко ввязался в переговоры о сепаратном мире, были прочными. Язиги дали слишком большие залоги, чтобы теперь вновь начать вилять. Им продиктовали более суровые условия, нежели германцам: запрещенная для них полоса вдоль Дуная была вдвое шире, они обязались вернуть сто тысяч пленных и дать восемь тысяч своих всадников, тотчас же записанных во вспомогательные войска и отправленных в Британию. Разом ослаблялся военный потенциал агрессивных сарматов из пушты и усиливались вечно неспокойные каледонские легионы. Марк Аврелий согласился принять титул Сарматского.

Он мог бы вернуться в Рим, где его ждал триумф, но представился удобный случай и было даже необходимо наконец-то посетить восточную часть Империи. Военный поход, который чуть не пришлось возглавить императору, превратился в увеселительную поездку для него с семьей и друзьями — да они уже и находились на полпути от страны чудес. Для Марка Аврелия удовольствие было испорчено: повсюду на пути он видел едва прикрытые следы измены, едва гримированные лица изменников. Ему приходилось холодно отвечать на неискренние и уж точно ненадежные изъявления восторга. Все это ему не нравилось. Но показать Восточному Средиземноморью, что у него есть император, восстановить пошатнувшийся престиж, вернуть доверие растерявшимся легионам, реорганизовать администрацию было нужно срочно. Римский народ мог подождать; управление Империей не прерывалось: Императорский совет и главные канцелярии ехали вместе с императором. Процессия была громадная, но, за исключением преторианцев и германской гвардии, вполне штатская и мирная. Доспехи наконец уступили место тоге. С императором ехали зятья Помпеян и Клавдий Север, а также Бассей Руф, Пертинакс и статс-секретари по греческим и по латинским делам Александр Пелопатон и Таррутений Патерн. Последний — военный юрист — начинал ошеломительную карьеру.

У нас нет путевого журнала этого путешествия, длившегося с августа 175-го по сентябрь 176 года, но есть кое-какие сведения о нем. Император со свитой проехал по суше через соединенные провинции Мёзия и Фракия до Византии, потом по одной из крупнейших стратегических дорог, соединявших Средиземное море с Черным через Киликийские ворота в Малую Азию, наконец из Тавра в Никополь и Антиохию (здесь его, видимо, и поджидал Кассий). Мы знаем, что он миновал Кирру — родовой удел узурпатора — и объехал стороной Антиохию, к великому огорчению жителей, желавших молить его об отмене осадного

положения и, прежде всего, запрета на конские бега. Они слишком много ждали от его легендарной доброты или слабости, во всяком случае, слишком рано. Наоборот: император несколько уменьшил территорию провинции Сирия и сократил полномочия, неосторожно доверенные ее наместнику. По тому же случаю он издал указ, запрещавший легатам командовать войсками в своей родной провинции.

Марка Аврелия явно привлекала не Сирия и даже не роскошная долина Оронта, по которой он как через сад проехал дальше. Видел ли он ослепительно белые стены Апамеи, остановился ли в темно-коричневой Эмессе, встречался ли там с великим жрецом Ваала Вассианом, маленьким дочерям которого Юлии Домне и Юлии Месе гороскопы, говорят, предсказывали царство? Посетил ли знаменитую юридическую школу в Бейруте, где старый Гай писал бессмертные «Институции»? По преданию, сохраненному историком следующего столетия Аммианом Марцеллином, проезжая по Иудее, император воскликнул: «О квады, маркоманы, сарматы, наконец-то я встретил людей, которые упрямее вас!» Если он имел в виду еврейский народ, вернее, то, что оставалось от него на родной земле после отчаянных восстаний, вчистую раздавленных Титом, Траяном и, наконец, Адрианом, то его можно понять. Упрямство этих людей преодолевало все запреты, и римское начальство не знало, что с ними делать. Вопреки намекам, кем-то якобы вычитанным в Талмуде, Марк Аврелий вряд ли спорил там с равви Иегудой о еще более догматической, сектантской и антиобщественной, чем возмущавшее императора христианство, религии. На самом деле он понимал только релятивистскую философию и ничего не смыслил в догматизме религий откровения.

Марк Аврелий не отправлялся по следам Адриана в поездку ради престижа или инспекции. Он не оставил на своем пути памятников, подобно Траяну. За ним ехал Помпеян и переналаживал механизмы, которые то изобретались, то портились волнениями народов, по привычке изобретательных, порывами же мятежных. Императору коммерческая лихорадка была так же чужда, как страсть к игре, а тем более мистический бред, пожиравший Ближний Восток. Он торопился к цели — Египту. Там его тоже влек не призрак славы и роскоши, не блеск богатств, за которыми столько других стремились в страну Осириса, а наоборот: зрелище неподвижно-беспредельного пространства, где спит История. Его телу и духу после многих лет непрерывного напряжения было нужно раствориться в метафизических просторах недвижной земли.

Ослепительный Египет

По правде говоря, образ Египта, укрепившийся в античном сознании со времен Геродота, уже не соответствовал действительности. Аспид Клеопатры породил прекрасную легенду веков, но зато положил конец угасавшему мифу древней всемирной державы. Египет наконец обрел свое истинное назначение торговой державы, житницы Рима и сортировочной станции средиземноморских торговых путей. У него появилась огромная голова: Александрия, второй город Римской империи. Где-где, а там Марк Аврелий никак не нашел уединения и тишины вечности. Метрополия не давала никакого представления о Египте. Там хорошо ли, худо ли уживались восемьсот тысяч греков, евреев, сирийцев, римлян, арабов и африканцев, которые, когда не резали друг друга, наперебой способствовали общему процветанию. «Сплошное легкомыслие, непостоянство, капризы, нос по ветру… Это люди мятежные, неосмотрительные и наглые». Такими их видел Адриан, если можно доверять письму, которое ему приписывают. По крайней мере, вот что похоже на правду: «Город богатый, промышленный; никто в нем не сидит праздным: одни выдувают стекло, другие делают папирус, иные льняные ткани и полотна, и даже расслабленные и слепые находят себе дело…» Это скопище людей делилось по этническому признаку на пять кварталов, разграниченных большими бульварами, главный из которых — Канопа — имел двадцать два метра в ширину и пять километров в длину. Один из этих кварталов представлял собой огромный сад, в котором возвышались дворец Птолемеев, государственные архивы, гробница Александра, Мусейон и Библиотека — легендарные места, где с предельной силой явили себя фантазия, власть и наука. Там и поселился Марк Аврелий со свитой. Их глазам открывался крупнейший порт Империи, в котором грузились сотни кораблей, плывших на свет Фаросского маяка — одного из семи чудес света.

Для римлянина первая встреча с другим историческим полюсом его мировой державы была испытанием, иногда возбуждавшим, а иногда умерявшим его гордыню. Душевное равновесие Цезаря, как считают, его не выдержало. Октавий, напротив, душой укрепился. Каракалла чуть позже просто сошел с ума. Марку Аврелию там предстали новые резоны, чтобы критически посмотреть на традиционные представления об императорской власти. И действительно, с точки зрения здравомыслящего консерватора, от священной ценности пресловутой модели абсолютной монархии, восточной теократии, якобы осквернившей дух старого республиканского Рима, почти

ничего не осталось. В то же время можно было констатировать: насколько Египет потерял в политическом весе, настолько же и выиграл в экономическом и умственном влиянии. Но для древних, возможно, эта связь была не так очевидна, как для нас. Достаточно ли ясно видел Марк Аврелий, как торговое процветание Александрии — космополитического города, открытого всем морским течениям, — соотносится с интеллектуальным богатством этой столицы, которая стала центром передовых научных исследований и технологий, замечательной лабораторией идей и верований?[56] В то время, конечно, не могли связать столь несхожие с виду идеи, как свободу торговли и творческую свободу духа. В лучшем случае император-философ мог бы вписать в свои «Размышления» самую прекрасную мысль — о взаимозависимости разных видов человеческой деятельности.

Эта мировоззренческая преграда и тормозила развитие античного общества. Из-за того, что понимание природы вещей и постижение вещей в природе шли непересекающимися путями, не оплодотворяя друг друга, они и продвигались медленно. Посетив Александрийский Мусейон, Марк Аврелий мог увидеть два блестящих примера тому, но никак не мог их осмыслить. Здесь он мог на досуге познакомиться с грандиозным трудом Клавдия Птолемея, за десять лет до того прерванным его смертью. Великий математик, астроном и географ, остававшийся незыблемым авторитетом еще больше тысячелетия, составил карту неба и земли на основе не простых эмпирических наблюдений, а тригонометрических расчетов. Не выходя из кабинета, он алгебраически вывел теорию движения планет и точно вычислил земной меридиан. Так чего же он не мог бы сделать одной силой своего ума? Но Марк Аврелий — властелин мира и философ космоса — не видел, каким образом знание законов, управляющих вещами, может дать человеку власть над вещами. Древние, правда, имели представление о машинах, увеличивающих силу человека, но их изобретали и ими пользовались только архитекторы и военные инженеры. Кроме того, существовали разве что плоды бесполезных фантазий вроде аппаратов, которые можно было видеть в другом зале Мусейона. Александрийцы очень ценили их изобретателя, некоего Герона, также современника Марка Аврелия. Ведь Герон придумал для их развлечения шарики, перемещаемые силой пара, водяные краники с бронзовыми задвижками, каретные рессоры, автоматы и театральные декорации, приводимые в движение невидимыми механизмами. Он и его ученики были изобретателями, но не были Прометеями.

«Марк Аврелий у египтян в их собраниях, храмах и повсюду вел себя как гражданин и философ», — сообщает Капитолин. Мы не знаем, путешествовал ли он по стране (некоторые полагают, будто следы его пребывания сохранились в Долине Царей). Если несколько месяцев назад его действительно считали при смерти, то туристическая поездка, безусловно, вернула императора к жизни. Он уехал из Александрии в апреле 176 года, оставив там свою четвертую дочь Корнифицию, выданную замуж за Петрония Суру Мамертина, сына бывшего префекта претория и префекта Египта, вернувшегося в свою бывшую провинцию. Корнифиции было шестнадцать лет, она шла в семью всаднического сословия. На этом неравном браке лежит отпечаток уже составленного плана передачи наследства. Хотя Мамертину предстояла блестящая сенаторская карьера (шесть лет спустя он стал консулом), положение его семьи не позволяло ему выдвинуться в первые ряды в борьбе за империю. Даже Помпеян, начавший с еще более низких ступеней, но зато достигший высшей степени влияния, женатый на Августе, в этом соревновании уже не участвовал. В сознании Марка Аврелия он в крайнем случае мог стать разве что регентом при первых шагах Коммода. Но никаких соперников у наследника внутри династии отныне не должно было быть.

Возвышение Коммода

Явление Коммода в истории можно назвать катастрофическим. Заговор на Востоке подтолкнул его к власти гораздо раньше, чем предполагалось, причем Фаустина, участвовала она или нет в предприятии Кассия, на этом выиграла: законная власть отныне становилась неотъемлемым достоянием фамилии Антонинов. Правда, наследник должен был быть презентабелен, но Коммод именно таким, бесспорно, и был — оставалось лишь подождать несколько месяцев. В пятнадцать лет мальчик был хорош собой и физически развит. Лицо его уже вполне определилось: глаза немного навыкате, светлые кудри; все предвещало, что он будет сильным и очень контактным — полная противоположность отцу, хотя некоторые черты его внешности (особенно глаза) он унаследовал. Было известно, что он отличается в физических упражнениях и без ума от цирковых зрелищ. Его биограф в «Жизнеописаниях Августов» сообщает, что он любил петь, плясать, свистать и лепить горшки — все это считалось неблагородным занятием. А вот уроки лучших преподавателей прошли для него даром. Известны имена двух его школьных учителей и профессора риторики — весьма уважаемого

Тита Аия Санкта.

Об умственных способностях и характере Коммода нельзя судить по историкам того времени: все они были еще под впечатлением ужаса и отвращения. Но и пренебрегать этими субъективными оценками не следует. Катастрофический итог его правления очевиден — немногие в наши дни пытаются его оправдать (да и Нерона кое-кому приходит в голову оправдывать). Нельзя ли и у Коммода, как и у Нерона, предположить некое извращение или недоразвитость с детства? Это небезразлично, чтобы исследовать степень его ответственности. Дальше мы увидим, была она связана с ответственностью отца и матери или независима от нее. Предание как раз утверждает, что Цезарь с малых лет был порочен и туп. Рассказывают, будто одиннадцати лет он потребовал бросить истопника в печку за то, что баня была недостаточно жарко натоплена. В этом капризе можно видеть нечто пророческое лишь потому, что мы знаем о безумствах взрослого Коммода. Гораздо важнее, что сделал его наставник: велел спалить баранью шкуру, чтобы мальчик подумал, что его приказание выполнено. Если это правда, тут-то и видно, откуда пошла порча.

Родители — тому множество свидетельств — всегда опекали Коммода. Любовь Марка Аврелия к своим «цыпляткам» не была напускной. Он предпочел сам лишиться помощи Галена, но оставить его при Коммоде. Репутация Фаустины как нежной, страстной, честолюбивой матери тоже отнюдь не выдумана. Она ничего не сделала, чтобы избежать как минимум дюжины беременностей; ей удалось сохранить жизнь пяти детям — это доказательство сильного материнского инстинкта. О ее тревогах сохранили память трогательные храмовые таблички: «Когда Коммод здоров, Фаустина счастлива». Дело в том, что сын унаследовал от отца слабое горло (очевидно, хронический тонзилит). Шесть лет отрочества, с 169 по 175 год, Коммод прожил в разлуке с Марком Аврелием, под крылом матери, у которой еще не зажила рана от смерти маленького Вера, скончавшегося от нарыва во внутреннем ухе. Любовь родителей к первому от начала империи «порфирородному отроку» была несоразмерна его политическим достоинствам. Между прочим, в его окружении наряду с воспитателем Фитолеем появился Аврелий Клеандр, из слуг императорского дома. Было бы очень любопытно узнать, как и когда этот субъект тоже стал официальным воспитателем царевича: вскоре эта ошибка имела колоссальные следствия.

В 176 году Клеандр безотлучно находился при Коммоде; его

должность именовалась «нутритор», то есть, буквально, «кормилец». На деле это был надзиратель и телохранитель, ответственный за безопасность и доброе здравие Цезаря. Его умственным и нравственным образованием до шестнадцати лет занимались «литераторы» и «грамматики», а позже «ритор». Частные дела повседневной жизни были в ведении специального камер-лакея, так называемого «комнатного слуги». Эта должность, которую занимал некий Саотер, считалась очень важной: ведь он днем и ночью имел доступ к наследнику. Но на такую же привилегию имел право и нутритор. Клеандр был фригиец родом, раб, купленный на торгах как носильщик, вероятно, служащими при Луции Вере. Потом он выполнял для них разные поручения на сирийских базарах. Попав на Палатин, он как-то проник в императорское окружение. Такая карьера примечательна: ведь в Риме фригийские рабы всегда считались людьми низшего сорта. Саотер был вифинец родом из Никомидии, палатинский отпущенник, возможно, воспитанник Педагогия — училища, где, не выходя из дворца, воспитывали детей прислуги императорского дома. По социальному положению и должности он стоял выше Клеандра, но никто не мог не считаться с особыми личными отношениями Клеандра и Коммода. «Жизнеописания Августов» повествуют, что когда от мальчика попытались удалить недостойных людей, он заболел. Отсюда понятно, что и его родители во многом виноваты.

Апофеоз Фаустины

Обратный путь начался в апреле 176 года. Из Александрии до Селевкии Антиохийской, возможно, плыли морем. На этот раз Марк Аврелий заехал в сирийскую столицу, объявил всеобщую амнистию и устроил игры. Дальше его маршрут пролегал по суше через Малую Азию. Императорский караван прошел через Киликийские ворота у подножия Тавра, а сотней километров севернее, в деревушке под названием Галала, умерла Фаустина. С первого взгляда, умерла совершенно неожиданно: ведь больную императрицу неразумно было бы везти в глухие места, когда в прибрежных городах было куда больше возможностей для медицинской помощи. Но если она, как передает Дион Кассий, страдала суставным ревматизмом, супруги, возможно, направлялись на горячие воды в горах или торопились поскорее в Пергам, наравне с Александрией прославленный своей медицинской школой. Впрочем, Дион прибавляет: «или иной болезнью», а затем еще намек, по поводу которого пролито очень много чернил: «и так со смертью избавилась от позора и скорби

за то, что знала о заговоре Авидия Кассия». Неясный текст можно понять так, что она покончила с собой или велела убить себя.

Поскольку историки много веков строят догадки вокруг этой тайны и некоторые из них (например Ренан) прямо-таки грезили оклеветанной красавицей императрицей, а другие считали ее равной Мессалине, то и мы взглянем на нее поближе, прежде чем навсегда с ней расстаться. Нет ничего невероятного, что между безвременной смертью Фаустины (ей было всего сорок восемь — не забудем, однако, что мать ее и до этих лет не дожила) и делом Кассия, случившимся годом раньше, была какая-то связь. Если она по соображениям высокой политики действительно запятналась участием в этой истории, ее, несомненно, не оставляло мучительное раскаяние. При всех великодушных заявлениях Марка Аврелия, дело не было закрыто; к тому же где-то скитался Манилий со своей перепиской. Император не мог помешать своей тайной полиции идти по следу; Помпеян мог не дать делу ход, но кто же остановит молву? Вполне возможно, что эти страхи подорвали здоровье женщины, столь упивавшейся своим достоинством. А вот то, что такая властолюбивая мать добровольно лишила себя жизни в тот самый момент, когда ее единственный сын наконец поднялся на ступень, ведущую к трону, маловероятно. Конечно, каждый волен выбрать свое толкование этого эпизода.

«Марк Аврелий был очень огорчен смертью супруги», — пишет Дион Кассий. Его можно понять. Он мог жить вдали от нее, мог жаловаться на ее характер, но она была его женой и, без сомнения, его единственной женщиной в течение тридцати лет супружества. Ясно, что его жизнь дала трещину. Единство фамилии, управление императорским домом и двором лежало на ней, и он был не готов взять на себя эти заботы. Семейные происшествия, ссоры между детьми, растущая неприязнь между Луциллой и Коммодом наверняка угнетали его, и, чтобы их рассудить, он всегда полагался на Фаустину: она была главой августейшей семьи. Он не привык общаться с Коммодом, совершенно не знал окружавших его вольноотпущенников, составлявших настоящую клику. Эта клика соперничала с аристократическим двором молодой вдовы Луция Вера, которая по протоколу осталась единственной императрицей. Стоицизм не знал средства против таких ситуаций — разве что равнодушно удалиться. Но в тот момент, когда процесс передачи наследства вошел в решающую стадию, императорская фамилия должна была казаться как никогда сильной и внушающей доверие.

На месте деревушки Галала Марк Аврелий решил заложить новый город, поселить в нем ветеранов и римских колонистов,

назвать его Фаустинополем. Теперь это опять деревушка под названием Башмакчи. К сенату император обратился с просьбой об апофеозе Фаустины: таким образом, мать Коммода становилась *божественной.* Сенат принял все решения, какие от него требовались, а вдобавок постановил воздвигнуть алтарь, на который молодожены должны были приносить жертву перед бракосочетанием, и основать девичью коллегию фаустинианок. Наконец, в театре, на том месте, где императрица восседала рядом с мужем, ей воздвигли золотую статую. Но слух о ее неверности уже осел в скандальной хронике.

Капитолин, который здесь, как предполагают, пересказывает Мария Максима, приводит подробности. «Марка Аврелия упрекали, что он давал разные высокие должности любовникам своей жены: Тертуллу, Утилию и некоторым другим. Тертулла он однажды застал с ней за завтраком, а в некоем миме про ее похождения говорилось вслух перед самим императором. Некий глупый муж будто бы спрашивал раба, как зовут любовника его жены, и никак не мог расслышать. Раб отвечал: „Тулл“, а когда муж переспросил в третий раз, в ответе звучало „Тертулл“». Действительно, на консульских должностях было несколько человек с таким именем, в том числе один консул. Семь лет спустя уже Коммода осудят за то, что он даст второе консульство Утилию. Капитолин продолжает: «В народе ходило много слухов на этот счет, и большинство порицало снисходительность Марка Аврелия».

Но когда Капитолин хочет доказать слишком много, верить ему едва ли стоит. В самом деле, дурное поведение Фаустины казалось современникам самым простым и убедительным объяснением безобразий Коммода. Сумасброд не мог быть сыном Марка Аврелия — и вот уже наготове версия о его незаконном рождении. В сплетнях приходилось заходить далеко. Капитолин не утруждает себя церемониями: «Некоторые писатели утверждают, и это достаточно вероятно, что Коммод родился не от Марка Аврелия, а от прелюбодеяния, и вот как об этом обычно рассказывают: однажды Фаустина после парада гладиаторов воспылала к одному из них самой жаркой страстью и, надолго заболев от этой страсти, призналась в ней супругу. Тот обратился к халдеям, которые посоветовали убить гладиатора, а Фаустине искупаться в его крови и затем возлечь с мужем. Сделали по их совету, и страсть императрицы действительно утихла, но зато она родила Коммода, больше похожего на гладиатора, чем на императора. Подтверждало этот слух то, что сын столь добродетельного отца соединил в себе столько пороков, сколько не сыщешь даже у паяца или у прислужника на арене». Здесь

автор говорит не от себя, а только передает слух. Но следует новый выпад: «Как бы то ни было, общее мнение, что этот принцепс действительно родился от прелюбодеяния, и действительно известно, что Фаустина брала себе любовников в Гаэте среди гладиаторов и моряков». Аврелий Виктор в «Кратких жизнеописаниях Цезарей» злобно уточняет: «…моряков, которые обычно работают нагими».

Поскольку это все не серьезно, обычно не придают значения и такому выразительному анекдоту, переданному Капитолином: «Марк Аврелий, которому советовали развестись с женой, пока она не покусилась на его жизнь, ответил: „Если я отпущу жену, мне следует вернуть и приданое“. Он имел в виду Империю, которую получил от тестя». Было такое признание или нет, но оно приоткрывает тайну императорской власти с одной малоизвестной стороны. Редко замечали, что императоры, лучше всего распоряжавшиеся властью, хранили или хотя бы делали вид, что хранили, прочные брачные узы. Чего только не перенесли Август от властной Ливии, Траян от скупой Плотины, Адриан от занудной Сабины, Антонин и Марк Аврелий от высокомерных Фаустин? А чего не вытерпели эти женщины? Но все эти правители, которых называли «восстановителями», до конца оставались высочайшей четой, как позже сохранился и брак Септимия Севера с Юлией Домной, несмотря на ее распутство. Лишь сочинители придворных хроник знали о прегрешениях образцовых супругов и с чрезмерным, пожалуй, удовольствием сообщили нам о них. Народы видели только внушающие уверенность изображения божественных семейств, двуполые символы отеческой власти. Фаустина Младшая для истории царствования Марка Аврелия не была второстепенным, проходным персонажем. Ответственность супругов перед историей солидарна и нераздельна.

Слово и таинство

Новый город был освящен, и возвращение возобновилось — все такое же неторопливое: ведь церемония триумфа в Риме планировалась только на осень. На пересадке в Смирне император ждал, что город почтит и утешит его, безусловно, самым дорогим для него зрелищем: демонстрацией классического греческого красноречия. Он думал о славе города — Элии Аристиде. Но прошло три дня, а Мастер не являлся к Марку Аврелию, и это, наконец, задело императора за живое. Оратора уговорили явиться во дворец; тот пришел и попросил прощения, ссылаясь на то, что пребывал в глубоких раздумьях,

которые не мог прервать. Император хотел самолично познакомиться с плодами этих раздумий. Виртуоз слова ответил: «Дай мне тему и оставь до завтра. Я не из тех, кому сказать речь все равно, что сблевать. Дозволишь ли моим ученикам быть при этом? — Конечно, ведь так оно демократичнее. — А дозволишь ли им рукоплескать и восклицать, сколько есть сил? — Тут я ничего и не могу сделать: это в твоей власти» (Филострат. Жизнеописания софистов).

Марку Аврелию по-прежнему доставалось от причуд великих магистров красноречия, наделенных множеством привилегий (между прочим, полным и повсеместным освобождением от налогов), позволявших себе в забаву говорить с императором будто бы как с равным. Вновь на сцену явился Герод Аттик. Мы расстались с ним в Сирмии; там он попал в скверную историю, был унижен, по меньшей мере морально осужден и принужден жить безвыездно в поместье. Но он недолго отчаивался. Узнав о заговоре Авидия Кассия, он отправил ему лапидарное послание: «Emanes», — что по-гречески значит: «Ты сошел с ума». Несколько месяцев спустя он решился написать и Марку Аврелию, прощупывая его, но на свой лад: и жалуясь, и с вызовом. Оратор упрекал его за молчание, напоминал, что некогда получал от него по нескольку писем в день «и гонцы, которые их носили, наступали друг другу на пятки».

Если бы деликатность Марка Аврелия еще нуждалась в доказательствах, мы нашли бы их в его ответе, где, как пишет Филострат, он делился скорбью по поводу смерти Фаустины и жаловался на собственное здоровье. «Я же прошу богов, чтобы ты был здоров и знал о моих благопожеланиях тебе. Не считай, что с тобой поступили несправедливо, если вследствие расследования мне пришлось — с какой, впрочем снисходительностью! — наказать прегрешения твоего домоправителя. Не сердись на меня за это. Если же я все-таки в чем обидел тебя, ты получишь случай спросить с меня за эту обиду в храме Великой богини во время Мистерий. Ибо в разгар войны я дал обет принять посвящение, что и надеюсь исполнить через тебя и при твоем покровительстве». Заслужил ли Герод Аттик такое благорасположение? Все знали, что на нем продолжало тяготеть обвинение в непредумышленном убийстве его молодой беременной жены Региллы, которую он однажды избил до того, что у нее произошел выкидыш и она умерла. И здесь козлом отпущения сделали домоправителя Алкимедона: именно он, неправильно поняв приказ хозяина, слишком сильно поучил Региллу. Герод Аттик в отчаянии отделал стены своего дома черным лесбосским мрамором.

Но Марк Аврелий не мог не знать, что подозреваемым в преступлении запрещено участвовать в Элевсинских мистериях. Прося Герода ввести туда его и Коммода, он оправдывал его. Следовательно, на Великие Элевсинии состоялся сложный обряд посвящения. Праздник начинался 19 сентября процессией из Афин в Элевсин, километрах в двадцати от них. Перед этим около пятисот посвящаемых (мистов), вместе с которыми шли посвящающие (мистагоги), проходили очистительные испытания и давали клятву хранить тайны. Слово mystos (тайна) происходит от myein — молчать. За тысячу с лишним лет, в течение которых справлялся знаменитый обряд, никто так и не узнал, что говорил на празднестве гиерофант. Марк Аврелий тоже знал только то, что соблаговолил рассказать ему другой знаменитый посвященный — Элий Аристид: «Элевсин — святое место для всей земли. Там происходит самое страшное и восхитительное из божественных дел, какие только доступны человеку. Где еще увидишь такое соперничество звука и света, такое зрелище с поражающими душу видениями, созерцаемое множеством поколений людей обоего пола?»

С этим свидетельством согласуется еще много других, столь же туманных: тайные церемонии Элевсина, поражая дух и чувства, были буквально несказанны. Смысл эзотерического сообщения был в простейшей морали, выросшей из глубин примитивных аграрных культов. Оно рассказывало о смене времен года, в течение которых земля теряет и вновь обретает плодородие, потому что в Элевсине Деметра потеряла свою дочь Персефону: осенью Плутон уносит ее в царство мертвых, весной она возвращается. На эту вечную тему — оскорбленная Мать проклинает человечество, а потом, умиротворившись, прощает его, — издревле сочинилась грандиозная драма, жившая в веках благодаря роду Евмолпидов, хранителей священных мест. Эти люди явно обладали чудесным режиссерским даром: спектакль, который они ставили ежегодно, по-видимому, по совершенству был равен величайшим церемониям посвящения вроде тех, которым дал новую жизнь гений Моцарта в «Волшебной флейте».

На эти церемонии, служившие славе и выгоде афинян, приезжали издалека. Некоторые время от времени возвращались, достигая высших степеней посвящения, но это не было братство, скрепленное кровью, как у адептов Митры. Элевсинские мистерии давали душевную терапию, обогащали личность и конечно же были к тому же модой высших кругов. Для философии Марка Аврелия они не могли дать много. Элий Аристид так и предупреждал его: «В Элевсине ты получишь только более отрадные представления о том, что будет после смерти, и

сможешь надеяться на лучшую участь, нежели пресмыкание во мраке и нечистотах, что ожидает непосвященных»[57]. Но стоицизм в течение долгого времени выработал гораздо более богатую метафизику. Погружаясь в жидкую грязь, проходя через огонь, убегая от Эриний, Марк Аврелий мог увидеть только образы, а не закон круговорота судьбы. В античной культуре ему и так хватало образов, будто бы нечто объяснявших через нечто другое, подобное. Фронтон его почти что ничему другому и не научил. Впрочем, Марк Аврелий прекрасно усвоил, как при помощи риторической техники проще доводить свое доказательство до чужого ума: в его «Размышлениях» повсюду громоздятся всякие изумруды, ларцы, ульи и смоковницы. Но какой философ от Платона до Паскаля не злоупотреблял символикой, чтобы прикрыть недостаток логики? Так что не будем удивляться, увидев у римского императора предвестие паскалевой метафизики вплоть до его непонятного пари о вере включительно.

Град космический и град земной

Марк Аврелий не был великим визионером. Его произведение неустанно вращается вокруг проблемы места человека во вселенной, но глубоко он в нее так и не проникает. На самом деле его интересуют только поведение человека в его естественном окружении — обществе — и потусторонние предметы, а именно Всеобщее, которое он не знает хорошенько, как назвать: то Космосом, то Природой, то Богами, то Божеством. Из фундаментального стоицизма он взял лишь несколько общих метафизических идей, полезных для общественной морали, которой полностью соответствует личная. В нем не видно ни малейшего зазора между императором и человеком, потому что и его представление о Всеобщем глубоко монистично: «Ибо мир при всем един, и Бог во всем един, и естество едино, и един закон — общий разум всех разумных существ, и одна истина…» (VII, 9).

Откуда он взял этот основной догмат: из учения Эпиктета, переданного Рустиком, или ум человека, с юности сбитого с толку необузданным культурным эклектизмом своего времени, просто инстинктивно требовал единства? Как мы видели, Марк Аврелий рано осознал пределы своих возможностей. Представление о всеобщем единстве очень подходило для неустойчивого темперамента юноши, невольно стремившегося собрать все свои силы. Для Цезаря оно же обернулось политической целью — сделать так, чтобы колоссальное общество жило по единым законам. Неспокойному душой человеку оно

стало проводником к точке равновесия между бесконечно большим и бесконечно малым. Уже атом — гениальная гипотеза греческих мыслителей — давал чудесное облегчение разуму, поскольку объяснял все, кроме самого разума. Элементарная частица, переменная и нерушимая, из которых составлялись и воздух, и вода, и огонь, и земля, и люди, и звери, и все вообще, впрямь была пригодна ко всему. «Природа целого занята тем, чтобы переложить отсюда туда, превратить, оттуда взять, сюда принести» (VIII, 6). Из этой банальной мысли Марк Аврелий выводит некую религиозную, политическую и социальную программу. И действительно, постоянное перераспределение атомов для него было не просто физическим явлением, а задачей самой Природы, условием и оправданием ее вечности. Впрочем, замечает он, везде «одни развороты — небывалого не опасайся; все привычно, да равны и уделы».

Нечасто физику так остроумно ставили на службу консерватизму. Мы еще встретимся с этим представлением о мире, которое само себя считало утешительным: в нем ничего не исчезает и не создается, все суммы нулевые, все человеческие стремления иллюзорны. Еще более систематически Марк Аврелий прибегает к этой системе доказательств для усмирения скорбей этого света и страха перед иным. «Либо мешанина, и сплетение, и рассеянье, либо единение, и порядок, и промысел. Положим, первое. Чего же я тогда жажду пребывать в этом случайном сцеплении, в каше? О чем же мне тогда и мечтать, как не о том, что вот наконец-то „стану землею“. Что ж тут терять невозмутимость — уж придет ко мне рассеянье, что бы я там ни делал. Ну, а если другое — чту и стою крепко и смело вверяюсь управителю» (VI, 10).

На первый взгляд Марк Аврелий просто пересказывает начала старого стоического учения. Стоики любили ставить собеседника перед неравноценным выбором, чтобы убедить выбрать путь разума, а не путь абсурда. Поэтому многие комментаторы предпочитают видеть здесь простое софистическое упражнение, которое неутомимо пережевывается на протяжении целой книги. Если так, придется признать, что автор сам попался в свою ловушку и не может из нее выбраться без возвышенного тона и многословия. По недосмотру или нет, но в «Размышлениях» повтор — способ укрепить свое убеждение и передать его. Если приглядеться поближе, будет видно, что автор каждый раз подходит к своей мысли под другим углом, в другом контексте. «Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни. Уйти от людей не страшно, если есть боги, потому что во зло они тебя не ввергнут. Если же их нет или у них заботы

нет о человеческих делах, то что мне и жить в мире, где нет божества, где промысла нет? Но они есть, они заботятся о человеческих делах…» (II, 11). Здесь Марк Аврелий не просто представляет дилемму, а указывает на правильный выбор. Но сопротивляясь своему наваждению — смерти (чересчур много и слишком с подчеркнутым равнодушием он говорит о ней), философ вовлекается в поток все более и более утонченных альтернатив. Нельзя остаться спокойным, читая следующий строгий анализ: «Если уж боги рассудили обо мне и о том, что должно со мной случиться, то хорошо рассудили — ведь трудно и помыслить безрассудное божество, а стремиться мне зло делать какая ему причина? Ну какой прок в этом ему или тому общему, о котором они более всего помышляют? И если они обо мне в отдельности не рассудили, то про общее уж, конечно, рассудили, так что я должен, как сопутствующее, и то, что обо мне сбывается, принять приветливо и с нежностью. Если же нет у них ни о чем рассуждения (верить такому неправедно), то давайте ни жертв не станем приносить им, ни молиться, ни клясться ими, и ничего, что делаем так, будто боги здесь и живут с нами вместе. Так что если они не рассуждают ни о чем, что для нас важно, тогда можно мне самому рассуждать, что мне полезно. А полезно каждому то, что по его строению и природе, моя же природа разумная и гражданственная. Город и отечество мне, Антонину, — Рим, а мне, человеку, — мир» (VI, 44).

Итак, мы возвращаемся на землю, в Рим — место, куда ведут все дороги, где Марк Аврелий по обряду следит за благополучием богов, а в повседневных делах — людей. Элевсин остался фантастическим эпизодом, иллюминацией, от которой остался только запах кикеона — таинственного напитка, который переносил посвященных в новое состояние незабываемой, но стиравшейся в памяти ночи. Поразившись упадку творческого духа в древнем городе, лишь на малое время воскресшего благодаря меценатству Адриана, Марк Аврелий учредил в Афинах четыре большие философские школы и назначил в каждую из них по знаменитому профессору: платоника, перипатетика, стоика и эпикурейца. И действительно, для обоих интеллектуалов династии испанского происхождения интеллектуальной столицей Империи был не Рим, а Афины, источником разумного слова оставалась Иония, а подлинными религиозными центрами — только Элевсин и Фивы Нильские. Империя шла к полицентризму.

Глава 9
ПЕРЕДЫШКА (176–177 гг. н. э.)

Две готовности надо всегда иметь. Одна: делать только то, что подлежит тебе по разуму властителя и законодателя на пользу людей.

Марк Аврелий. Размышления, IV, 22

Коммод представлен Риму

«Он вернулся в Италию морем, претерпев жесточайшую бурю. В Брундизиуме переоделся в тогу и воинам своим велел сделать то же. В его правление они никогда не носили в Городе воинской одежды». Под тогой здесь следует понимать одежду гражданскую — тунику и легкий плащ с застежкой на плече, но не огромный кусок сукна шесть на шесть метров, в который драпировались только в торжественных случаях. Вскоре такой случай как раз представился, да и войску предстояло всего на один день облачиться в блестящие доспехи: наступал день триумфа. Это был второй триумф в правление Марка Аврелия. Императора слишком долго не было в Риме, он был в долгу перед его жителями, лишенными патриотических церемоний, да и сам нуждался в новом утверждении своей власти народом. Впрочем, войско, пожалуй, еще больше нуждалось в моральном удовлетворении. Триумф был старым союзом силы и демократии: обе они были законны, но встречи их могли быть лишь краткими.

Чем реже и грандиознее было вступление легионов в Город, тем более магической представала связь двух властей, ставших совершенно чужими друг для друга. Войска в провинциях знали прежде всего своих начальников, а уж те прекрасно знали римского императора: они ему были родственниками или друзьями. Время от времени следовало устраивать большой семейный праздник. Принцепс на один день являлся среди граждан как «император» во главе войска; для всех это служило гарантией обоюдной верности, живым доказательством общего идеала и общего интереса. Таким образом, равновесие в обществе было не столь непрочным, как может показаться из кратких изложений римской истории. При Антонинах дело шло так, что

оно могло продержаться целое столетие. Конечно, случай с Авидием Кассием только что поколебал его, но, как мы видели, оно было следствием стечения ряда быстро улаженных недоразумений. Чтобы нарушить гармонию, власти потребовалась бы еще целая серия невообразимых происшествий. И все-таки время оптимизма уже миновало. Марк Аврелий перенес сильное потрясение: теперь он должен был дать исключительный по размаху триумф, устроить великую династическую манифестацию.

Процесс, начавшийся в Сирмии, получил ускорение. Коммод перешагнул этапы на пути к императорской власти быстрее и в более молодом возрасте, чем любой римский принцепс. Это были установленные этапы «прохождения степеней», должным образом узаконенные, но как бы вложенные друг в друга и сменявшиеся с ненормальной быстротой. Вернувшись, Марк Аврелий сразу же попросил у сената, чтобы к его сыну в виде исключения не применялись возрастные ограничения и сроки выслуги, необходимые для занятия высших должностей. 27 ноября 176 года аккламация дала Коммоду империй (власть над Римом и провинциями), а также трибунские полномочия. Было решено, что с 1 января он станет консулом — абсолютный рекорд для этой должности: Коммоду было пятнадцать с половиной лет; даже Нерон не имел привилегии так нарушить обычай. 23 января 176 года, в день триумфа, новый император появился во главе легионов рядом с отцом, которому за несколько дней до того стал равен. Более того, когда процессия дошла до Фламиниева цирка (старого римского ипподрома), Марк Аврелий на глазах у десятков тысяч зрителей спустился с колесницы и пошел пешком, а Коммод принял бразды в свои руки.

Этот жест поразил воображение толпы гораздо больше, чем скоропалительное возвышение Коммода: оно смущает только последующие поколения, знающие, что из этого вышло. Нам легко теперь осуждать Марка Аврелия за недальновидность, корить его за слепоту в отношении пятнадцатилетнего сына. Нечестно было бы и утверждать, будто он нарушил правило выбора лучшего, которое всегда было только прекрасным мифом. Неужели кто-нибудь думает, что, будь у Нервы и Траяна сыновья, Тацит и Плиний имели бы случай восхвалять преимущества кооптации над наследственной властью? Адриан и Антонин, попав в такое же положение, даже не утруждали себя ссылкой на какой-либо конституционный принцип или прецедент. Они завещали Империю лучшим из ближайших по крови, причем усыновив их, отдавая дань наследственному принципу. Каждый помнил, что Август — основатель Империи — делал все

возможное и невозможное, чтобы иметь наследника из своего потомства. Веспасиан заявил: Империя перейдет к моим сыновьям или ни к кому; двадцать лет спустя то же самое повторил Септимий Север. Зачем же было подвергать Коммода, Провидением предназначенного продолжить род, риску опасного соперничества?

Но Марк Аврелий напрасно рассчитывал на добрую природу своего сына. Его можно простить, если поверить современнику — Диону Кассию: «Коммод не был зол от природы. В нем не было ни лукавства, ни злобы. Наоборот: по природе он был слишком прост и робок, отчего и попал в подлую зависимость от своего окружения». Это вполне вероятно, и если так, то можно восстановить всю цепь заблуждений, исходную точку которых мы видели выше. Первой неосторожностью родителей был выбор Клеандра, способного, как показало будущее, на что угодно. Не настояв на своем при попытке удалить весьма подозрительного Саотера, мать вновь проявила слабость, которая дорого обошлась династии. Наконец, отец слепо верил, что окружением нового государя останется прежний Императорский совет, а это было чистейшей иллюзией.

Иллюзией непростительной, но все-таки объяснимой. Так должен был думать утомленный человек, лишившийся дара воображения, вверивший себя безличному Провидению. Он чисто автоматически повторил процесс возведения на престол Луция, случившийся пятнадцать лет тому назад. На его взгляд, Коммод и был вторым Луцием: сильным физически, жизнелюбивым, явно не злонамеренным. Он был довольно красив, его должны были любить солдаты. Ум его ленив? — Но за него все будет решать Помпеян. Кроме того, отец собирался и сам научить его государственным делам. И это был разумный план, но он не оставлял возможности выбора впредь. К тому же он не учитывал подводных течений в комнатах отрока. Коммод был робок, но только потому, что его подавлял образ отца. Лишившись матери, мальчик оказался в полной зависимости от человека, с которым он не надеялся сравняться, — и при этом знал, что совершенство его критикуют. Тогда он замкнулся в своем тайном мире, приучился скрывать и свои умственные недостатки, и мало оцененные физические достоинства. Клеандр с Саотером (пока еще заодно) учили его ждать и казаться покорным.

Ласковый отец

В «Размышлениях», как можно убедиться, много говорится и о необходимости быть снисходительным к ближнему, и о том, как

улучшить его терпением и кротостью. Тень Коммода, надо думать, проходит в таком наставлении: «Если кто ошибается, учить благожелательно и показывать, в чем недосмотр. А не можешь, так себя же брани, а то и не брани» (X, 4). Последняя оговорка поражает: она открывает дверь этике полной безответственности. В конечном счете вина не лежит ни на ком. На миг можно подумать, что мы услышали евангельскую заповедь, но нет: никакого пересечения с христианством не будет, а будет сказано кратко: «Проступок другого надо оставить там» (IX, 20) — говоря попросту, ну его. Тут нет никакого эгоизма: это желание примирения любой ценой; и еще в одной записи оно опять становится вполне человеческим: «Благожелательность непобедима… Ну что самый злостный тебе сделает, если будешь неизменно благожелателен к нему, и раз уж так случилось, станешь тихо увещевать и переучивать его мягко в то самое время, когда он собирается сделать тебе зло: Нет, детка, не на то мы родились, мне-то вреда не будет, а тебе, детка, вред… И чтоб ни усмешки тайной, ни брани, нет — любовно и без ожесточенья в душе. И не так, словно это в школе…» (XI, 18).

Видно, что фон всех этих слов — любовь и ласка, что редкость для стоической философии. Это поистине говорит не школьный учитель, а отец. Но кому говорит? На первом плане — себе самому. Таково и все сочинение Марка Аврелия: грандиозная попытка взять себя в руки, призвать себя к порядку, как будто он боялся не выдержать собственной линии поведения. Уже на втором плане он обращается к какому-то анонимному ближнему — к читателю, которого нигде не называет и, может быть, даже не имеет в виду. И еще загадочней персонаж третьего плана — «самый жестокий из людей», с которым надо говорить, как с ребенком. Уж не Коммод ли это?

Мы не будем спешить становится на этот путь, где нас вскоре ждут удивительные встречи. Время от времени Марк Аврелий позволяет себе безжалостные выпады или, вернее, выбросы необъяснимо скверного настроения. И ведь точно так же можно было бы увидеть Коммода и в безобразном портрете незнакомца, который мы прочли выше: «Темный нрав, женский нрав, жесткий…» (IV, 28). Этот залп дурных мыслей целит во что-то очень конкретное и, кажется нам, полностью совпадающее с тем, что мы знаем о Коммоде. Нам, но не отцу — даже раздраженному, даже впавшему в отчаяние. Мы думаем, что речь идет скорее о Саотере. Впрочем, в другом месте еще скорее можно узнать черты Авидия Кассия: «Смотри-ка лучше, не себя ли надо обвинять, если не ожидал, что этот вот в этом погрешит. Даны же тебе побуждения от разума, чтобы понять, что этот допустит, надо

полагать, эту погрешность. Ты же, позабыв об этом, впадаешь, когда он погрешил, в изумление… Так явственна твоя погрешность, раз ты человеку, имеющему такой душевный склад, поверил, что он сохранит верность…» (IX, 42). Намек, кажется, ясен, но все-таки будем хранить осторожность.

Признаки спада

Мы не знаем подробностей этого триумфа — германо-сарматского, с соответствующими трофеями и постановочными подробностями. Зато остался след щедрости, с которой Марк Аврелий заплатил за свое долгое отсутствие и за восшествие на престол Коммода: «Он устроил великолепные празднества и раздал много денег народу». На самом деле его поймали на слове. Он говорил перед толпой про долгие годы, проведенные им на войне. Тогда слушатели подняли вверх руки с восемью растопыренными пальцами. Император не сразу понял, потом улыбнулся и согласился: «Хорошо, пусть будет восемь», — чем вызвал всеобщий восторг: все поняли, что он пообещал каждому гражданину по восемь золотых монет, «больше, чем давал любой другой император», — говорит Дион Кассий. А ведь раздачу следовало рассчитывать по другим основаниям. Марк Аврелий привез с собой не золото даков, как Траян, а бюджетный дефицит и начало серьезного экономического кризиса.

Кризис, первые симптомы которого проявились теперь, так и не удалось преодолеть; он стал прелюдией глубоких структурных изменений, которые только недавно перестали — и, кажется нам, напрасно перестали — называть «упадком Римской империи». То, что после нескольких правителей, лишенных воображения, перемены были необходимы, понятно. Но те, которые действительно произошли, оказались негативными, внезапными да к тому же еще плохо осознанными современниками. Даже на наш искушенный взгляд их природа и причины остаются неясными, потому что строй, давший сразу много трещин, рушится не в каком-то одном месте и не повсюду одновременно. Некоторые признаки кризиса стали видны уже тогда, когда императорские медали вновь стали распространять идеи «Благополучия» и «Безопасности». Вернувшись в Рим, Марк Аврелий велел простить все недоимки в императорскую и общественную казну. Заемные письма до 177 года были сожжены на Форуме. Эта мера очищала разом все прошлое за сорок лет. Неплатежеспособность стала повсеместной эпидемией, грозные податные инспектора с ней уже не справлялись. Но откуда взялась эта всеобщая задолженность? Да из-за того, что и

государство, и частные лица жили не по средствам.

Для государства непрерывная пятнадцатилетняя война была настолько разорительна, что пришлось продавать сокровища казначейства. К этому надо прибавить расходы на поддержание внутреннего порядка: мы уже говорили о восстании вуколов в Египте. Есть и другие примеры тому, что в провинциях становилось небезопасно. На большие дороги выходило все больше изгоев. Часто это были мелкие свободные крестьяне, разоренные крупными землевладельцами. Некоторые из них вливались в городской пролетариат, и городам оказывалось тяжелее помогать неимущим. Развитие самих городов, перенаселенных и тративших неумеренные суммы на престижные стройки, становилось в тягость местным властям; все больше богачей уезжало из города в обширные поместья, обрабатывавшиеся рабами и дававшие очень мало дохода. Для приведения в порядок бюджета обремененных долгами городов вмешивалось государство, присылавшее контролеров. Бегство от налогов или разорительных почетных обязанностей стало серьезным явлением, против которого вскоре пришлось принимать принудительные меры. Если меценат разоряется, город приходит в упадок, но ведь вся Империя была огромной сетью городов.

В самом деле, множество маленьких Римов, соединенных с главным Городом сетью самых современных дорог, выкачивали все средства из недостаточно возделанной сельской местности, из чересчур активно разработанных рудников и карьеров. Чудовищный Город, в который вели все пути, выпив до дна ресурсы Италии, принялся за большую часть средств других городов. Эта система, ничем, по правде говоря, не отличающаяся от любой империи и любого централизованного государства, может прекрасно функционировать, когда обмен свободно идет по путям, проложенным повсюду или почти повсюду. Но когда Европа стала театром изнурительной войны, выход из строя широкого дунайского коридора и военные реквизиции выбили из колеи частную торговлю. В некоторых местах появились признаки обнищания, а поскольку тогда не было даже понятия производительности труда, помощь в таких случаях оказывать не умели. Небольшие запасы находились только в римских резервных складах.

Так надо ли считать начало экономического спада отдаленным результатом денежной инфляции вследствие появления ста пятидесяти тонн дакского золота, щедро вброшенных в экономику Траяном? Или чумы, привезенной с Востока Луцием Вером? Или, наконец, результатом все время

возраставшего уровня потребления при практически не поддающейся усовершенствованию системе производства? Иные современные историки во всем винят узкий консерватизм Марка Аврелия. Верно, что в его «Размышлениях» незаметно никакого интереса к экономике и финансам, хотя бы в качестве метафор. Он говорит только, что удалялся от образа жизни богачей и берет себе в образец строгую домашнюю экономию Антонина. Позже Марк Аврелий своими указами установил запретительные цены на гладиаторов и потолок вознаграждения комедиантам. Он не забывал о нуждах торговли: «велел, чтобы в базарные дни пантомимы начинались позже». Но законы против роскоши в Империи, начиная с Августа, никогда не соблюдались: только угроза полного краха в конце следующего столетия привела к тому, что были изданы строгие «указы о максимуме». Марк Аврелий лечил лишь крайности или частные случаи (он без колебаний оказал помощь Смирне и Никомидии, разрушенным землетрясением), но не столько строил, сколько ремонтировал и содержал больше предприятий, чем можно было себе позволить. Зато кажется, что римская склонность ко всеобщей регламентации при нем лишь усилилась. Нет надобности искать здесь, как нередко приходится слышать, влияние египетских образцов. Парадоксально, но самый либеральный строй именно потому, что поддерживает многие начинания, все чаще вмешивается в общественный порядок. И вот мы видим, как Марк Аврелий запрещает проезд повозок по улицам Рима, закрывает смешанные бани и приказывает укладывать маты под веревками канатоходцев.

Высшая государственная должность

Марк Аврелий делал все, чтобы с ним, а главное, с Коммодом в Рим вернулось состояние всеобщего подъема, которое поглотило бы недовольство народа, уничтожило последствия дела Кассия, заставило забыть об экономических неприятностях и сделало приемлемой для всех династическую операцию, как минимум, слишком поспешную. Если посмотреть на этот эпизод хладнокровно, можно заподозрить, что император хотел ответить на незаконный государственный переворот законным. Но в последнюю неделю 176 года в Риме было не до хладнокровия: атмосфера была, наоборот, перегрета. Едва окончились триумфальные церемонии, начались сатурналии — удивительный праздник, на время отменявший и даже переворачивавший социальный порядок: традиция велела, чтобы целую неделю, с 17 по 23 декабря, господа служили своим рабам. На время этого

ритуального карнавала (конечно, сильно усмиренного и обузданного) о заботах опять забывали. 1 января был праздник двуликого Януса — день подарков и визитов, а также торжественного восстановления обычной иерархии. Два новых консула поднимались на Капитолий и символически посвящались в хранители республиканской традиции. В 177 году одним из этих консулов был мальчик в пурпурной тоге (цвет, строго закрепленный за императорскими одеяниями), а другим — молодой человек в ярко-красной одежде — Педуцей Плавтий Квинтилл. Он был мужем Фадиллы — одной из пяти сестер Коммода. Его матерью была Цейония Фабия — сестра Луция Вера, первая невеста Марка. Плавтий еще не знал, что коллега убьет его, но для ума нового поколения такое предположение уже не было странным.

Обычай велел, чтобы императоры хотя бы раз за царствование занимали консульскую должность. Таким образом они подтверждали престиж этой должности, превратившейся в чисто формальную, и использовали в своих целях вечный символ. Вместе с тем они напоминали, что по праву были принцепсами законодательствующего сената и первыми должностными лицами исполнительной власти. Но тем же самым они признавали, что императоры — слуги государства, а не само государство. Казалось, что превращение принципата в доминат, которого так боялся Тацит, остановилось. В третий раз за тридцать лет Империя — как и консулат — стала двуглавой и таким образом на первый взгляд тяготела не столько к монархии, сколько к коллегиальности. На самом деле она оставалась личной властью, но личность, по-прежнему державшая в руках бразды правления, умела править своей колесницей. Как слабый здоровьем и робкий человек, весь погруженный в абстрактную мораль и метафизику, мог овладеть этим искусством, предназначенным для энергичных и честолюбивых натур? Теперь мы можем постараться объяснить этот парадокс, пересмотрев природу клонившегося к концу царствования в свете современной политологии.

Сорок лет прожить с видимым бесстрастием, обладая безграничной властью — вернее, властью, границы которой были плохо определены и, смотря по обстоятельствам, так или иначе трактовались, были предметом переговоров или навязывались, — такое испытание до Марка Аврелия одолел только Август. Другие императоры не могли побить этот рекорд, потому что слишком поздно восходили на трон или слишком рано умирали, но в любом случае головокружение абсолютной власти быстро делало их недееспособными. Политическое долголетие и долготерпение Марка Аврелия можно объяснить тем, что он рано был

предназначен своими наставниками к своей роли в обществе, постепенно поднимался во власти под контролем Антонина, так что последний этап стал только практическим упражнением. Император по статусу в каком-то смысле стал высшим государственным чиновником. Это только наполовину метафора. Так же, как Рим при Антонине можно назвать императорской республикой, так же и императора с определенными оговорками можно уподобить конституционным монархам или избираемым президентам современных демократических государств, которых именуют первыми должностными лицами (буквальный перевод латинского princeps). Разница в священном, почти мистическом характере должности и даже личности императора, не сравнимой с тем, что получилось спустя восемнадцать веков. Но в отношении власти не надо бояться доходить до метафизических корней нашего общественного строя, о каком бы режиме и времени мы ни говорили. И теперь хорошо видно, что республики стремятся укрепить свою монархическую, почти наследственную природу, хотя и скрывают это. Каждый президент на наших глазах прилагает усилия, чтобы обеспечить место своему преемнику с таким же откровенным упорством, как Август и Веспасиан, но и с такими же тайными уловками, как Антонины, которые от Нервы до Марка Аврелия остерегались говорить вслух о наследственном характере своей династии.

Антонин и его духовный сын чувствовали свою ответственность, по рекомендации своего предшественника и с согласия сената и армии заступая на вакантную публичную должность. Что может быть естественнее? Конкретные обстоятельства этого выбора, совершенного в спешке, но много раз подтвержденного и в конституционных формах, и в сердцах людей, были связаны главным образом с политической целесообразностью. Обоим избранникам хватало здравого смысла, чтобы не загордиться по этому поводу и не фантазировать насчет происхождения своей власти. Они, конечно, не были чужды религиозности, пропитывавшей все римское общество, а потому не уклонялись от жреческих обязанностей, связанных со своей должностью, но тщательно их соблюдали. Мы знаем, что Марк Аврелий был религиозным конформистом, как римский гражданин, и верил во вселенский разум, как философ-эллинист. То и другое стало полюсами одной из лучших когда-либо созданных систем политической этики. В том, что он писал для себя, нет и следа имперской мистики, которую пропаганда поддерживала у населения. Если он иногда и говорит о своей роли не как о просто человеческой («я и в другом смысле рожден, чтобы защищать их, как бык или баран стадо»),

то потому, что неограниченность власти делала ее абстрактной, и ее буквально невозможно было выразить иначе как аллегорией. Но Марк Аврелий во всем остерегался нарушить меру: его роль как человека не абсолютна, а вставлена в рамку некоего Космоса, который он именует также Природой или, более привычно, богами. Когда он благодарит богов, что те дали ему хороших предков и добрых друзей, чувствуется стилистическая фигура: ясно, что похвала относится к самим этим людям. Но когда он благодарит их за то, что ему «в сновидениях дарована была поддержка», когда в разгар битвы взывает к Юпитеру или Тоту-Шу, мы вновь видим римлянина, а эти люди откровенно и наивно проявляли те же суеверия, которые мы носим в себе тайно и стыдливо.

Примем теперь во внимание, что образ государя в его проекции на Империю для его подданных поддерживался императорским культом — истинной государственной религией, имевшей сильную организацию. От края до края Империи на алтари перед статуей императора приносились горы жертв. Аммиан Марцеллин передает, будто после победы над Парфией по Риму ходило юмористическое прошение от белых быков к Марку Аврелию: «Если ты не прекратишь свой триумф, ни один из нас не спасется». В любом городе люди домогались чести стать фламинами этого культа, имевшего множество разнообразных проявлений, и ритуал его с искренним благочестием соблюдался почти всем населением. Нет ничего удивительного, что императора почитали, а то и боготворили: ведь он как верховный понтифик был посредником между людьми и богами. После же смерти он почти автоматически и сам становился божеством. В глазах своих восточных подданных он уже и при жизни был богом; всякий истинный римлянин считал это знаком отсталости таких людей, но, впрочем, вполне простительным преувеличением: оно гарантировало верность трудно контролируемых экзотических провинций. Не стоит уходить далеко — в наше время или в новую историю, чтобы понять и оценить глубину этого явления — мистической персонализации — в обществе, где разные народы по случаю или силой оказались сплавлены вместе. Принудили их, убедили или они сами решились разделить общую судьбу, им нужна была осязаемая нравственная связь, поклонение то ли венчанной особе, то ли избранному президенту, и чем он был дальше, тем восторженнее поклонение.

Правовое государство

Только полемика исследователей поможет ответить на вопрос, насколько можно модернизировать изображение имперской идеологии и образа правления при Антонинах. Здесь возникает много соблазнительных параллелей и всегда есть риск анахронизма. Как не поразиться актуальности личностей Траяна и Адриана — людей, совершенно аналогичных «сильным деятелям» нашего времени, всевозможным харизматическим вождям и строителям империй? Кто не может представить себе Антонина, затянутого в черный костюм, приносящего присягу на Библии в одном из современных англосаксонских парламентов? Что же касается Марка Аврелия, очевидцы его жизни и его собственные сочинения погружают нас в бездны сомнений. «Он вел себя с народом так, будто жил в свободном государстве», — пишет Капитолин. «Он был исполнен человеколюбия, злых делал добрыми, а добрых совершенными». В последнем замечании тоже есть кое-что от правды, но мы обратим внимание только на выражение «свободное государство»: конечно, для тех времен не так, как теперь, понятно, какая реальность за ним стоит, но и нашего пренебрежения оно не заслуживает. Для римлян II века задача была не столько в том, чтобы приумножать, разнообразить и углублять свои свободы, сколько в том, чтобы сохранить и гарантировать уже имеющиеся — ту Libertas, которая склонялась все еще лишь в единственном числе.

Вчитаемся в каждое слово похвалы Марка Аврелия из «каталога благодарностей» своему другу детства («брату») Клавдию Северу: «Любовь к ближним, истине, справедливости; и что благодаря ему я узнал о Тразее, Гельвидии, Катоне, Дионе, Бруте и возымел представление о государстве, которым правят в духе равенства и равного права на речь, с законом, равным для всех, также о единодержавии, которое более всего почитает свободу подданных» (I, 14). Перечисленные имена — сенаторы-стоики, противостоявшие тиранам прошлого века. Многие из них погибли, и их почитали как мучеников республиканской идеи. Само ли собой разумелось, что найдется император, хранящий эти имена в самой глубине души как высочайшие примеры политиков? «Государство, которым правят в духе равенства и равного права на речь», то есть демократии, — красивая формула, даже слишком. Так и видишь ее выбитой где-нибудь на фронтоне Капитолия нашего времени. Еще чуть-чуть удачи — и она могла бы появиться и на римском Капитолии, но все равно нашлись бы иконоборцы, уничтожившие ее ради теократического государства, основанного на одних только обязанностях граждан. Следует ли отсюда, что Марк Аврелий был утопистом? Он сам себе утопий не позволял: пожалуй, в конце концов он и вовсе лишился иллюзий.

«Республики Платона не жди», — предупреждает он. Но для «демократического» государства «равное право на речь» и уважение к свободе подданных — совсем не утопия. При любом скептицизме мы имеем право поставить только один вопрос, а именно: в какой мере эти формулы во II веке были применимы к огромному неоднородному обществу, которое только еще шло к единству? И главное, имел ли Марк Аврелий в виду постепенно упразднить неравенство сословий и самые бесчеловечные установления общественного порядка?

На первый взгляд, те же события, которые еще до конца столетия поломали всю систему, заблокировали или затормозили этот опыт. На самом деле они даже ускорили или окольным путем ввели некоторые перемены к лучшему. Вскоре в Лионе у Септимия Севера родится сын Каракалла, который вдруг разом дарует римское гражданство всем свободным лицам мужского пола в Империи. Историки без конца спорят, что означал этот исторический акт непроходимого тупицы: демагогический расчет, приступ мистической лихорадки, фискальную уловку или административный восторг? В тот момент — все сразу. Но в более глубокой исторической перспективе здесь видится последнее перевоплощение гуманизма Антонинов. Всем известно, что политику Северов оформляли и двигали три бессмертных юриста: Папиниан, Павел и Ульпиан, а они были воспитаны в школе все тех же Гая и Сцеволы. Именно они настолько справедливо, насколько могли при тоталитарном режиме, создали кодекс законов юридического государства, основанного на равенстве прав, которое начала создавать предшествующая династия. Прогрессирующая анархия на их глазах опорочила их дело, а сами они заплатили жизнью за упорное стремление гуманизировать и гармонизировать гражданское право, но это уже другая история.

«Когда император не был занят войной, — сообщает Дион Кассий, — он занимался отправлением правосудия и наливал адвокатам клепсидру дополна, чтобы они могли произносить речи так долго, как считали нужным. Иногда он одиннадцать или двенадцать часов занимался одним делом, чтобы верно рассмотреть его». Эту черту связывают с природной дотошностью Марка Аврелия. Наверное, можно даже заподозрить, что он втайне любил следить за ораторскими распрями. Но прежде всего надо понять, что это была основная деталь механизма, регулировавшего римское общество, находившееся в поиске твердых основ для себя. И система Антонинов, как никакая другая в истории, по праву заслуживает почетное наименование «империи судей».

Мы и теперь каждый день можем наблюдать, как из малых споров происходят важные судебные решения: самые знаменитые постановления наших верховных судов обычно носят имена ничем не примечательных граждан, иски которых внезапно вскрывали показательные, общезначимые проблемы. Можно представить себе, что и в Риме апелляция к императору обладала двойной значимостью: освящала систему правосудия, зависевшую от принцепса (афинский гражданин, пострадавший от Герода Аттика, мог быть вызван на суд к самому императору), и в то же время фиксировала общие правила, связанные с частными делами. Плиний сохранил для нас соломоновы решения Траяна, разбиравшего на вилле в Центумцелле (может быть, под любимым дубом) мелкие имущественные тяжбы супругов. Как ни парадоксально, в Риме именно дурные императоры самоустранялись от исправления судейской должности. Тиберию легко было притворяться, будто он уважает независимость суда: он знал, что верховный сенатский суд поспешит предупредить его самое произвольное желание. Траян, Антонин, Марк Аврелий не заботились о разделении властей, и никто не требовал от них не вмешиваться в дела правосудия — как раз наоборот. «У Марка Аврелия, — пишет Капитолин, — было в обычае за все преступления смягчать наказания против определенных законом, хотя иногда к тем, кто совершил тяжкие преступления, он и не проявлял снисхождения. Уголовные дела, возбужденные против заслуженных лиц, он брал на собственное рассмотрение и проявлял при этом величайшее правосудие: часто он даже упрекал претора в чрезмерно скором следствии и велел пересмотреть дело. Он говорил, что человеческое достоинство требует, чтобы те, кто судит от имени народа, как следует выслушивали обвиняемых».

Биограф несколько раз возвращается к величайшей способности Марка Аврелия быть правосудным, как будто это и есть критерий его совершенства. Ничто другое не могло сделать образ государя таким популярным — тысячу лет спустя это вновь обнаружится при Святом Людовике. Первое должностное лицо должно быть гуманным к обвиняемым и строгим к своим подчиненным: «Он более всего боялся ненужных наказаний, но когда судья, даже претор, вел себя недостойно, имел обыкновение отстранять его от должности и передавать дела его коллегам». Но, признает Капитолин, он знал при этом границы: «Свои приговоры он выносил только на основании суждений префекта претория и под его ответственность. Чаще всего он советовался с юрисконсультом Сцеволой». В другом месте биограф замечает: «Многие дела, находившиеся в его компетенции, он передавал

сенату». Иногда здесь видят признаки разделения властей, но это было всего лишь делегированием полномочий.

Империя жаждала разумного правосудия. Знаменитое римское право слишком часто закосневало в своих формальностях или же дорого обходилось из-за жадности римлян — извечных сутяг. При Республике судебные залы были трибунами для ораторов, стремившихся к славе и власти. Правила игры существовали, но ставки на кону были подменены. Чего добивался Цицерон, защищая Милона и обвиняя Клодия: торжества закона Республики или благосклонности одного клана и разгрома другого? При Империи эта прихожая власти закрылась, но Тиберий, Клавдий, Нерон вновь открыли ее, превратив в преддверие смерти и предлог для конфискации крупных состояний. При Антониновом возрождении суды оказались затоплены частными тяжбами; сборники юрисконсультов, письма Плиния Младшего и Фронтона донесли до нас их ожесточение при довольно малой значимости. Но нам ли считать, что вопросы наследства, правоспособности замужних женщин, развода, опеки, усыновления не важны для правильного функционирования правового государства? Дело об ожерелье императорской тетки Матидии весьма показательно. Как мы видели, Фронтон возмущался щепетильностью Марка Аврелия, не решавшегося настоять на правах Фаустины на родовое имущество. Ведь в Риме состояние не создавалось из ничего, а переходило из рук в руки с естественной тенденцией к чрезмерной концентрации, а отсюда противоположная тенденция к насильственному или полудобровольному перераспределению: налогам на наследство, принудительному меценатству, завещаниям в пользу императора, а то и простой грубой конфискации. Все это давало адвокатам массу поводов манипулировать семейными делами, вмешиваться в споры при разводах и о наследстве, в управление опекой. Они получали весьма обширные привилегии, и поныне существующие у англосаксонских народов. Понятно, что такая профессия была распространенной и ее представители процветали. У Антонина был повод шутить, что «адвокатский потоп затопил весь Рим».

Люди за кулисами

Марк Аврелий отдохнул в Ланувии и вновь соприкоснулся с римской повседневностью, от которой было несколько отошел. На берегах Дуная и Нила его администрация могла действовать в полную мощь, но на берегах Тибра тем временем административная машина замедлила ход. Чрезвычайное

множество решений, дошедших до нас за подписью Марка Аврелия вместе с Коммодом после 177 года, заставляет полагать, что эти дела копились давно. Бассей Руф, над невежеством которого смеялись, но тем более уважали его таланты, умер при исполнении своих обязанностей. Его место занял начальник главной службы латинских дел Таррутений Патерн, а того в канцелярии сменил Тигидий Перенн. Это были всадники нового типа, предшественников которого мы почти не знаем: аппаратчики, позднее проявившие свое интриганство и неумеренные амбиции. Нельзя сказать, будто они проникли в высшие сферы без ведома императора. Он лично следил за всеми назначениями. «Он не легко верил рекомендациям, — пишет Капитолин, — и всегда сразу же сам проверял, соответствуют ли они действительности».

Но в этих людях — впрочем, хороших юристах — он ошибся, и ответственность должен разделить Клавдий Помпеян, без которого император ничего не решал. Влияние этого примечательного человека все росло и росло. Скульпторы, изображавшие его за плечом императора, знали, что он был вторым человеком в государстве. Императорским зятем он оставался чисто формально: Луцилла уже давно пустилась во все тяжкие. Коммод знал, что должен считаться с могущественным родичем, и, между прочим, так и не осмелился поднять на него руку. Почему сириец из Антиохии поднялся так высоко, что в конце концов был выдвинут в сенаторы Римской империи? Трудно понять эту породу людей, известную под общим именем «серых кардиналов»: они не подходят ни под одну из рубрик властных структур. Движет ли ими жажда тайной власти или неспособность действовать явно? Тайное злорадство, страсть к службе, неодолимая скромность? В данном случае таинственное сродство душ, видимо, объясняется тем, что два человека, одинаково видевшие свое призвание в заботе об общественных интересах, случайно встретившись, заключили нерушимый договор о дружбе. Такая встреча в истории Римской империи не была беспрецедентной. Мы достаточно знаем о братских союзах Августа с Агриппой, Траяна с Лицинием Сурой, чтобы понять и такой же союз Марка Аврелия с Помпеяном. Как видно, они постоянно сопутствовали высшей государственной должности: для равновесия системы требовалось неравное разделение почестей и обязанностей внутри негласного двоевластия. Надо бы еще объяснить, откуда взялась неколебимая верность этих теневых императоров, но зачем? Ведь они сами делали все, чтобы история о них не вспоминала.

Глава 10
НЕЯСНОСТИ (177 г. н. э.)

Убивают, терзают, травят проклятиями. Ну и что это для чистоты, рассудительности, здравости и справедливости мысли? Как если бы кто стоял у прозрачного, жажду утоляющего источника и начал его поносить. Уже и нельзя будет пить источаемую им влагу?

Марк Аврелий. «Размышления», VIII, 51

Мы граждане

Римляне думали, что император к ним вернулся, но они не знали, где обретается его душа. Сам он полагал так: он живет в двух пространствах — как Антонин в Риме, как человек в мире. «А значит, — заключает Марк Аврелий, — что этим городам на пользу, то только мне и благо». У этого универсализма есть план метафизический, превосходящий возможности любого человека, даже сильного мира сего, но если из него вытекает социальное учение, он получает серьезное практическое применение. «Размышления» — манифест унанимизма. В книге много раз видна одна и та же идея: единство мира и в связи с этим неразрывное единство человечества. Этот постулат — исходная точка, из которой по совершенно схоластической технике выводятся следствия: «Если духовное у нас общее, то и разум, которым мы умны, у нас общий. А раз так, то и тот разум общий, который велит делать что-либо или не делать; а раз так, то и закон общий; раз так, мы граждане; раз так, причастны некоей государственности; раз так, мир есть как бы город» (IV, 4). Стиль доказательства как будто из другой эпохи: он так и остался весьма эффективным. Можно в полной мере оценить мастерство Марка Аврелия, идущее прямо от Эпиктета и ничего не взявшее из пышного красноречия Фронтона. Связь мыслей стремительна; автор идет кратчайшим путем, перепрыгивает от слова к слову. Он прямо и настойчиво обращается к «человеку, поставленному на то, чтобы было через кого произойти общей пользе» (XI, 13). Выбора у него практически не остается: «При всяком

представлении о вреде применяй такое правило: если городу это не вредит, не вредит и мне» (V, 22). Лучше обратить это положение себе во благо: «Ищи радости и покоя единственно в том, чтобы от общественного деяния переходить к общественному деянию, памятуя о Боге» (VI, 7). А если удовольствия не хватает, можно вспомнить о выгоде: «Сделал я что-нибудь для общества — сам же и выгадал».

Но обратим внимание: речь здесь идет не только о нравственных правилах — наше социальное поведение прямо касается общественного порядка. Там, где не в силах убедить философ, возвышает голос император: «Если какое-нибудь твое деяние не соотнесено — непосредственно или отдаленно — с общественным назначением, то оно, значит, разрывает жизнь и не дает ей быть единой; оно мятежно, как тот из народа, кто, в меру своих сил, отступает от общего лада» (IX, 23). В другом месте он называет тех, кто удаляется от общества, отщепенцами и дезертирами. Если только представить себе, какой репрессивный арсенал Рим в любую минуту мог задействовать для поддержания порядка, сразу возникает вопрос, был ли Марк Аврелий готов считать обличаемое им поведение уголовно наказуемым. После Нервы законы Августа и Тиберия об «оскорблении величества» (имелось в виду величие римского народа, но, начиная с Тиберия, они использовались для сведения личных счетов) были забыты. Но в «Дигестах» Юстиниана есть такое неприятное уложение: «Тех, кто своими действиями возбуждают в малодушных суеверный ужас, божественный Марк Аврелий своим рескриптом повелел, если они из лиц почтенных, ссылать на острова». Хочется сказать: если это так, чего же тогда стоят призывы «Размышлений» к братству и терпимости? Неужели законодатель вошел в противоречие с моралистом?

Это вопрос весьма общего значения, и через полтора тысячелетия после Марка Аврелия в европейском обществе о нем говорили в тех же выражениях. Раскольники, «язвы общества», дезертиры, иначе говоря — поставленные вне закона, еретики и просто атеисты по-прежнему будут объектом систематической социальной хирургии. Даже от Антонина нельзя ожидать, чтобы он покончил со средствами самозащиты обществ, инстинктивно боявшихся смут и требовавших наказания смутьянов. В 177 году иллюстрацией тому стало дело лионских христиан. Марк Аврелий в связи с ним приобрел репутацию гонителя. Очистить его от этого нетрудно, но нельзя не признать, что в глубине души он чувствовал крайнюю вражду к этой несговорчивой секте.

Лион, 177 год

Драма развернулась в Лионе — столице Галлии, образцовом городе Империи. В 43 году до н. э. его основал помощник Цезаря Планк — сообразительный человек, угадавший стратегическое, торговое и политическое значение места у слияния Соны и Роны. Здесь сходилось несколько больших провинций, населенных примерно шестьюдесятью независимыми прежде племенами, покоренными Цезарем: Бельгийская, Лионская и Аквитанская Галлия, присоединившиеся к старой Нарбоннской. В Лионе стоял великолепный храм, возведенный Августом в Кондате, где галльский жрец приносил жертвы Риму и его императору, давшим мир беспамятному народу. О Верцингеториксе — преданном чести забияке — галлы уже не помнили. Они быстро приняли новшества римской цивилизации, сохраняя прежние превосходные ремесленные и земледельческие традиции. В целом они были лояльны Риму, где к ним очень хорошо относились. Сверх того, у Лиона были особые привилегии: там родился император Клавдий, который оказывал ему благодеяния. Вершина холма в городе была уже не военным лагерем, а увенчана белоснежным Капитолием; у его подножия, от берегов обеих рек до места их слияния, тянулись торговые кварталы. Отсюда члены могущественной корпорации лодочников везли товары, привезенные подчас с Востока, вверх по Роне и Соне до Рейна и Мозеля, где стояли всегда готовые к бою германские легионы, а также до Великобритании. А с товарами ехали, естественно, и купцы.

Купцы охотно селились близ речного порта с его складами. Составилась маленькая азиатская колония со своими нравами и обычаями, отличная и несколько отделенная от галло-римского населения, в руках которого находились все рычаги городской администрации. Провинция была так спокойна, что Рим держал в ней всего одну городскую когорту из тысячи человек. Правопорядок во всей Галлии обеспечивала местная милиция. Если бы возникли серьезные беспорядки, можно было бы тотчас вызвать легионы из Страсбурга, Бонна или из Испании. Понятно, до какой степени мифичен образ распятой и растоптанной завоевателями страны. Галлы со всем хорошо справлялись сами. Им так нравилось на родине, что они даже не считали нужным отправлять своих лучших представителей в Рим. Лион жил в материальном и интеллектуальном достатке. Правда, с некоторого времени в этом крупнейшем торговом центре Запада стали ощущаться последствия общего кризиса. Артерия Рейн — Рона уступила первенство дунайской. Общее недомогание, причины которого казались загадочными, поддерживалось и осложнениями после эпидемии, и первыми признаками

инфляции. Возникло социальное напряжение, и недовольство обратилось на иноземцев, особенно на одну категорию подозрительных мигрантов.

Их было всего несколько сотен, но вместе со своими рабами — чаще всего соотечественниками — они составляли очень спаянную и предприимчивую колонию ремесленников, торговцев и менял. Имена, которые они носили, выдают греческое или ближневосточное происхождение: Понтик, Аттал, Бландина, Библис. Возглавлял их духовный вождь, которого они называли епископом, — девяностолетний старец по имени Потин, в незапамятные уже времена приехавший из Малой Азии. Все происходило очень тихо, и лионцы далеко не сразу поняли, что приютили колонию христиан. Эти люди не желали смешиваться ни с иудеями, ни с эллинами, хотя говорили по-гречески. Не всегда было понятно их происхождение и общественное положение: одни были гражданами Смирны, другие «перегринами» (оседлыми иностранцами), некоторые — римскими гражданами. Эти последние были полноправны; права других категорий были ограниченны, а некоторые (рабы) вовсе не имели прав. Галло-римское население ставило в вину христианам как раз то, что они не делали различия между рабами и свободными, а друг друга называли братьями и сестрами — как будто они, среди множества прочих тайных пороков, имели наклонность к кровосмешению.

Порог терпимости

Уже несколько месяцев ходили толки: «Эти люди своим нечестием навлекают на нас небесный гнев. Они отказываются приносить жертвы нашим богам и даже изображению императора». Вскоре перед ними закрылись все двери, затем начались притеснения. Христиане всегда были несколько замкнуты, но отнюдь не антиобщественны. Наоборот: их можно было упрекать в чрезмерно усердной благотворительности и навязчивом прозелитизме. Они не имели права открыто исповедовать свою веру под угрозой привлечения к суду: христианская религия была официально объявлена незаконной. Но и специально их не разыскивали: со времен знаменитого предписания Траяна римское правосудие лишь регистрировало и расследовало серьезно мотивированные обвинения. При Антонинах можно говорить не о гонениях, а о местных инцидентах, провокациях, отдельных актах нетерпимости, жертвами которых всегда бывают организованные меньшинства. На стадии выдвижения обвинения римский юридический

формализм охранял их, но как только дело заводилось, защищаться становилось очень трудно: для этого требовалось представить доказательства своей невиновности. Как полагали римские судьи, не было ничего проще: следовало только отрицать свое христианство и сжечь горсть ладана на императорском алтаре. Но это было отступничество, за которое изгоняли из братской общины.

На Востоке — в Каппадокии, Сирии и Месопотамии, — где христианство было весьма активно и даже уже разделилось на соперничающие церкви, а то и ереси, инциденты случались нередко, и римлянам приходилось вмешиваться, чтобы навести порядок. Чтобы успокоить разъяренную толпу и избежать всеобщей расправы, чаще всего им было достаточно арестовать и судить самых приметных христиан. Так было в Смирне несколькими десятилетиями раньше: старый епископ Поликарп, которого считали учеником апостола Иоанна, был приговорен к сожжению на костре. Легенда о Поликарпе Смирнском, обойдя все Средиземноморье, по Роне дошла до Лиона, где остановилась первая христианская миссия. Ученик Поликарпа Ириней помогал Потину и потихоньку вел необычайно эффективную апостольскую деятельность. Его фундаментальный труд «Против ересей» укреплял шаткую еще христианскую доктрину. Ириней заслужил свое имя, означающее «мир», отстаивая единство Церкви под главенством римского епископа, с чем спорили восточные епископы. Тогда каждая община в принципе была независима от других, а Рим имел только моральное первенство.

Когда лионские римляне всерьез озаботились враждой с христианами, Ириней как раз был в Риме, где объяснял епископу Элевтерию (папой его станут называть лишь позднее), в каком состоянии была лионская община. Представляется, что извне ей серьезно угрожали суеверия народа, а изнутри — опасные мистические течения, пришедшие с Востока (точнее из Фригии), где новые пророки чрезмерно восхваляли мученичество. Как предполагают, в начале 177 года, когда события в Лионе обострились, Элевтерий задержал бесценного апологета у себя. Хроника событий известна нам из окружного послания, написанного тогда же и сохраненного Евсевием Кесарийским в «Церковной истории», которая донесла до нас хронологию пап до 300 года и бесценные подлинные документы. Высокопарное и торжественное послание подписали «служители Христовы, обитающие в Виенне и Лионе, обращающиеся к братьям в Азии и Фригии, имеющим ту же веру и надежду на спасение». Оно содержит весьма подробный отчет о «великом горе, случившемся здесь, и жестоком озлоблении язычников против святых. Нас не

только изгнали из домов, бань и общественных мест, но и запретили где бы то ни было появляться».

За таким карантином последовали аресты тех, кто не успел укрыться. Трибун римской когорты повел их на Форум. Там представители городской власти допросили обвиняемых и передали их на суд императорского легата. Поскольку в начале апреля легата не было в городе, допросы продолжались несколько недель. Христиан, которых было, вероятно, около пятидесяти человек, держали всех вместе в гиблых застенках, откуда выводили только на допросы и пытки, причем по дороге их била толпа. Вскоре в живых остались лишь немногие, и их физическая и нравственная стойкость не имела предела. Рассказ, сохранивший для нас их имена, обладает всеми чертами подлинности, а потому является не только памятником агиографии, но и ценным историческим документом. Из него известно, что Потина толпа прикончила 2 июня. Праздник солнцестояния 24 июня был отмечен казнью двух осужденных, Матура и Санкта, которые вели себя на арене как истинные «атлеты веры». Об их мучениях рассказано во всех подробностях — для того, конечно, чтобы подвигнуть новых мучеников. Римляне и не догадывались, что подобные зрелища не устрашали, а служили примером.

Диалог невозможен

Здесь случился процедурный сбой, который изменил масштаб всего дела. Одним из осужденных был грек из Азии по имени Аттал, немаловажное в городе лицо, который, как в последний момент выяснилось, оказался римским гражданином. Легату пришлось обратиться к императору: это было дело принципа и выходило за рамки его компетенции. Документы немедленно отправили в Рим, и Императорский совет рассмотрел их. «Император ответил, что некоторых следует подвергнуть пытке, но тех, кто будет отрицать вину, отпустить. Поскольку тогда начался большой местный праздник, весьма многолюдный, на который приезжали и из других стран, губернатор выставил блаженных перед судом напоказ для потехи народа. Итак, он вновь допросил их, и тем, кто обладал римским гражданством, велел отрубить голову, прочих же послал на растерзание зверям». Среди этих прочих была «немощная рабыня» — бессмертная Бландина (возможно, уроженка Бланда во Фригии). По всей видимости, Марк Аврелий просто велел легату держаться судебной процедуры, установленной Траяном. Она считалась достаточно толерантной, поскольку запрещала охоту на христиан

и предписывала наказывать — но тут уже в бесспорном порядке — лишь публичное и многократное исповедание веры.

При всем при том оказывается, что моралист, проповедовавший диалог и сострадание, ничего не сделал, чтобы смягчить бесчеловечное в своем автоматизме законодательство. Он мог бы — и христиане ждали этого от императора-философа — более снисходительно трактовать предписания своих предшественников, довольно расплывчатые, но имевшие либеральное направление. Почему он, изучая лионское дело, не вспомнил собственный совет: «Можешь — переучивай их, не можешь — помни, что на то и дана тебе благожелательность» (IX, 11)? Куда девалось его уважение к свободе мнений, так замечательно сформулированное в VI книге: «Все мы служим единому назначению, одни сознательно и последовательно, другие — не сознавая… Всякий здесь трудится по-своему, и с избытком — тот, кто сетует и пытается противостоять и уничтожать то, что сбывается, потому что и в таком нуждается мир. Ты уж пойми на будущее, с кем становишься в ряд» (VI, 42)? Чувствуется, что Марк Аврелий подчас увлекается игрой в отвлеченные благородные идеи. Он идет даже дальше христианских апологетов своего времени: те, обращаясь к нему, защищались от обвинения в желании что-то разрушить в этом мире. Они хотели только, чтобы их выслушали и обращались так же, как с прочими.

Но император явно ничего не хотел слышать от этих людей. Они не были приемлемыми собеседниками в умном разговоре. Он, несомненно, считал их уклонистами по религиозным убеждениям, добивавшимися для себя особого политического статуса. Если так, философ уступал место главе государства, который во имя принципов общественного устройства не признавал за ними права отделяться от него. Кстати, несколькими строчками ниже появляется другая максима, ограничивающая действие предыдущей: «Ты пытайся убедить их, но действуй хотя бы и против их воли, раз уж ведет тебя к этому рассуждение справедливости». Именно так и происходило с христианами: при Траяне, Адриане и Антонине судьи пытались довольно добросовестно рассуждать с ними и уж потом переходили к страшным крайностям. Хотелось бы быть уверенными, что судьи Марка Аврелия тоже соблюдали правила постепенности. Но при нем к христианам относились явно неблагожелательно. Мы знаем из документов того времени о предрассудках двух наставников Марка Аврелия — Рустика и Фронтона.

Рустик, будучи префектом Рима, вел процесс, который

философ-киник Крескент возбудил против апологета Юстина из Наплузы. Юстин — чрезвычайно культурный человек и очень сильный догматист — со всем пылом неофита вел полемику в кружках интеллектуалов и стал невыносим для своих соперников. Рустик, судивший его, не мог не знать о его достоинствах, но, по-видимому, провел допрос высокомерно и небрежно и после ритуального требования отречения сразу же осудил Юстина на казнь. Евсевий сохранил для нас весьма выразительный протокол этого допроса — правда, христианского происхождения. Что касается Фронтона, до нас дошел от него прискорбный текст: рассказ о христианских агапах, где вся символика причащения превращена в сцены людоедства и кровосмешения да к тому же еще и жертвоприношения младенцев. Марк Аврелий, несомненно, не принимал всерьез все эти фантасмагории старого учителя, но мог быть отравлен впечатлениями от таких рассказов. Смесь глубокого личного непонимания с общими предрассудками восстановила его против христиан и, кажется, только против них.

Между тем христиане продолжали обращаться к нему. Им нельзя было вменить ни малейшего кощунства, никакого неповиновения. До нас дошла большая апологетическая литература, которая свидетельствует, что сознательные и ответственные духовные лидеры христиан стремились к диалогу. Среди них Афинагор — автор «Прошения в защиту христиан», около 177 года адресованного «императорам Марку Аврелию Антонину и Аврелию Коммоду Армянским, Германским, Сарматским, а паче всего философским». В сочинении вначале так пламенно защищаются нравы христиан, что римлянам от требований совершенной чистоты не могло не стать не по себе. Далее читаем такое поразительное требование: «Египтяне поклоняются кошкам, змеям и псам, и всем этим верованиям вы даете свободу. О нас же, именуемых христианами, вы вовсе не имеете попечения. Вы дозволяете гнать нас и преследовать нас за одно имя. Ваши законы не велят наказывать других, обвиняемых в преступлении, если они не уличены. Итак мы просим исследовать жизнь тех из нас, которые предстают перед судом. Повелите устроить тщательное разыскание о наших нравах».

Дошла ли эта петиция до Марка Аврелия? Читал ли он хотя бы жалобу, отправленную ему на несколько лет раньше епископом Сард Мелитоном? Эта жалоба задает историкам серьезную проблему: «Невиданное дело: именем новых императорских указов благочестивые в Азии преследуются и истребляются. Если поистине это делается твоим повелением, это хорошо, ибо не может справедливый государь повелеть ничего несправедливого. Тогда мы согласны принять смерть как

заслуженную кару. Мы просим тебя только об одном: изучи сам дело тех, кого тебе объявили мятежниками, и соблаговоли рассудить, заслуживают ли они смерти или достойны жить в мире под покровительством твоих законов. Если же эти указы и варварские поступки не от тебя, мы умоляем тебя впредь не допускать прилюдного разбойничества». Хотя никаких других следов этих указов не обнаружено, над памятью Марка Аврелия тяготеет подозрение: не ухудшил ли он положение христиан?

Добрый гонитель

Цитированные тексты, а также другие, существовавшие в составе обильнейшей полуподпольной литературы, можно толковать двояко. Их следует понимать как честную и упорную, на грани вызова, попытку завязать прямой диалог с властью, которую считали особенно открытой. Но вот власть видела здесь только уловки бессовестных беззаконников, желающих заставить признать себя как какую-то представительную организацию. Император не готов слушать каких-то якобы философов или духовных лидеров, говорящих от имени новой, решительной, неисчислимой силы, в глазах же римских властей — сброда перевозбужденных ничтожеств. Чем больше они проявляют себя, тем больше вызывают подозрений, тем сильнее подчеркивают свою лояльность: Мелитон доходит до того, что желает вечного продолжения династии. Уже тогда он высказывает мысль, которая станет главенствующей в веках: процветание Империи волей Провидения связано с благоденствием Церкви. Ничто не могло покоробить Марка Аврелия больше, чем такая наглость. Афинагор смел сравнивать своего вечного и несотворенного Бога с божеством Платона и стоиков. Он уверял, будто христиане молятся о благополучном восшествии Коммода на престол — жалкое лицемерие! Другой апологет, Диогнет, предупреждал: чем больше мучеников среди христиан, тем больше христиан — недопустимая угроза!

Как раз для автора «Размышлений» это было весьма чувствительным пунктом. Добровольная смерть — одно из тех положений стоицизма, к которым он чаще всего возвращается. Перечисляя все способы прожить здесь добрую жизнь, он не забывает и последний — по своей воле уйти из жизни. «Дымно — так я уйду; экое дело, подумаешь» (V, 29). Может быть, поразительнее всего в произведении Марка Аврелия как раз эта обыденность смерти, от которой отшатывались самые выдающиеся умы. Да и почти весь стоицизм для западной культуры разве не сводится к образу смерти Сенеки? Чего стоят в

«Размышлениях» правила повседневной жизни рядом с потрясающей возможностью убежать от всего, всегда открытой для нашего выбора? «Ну, а если почувствуешь, что соскальзываешь и что не довольно в тебе сил, спокойно зайди в какой-нибудь закоулок, который тебе по силам, а то и совсем уйди из жизни — без гнева, просто, благородно и скромно, хоть одно это деяние совершив в жизни, чтобы вот так уйти» (X, 8).

Ясно, что главное в таком поступке — свободный выбор, естественность, скромность. Совсем не таковы самоубийство загнанного лицедея Нерона или смерть развратного Петрония по приказу того же Нерона, тем более — смерть, которой искали безумцы вроде некоего Перегрина, чью театральную гибель перед собравшейся в Олимпии толпой описал Лукиан Самосатский. А ведь этот Перегрин был связан с христианами. Он только и мог заставить говорить о себе, в назначенный час бросившись в костер. Может быть, эти люди, сами себя называющие учениками «распятого софиста», прекрасно знающие, что обрекают себя на позорную смерть, тоже на свой лад ищут ложной славы?[58] Тут Марк Аврелий, не удержавшись, раскрывает душу, не замечая, что тем самым выдает важную государственную тайну: «Какова душа, которая готова, как надо будет, отрешиться от тела, то есть либо угаснуть, либо рассеяться, либо пребыть. И чтобы готовность эта шла от собственного суждения, а не из голой воинственности (parataxis), как у христиан, — нет, обдуманно, строго, убедительно и для других, без театральности» (XI, 3).

Немногие тексты так часто цитировались и так дословно разбирались. Ключевое слово «parataxis» может толковаться по-разному. Первоначально оно означает «построение войска к бою», а в более широком смысле — «подготовка к испытанию». Иногда его переводят как «упорство», или «дух сопротивления», или «чистое упрямство», что лучше всего соответствует контексту, давая представление о враждебном, упорном и бессмысленном поведении. Именно такие мысли, естественно, приходили в голову римлянам, когда они видели невероятную способность христиан стойко переносить мучения. Гален констатировал ее, не объясняя. Явления такого рода часто замечались в связи с мистицизмом. Надо ли думать, что существуют специальные методы психологической подготовки к пыткам? Эта гипотеза не исключена для секты добровольных мучеников — «катафригийцев», один из проповедников которых был очень влиятелен в Лионе. Но имел ли Марк Аврелий в виду именно этот вид сопротивления боли? Точно одно: он не любит показного героизма простых людей, забывая, впрочем, что сам же он косвенно и есть постановщик спектакля, в котором они

участвуют. Словом, он не любит христиан.

И недаром. Люди, предлагавшие ему своего рода конкордат, были деятелями побеждающей революции. В ходившем тогда по рукам анонимном «Послании к Диогнету» император мог бы среди прочих замаскированных призывов к мятежу прочесть такие возмутительные слова: «У каждого из христиан есть земное отечество, но все они в нем странники. Они во всем принимают участие, как граждане, и всему чужды, как иноземцы. Всякая чужбина им родина и всякая родина — чужбина. Они живут на земле, но истинное их отечество на небе». Впрочем, Марк Аврелий не читал этого послания. Зато он, вероятно, был знаком с сочинением римлянина по имени Цельс, как раз тогда под названием «Истинное слово» опубликовавшего исследование о христианах Римской империи. Это сочинение, долго остававшееся в забвении или под спудом, великолепно раскрывает с социополитической точки зрения образ христианских общин в общественном мнении, а также их отношения с властью.

Цельс был язычник, железный рационалист, но с тем староримским конформизмом, который не давал ему сделаться таким же совершенным атеистом, как его близкий друг Лукиан Самосатский. У него не было блестящей иронии Лукиана, благодаря которой обличение Перегрина и поверивших ему христиан читается почти как отрывок из Вольтера. Цельс — суровый и строгий наблюдатель. Он увидел не просто маленькую группку ремесленников, школьных учителей, женщин и рабов, готовых принять любое бессмысленное пророчество, но и достаточно серьезных людей, подрывавших основания государства. Его пространное разыскание с первых до последних слов проникнуто искреннейшим негодованием: «Появилась новая порода людей, вчера только родившаяся, без рода и племени, соединившихся против всех божественных и гражданских установлений. Их преследует закон, повсюду они покрыты бесчестием, но похваляются всеобщей ненавистью. Это христиане». Далее Цельс перечисляет внутренние противоречия догматики, расхождения между разными церквями, взывает к разуму и, наконец, грозит: «Но если вы попытаетесь поколебать наши устои, принцепс покарает вас, и поделом. Ибо если все будут поступать так, как вы, ничто не предотвратит случая, при котором император останется брошен и один, а мир станет добычей самых грубых и диких варваров. Вскоре не останется и следа от нашей замечательной религии и навсегда невозможно станет торжество истинной мудрости».

Эта реакция честного легитимиста — самый сильный и показательный документ, дошедший с того времени, когда

невидимый, невозможный, неравный бой между Марком Аврелием и Элевферием, Рустиком и Юстином, Цельсом и Иренеем начал клониться в сторону неприметных людей. Вскоре самим христианам аргументация Цельса (современники не обратили на нее большого внимания; Марк Аврелий, очевидно, думал то же самое) показалась опасной — до того, что полвека спустя великий церковный апологет Ориген счел нужным пункт за пунктом опровергнуть ее, благодаря чему теперь и можно с ней познакомиться. Так постепенно для нас проясняется смутная прежде картина, как на глазах бессильного Марка Аврелия набирал силу христианский мир. Кажется, будто император не понимал, презирал, недооценивал это явление. На самом деле тайный инстинкт предупреждал его об опасности, а разум Цельса прозорливо анализировал эту опасность. Оба они проиграли бой, даже не начав его. Ну и что? Империя все равно осталась в выигрыше: ведь христиане вовсе не собирались разрушать ее.

Это свойственно человеку

В наше время о Марке Аврелии судят довольно строго, потому что слишком многого ожидают от мудрого и великодушного императора, который писал: «Полюби человеческую природу» (VII, 31) и «Любить и тех, кто промахнулся, — это свойственно человеку» (VII, 22); от императора, который был «любим всеми гражданами», «исполнен доброты ко всему человечеству», единодушно оплакан после смерти и почитаем всеми своими преемниками. Между тем в его правление не видно крупных социальных и гуманитарных сдвигов, которых следовало бы ожидать. Наоборот, положение «подлого народа» в отношении уголовных наказаний стало еще тяжелее, а религиозная терпимость едва ли не сделала шаг назад, не говоря уже об упорных войнах колониального типа и неспособности сдержать инфляцию. Где же нравственный прогресс, а вернее — чего мы не понимаем?

Ошибочна, скорее всего, наша точка зрения. Время Марка Аврелия благоволило к нему потому, что видело прежде всего его благие намерения, причем никто не представлял себе, как это можно за несколько лет что-то всерьез улучшить. Подданные императора не удивились бы и не огорчились бы, прочитав в «Размышлениях»: «На Платоново государство не надейся, довольствуйся, если самую малость продвинется. И когда хоть такое получится — за малое не почитай» (IX, 29). А малое продвижение в способе управления современники, конечно, видели: это от нас, осужденных читать лишь немногие

официальные документы, скрыты возможности его прагматизма. Арсенал законов во II веке не сильно изменился со времен Августа (да мы ведь и до сих пор живем по императорскому кодексу), но преторская юстиция делала его более гибким и гуманным, приспосабливая к духу царствования. Христиане считались преступниками, но их можно было не ловить. Прелюбодеяние подлежало суровому наказанию, но на него закрывали глаза. Раб считался вещью, но с ним полагалось хорошо обращаться.

Марк Аврелий не уничтожил рабства; этот институт даже в Европе существовал еще много веков. Он был вполне законным, но кое в чьих глазах уже не таким легитимным. Мы ведь тоже поневоле, в темных областях бессознательного носим в себе формы отжившего устройства, сомнительные обычаи, анахронические представления и не можем отрешиться от них, не повредив собственного существа. Рабство морально смущало многих римлян, но его уничтожение нарушило бы равновесие в обществе, и никто в нем не был заинтересован. Условия повседневного общежития, перспектива освобождения делали рабскую жизнь, особенно в городе, сносной, и призрак Спартака уже не преследовал умы.

При всем том часто жалеют, что у Марка Аврелия нет фразы, похожей на Сенеку: «Они рабы? Нет, люди». Но в «Дигестах» сохранено семьдесят текстов его времени, регулирующих положение раба в доме хозяина и дающих отпущенникам гарантии от всяких попыток оспорить их новый статус. Гай в «Институциях» прямо пишет: «В наши дни ни римским гражданам, ни кому другому не дозволено без меры и уважительной причины свирепствовать против своих рабов. Излишняя суровость господ к рабам запрещена императорской конституцией». Кажется, ясно? Нет, не совсем: ведь никакой юридический или литературный текст не даст представления о реальном разнообразии положения рабов. Здесь большую роль играло везение, но все большую со временем — также и способности. У секретаря Плиния Младшего, которого господин посылал в Египет лечить горло, и у человека, привязанного к мельничному колесу, об участи которого жалел Апулеев осел, по закону был один статус. Первый по завещанию хозяина, несомненно, вскоре получил свободу и стал комедиантом, второй выхаркал разрушенные легкие в «эргастуле» какого-то большого поместья. В принципе Адриан велел проверять и очищать эти частные каторжные тюрьмы, но никто не знал, что на самом деле творилось в деревенской глуши. Если верить Фенелону, там и пятнадцать столетий спустя люди жили подобно зверям.

При Антонинах отпуск на волю вошел в моду, так что пришлось даже ввести квоту на коллективные освобождения. За этими показными жестами нередко видят корыстный расчет: избавиться от стареющих рабов, обеспечить себе доходную клиентелу, получить подставных лиц для различных сделок. Проще представить себе, что простая человечность соединялась с сознанием факта, что свободный человек лучше работает и менее опасен. Давно прошли времена, когда, если верить Сенеке, сенат отклонил предложение одеть всех римских рабов в униформу (ведь тогда они сразу поняли бы, как их в Риме много и как они необходимы). Их стало меньше, причем качество новых рабов — хуже: ведь теперь не было возможности порабощать население стран древней культуры. Даже странно, откуда во II веке взялось столько якобы греческих рабов; очевидно, у многих из них греческим было только имя, данное им из снобизма.

Ускорило ли христианство этот процесс, боролось ли там, где проявлялось его влияние, за уничтожение рабства? Таких признаков не видно, и это доказывает, что умы не были готовы к подобной общественной перемене. Верные держались совета апостола Павла: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но, если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Но призывая мириться со своей участью, общины взамен давали братство — рычаг христианского движения. Весть о надежде действенно и явственно воплощалась уже в этом мире; прежде этого никогда не бывало, по крайней мере не было такого глобального учения и такого основания для нового духовного общества, открытого для всех без исключения. Цельс и Лукиан были правы: ряды христиан пополнялись главным образом из числа бедных и отверженных, но те, кого они имели в виду, принадлежали к числу не столько рабов, сколько к сословию подонков римского общества: ремесленников, подмастерьев, бедных учителей, а главным образом — к классу структурных безработных, называвшемуся «фрументарный плебс». В Риме это были двести тысяч граждан, от века живших только за счет «аннон» — раздач зерна и масла от специального ведомства, министерства продовольствия и социального обеспечения. Так что лучше было быть рабом в богатом доме, чем бедным гражданином. Вот почему нам не следует преувеличивать проблему рабства и возмущаться, почему Марк Аврелий был безразличен к такой чрезвычайной несправедливости. У христиан это было тоже не главное оружие.

Новая религия явно не конкурировала с аристократическим стоицизмом, зато ее путь пролегал по тропам, уже сильно истоптанным культами, связанными с мистериями и всякого рода

колдунами: для обездоленных те и другие были весьма привлекательны. Изида из Египта и Кибела из Малой Азии давно переплыли море и обещанием вечной жизни завоевали толпу, хотя старые латиняне поначалу им сопротивлялись. Официальная религия даже для вида не пыталась изобразить синкретизм. Экзотические культы с их богатыми храмами и жрецами добились признания ценой невмешательства в политические дела. В сущности государство требовало от них даже больше: беспорочного легитимизма и строжайшего соблюдения порядка. Соглашение соблюдалось так строго, что сам Антонин, как мы видели, был причастен культу Кибелы и тавроболов. Этот культ также поднялся вверх по Роне и воцарился в Лионе. Его жрецы и адепты не стояли в стороне от манифестаций против христиан, вербовавших сторонников среди тех же иммигрантов, лавочников, докеров, рабов.

Улей и пчела

Была еще одна форма организованной взаимопомощи, которая позволяла терпеть нужду и давала надежду: похоронные коллегии. Эти официально дозволенные учреждения, несомненно, играли в римском обществе огромную стабилизирующую роль. Эти коллегии — частные кассы взаимопомощи рабов и подлого народа, чтобы обеспечить себе достойные похороны. Поодиночке эти люди могли рассчитывать только на общую могилу. Но вера в загробную жизнь, воскресение или переселение душ требовала ритуального погребения и хоть каких-нибудь поминок. Подданным Марка Аврелия, в отличие от него, не было дела, что земля может не вместить тела всех умерших, а воздух — души (IV, 21). Они не собирались «стать снова атомами», как рисовали им перспективы стоики, или возродиться в виде животных, как обещали пифагорейцы. Они регулярно собирались на дружеские трапезы, с тем чтобы коллеги взяли на себя похоронные расходы, если семья этого не сможет. Существование таких ассоциаций, уставы которых утверждались и, несомненно, негласно контролировались начальством, доказывает, что христианство не порывало, а совпадало по фазе с состоянием общества: малые общины верных составлялись на основе похоронных коллегий. Уставные трапезы коллегий маскировали агапы и евхаристические обряды незаконной религии.

Таким образом, хлебосольство — одно из ключевых средств общественного единства в Империи II века. Наряду со стремительным распространением религий, угрожающих традиционным культам и даже единству новой Церкви,

развивается система ассоциаций. Ее можно принять за то же явление, что и возникновение профессиональных корпораций, например лодочников и «негоциаторов» в Лионе. Но скорее перед нами форма взаимопомощи, отвечающая, как и в наши дни, человеческой потребности в солидарности. Марк Аврелий не стал бы, подобно Траяну, недовольно глядеть на коллегию пожарных в Вифинии. Он не видел в прозрачных сообществах, находившихся под патронатом местных властей, угрозы общему порядку — как раз наоборот. По-настоящему беспокоили его только тайные происки не выходивших на свет христиан.

И никак нельзя упрекнуть его в недостаточном внимании к проблемам братства и солидарности. «Люди рождены друг для друга. Значит, переучивай или поддерживай»[59] (VIII, 59). Он и пытается переучивать. Выше мы читали, что Марк Аврелий считает тех, кто отделяет себя от общего зрелища и составляет свою отдельную компанию, дезертирами, предателями, мятежниками, язвой общества. Как же он представляет себе идеальное государство? Как пчелиный улей. «Что улью не полезно, то пчеле не на пользу» (VI, 54). Для тех, кого покоробит это сравнение — элементарный символ коллективистского общества, у него есть более тонкое выражение: «Что не вредно городу, не вредит и гражданину» (V, 22). Но принцип один и тот же: добровольное рабство. Не может не тревожить, как настойчиво он говорит о подчинении части целому. Так что не стоит жалеть, что он отказался от государства Платона — оно ведь тоже очевидно коллективистично. По словам Капитолина, «он часто повторял суждение Платона, что государства процветали бы, если бы ими правили философы или цари занимались бы философией». Так и видишь, как он наставительно произносит эту прекрасную фразу, в которую больше сам не верит. В нем государственный деятель уже давно разошелся с философом.

Постылые зрелища

Еще один камень преткновения в наших глазах — варварство цирковых представлений. Память о гладиаторских играх лежит тяжким бременем на римской цивилизации, которая очень долго — до V века — не могла от них избавиться. Тускнеет из-за этого и образ Марка Аврелия; от него ждали бы больше, чем вот это слабое замечание: «Как претят тебе все одни и те же картины амфитеатра и других мест в том же роде, на однообразие которых несносно глядеть, точно так же и в отношении жизни в целом прочувствуй…» (VI, 46). Отсюда можно сделать вывод, что для

него смертельные игрища — житейское дело. На нашем языке мы бы сказали, что он считал бои на арене «социальным фактом». Конечно, и нам надоело бы сто раз заходить в темную комнату, чтобы увидать все один и тот же блокбастер. Сравнение, конечно, законное, но оно приводит нас к парадоксальному предположению: может быть, мы придумываем небылицы о древнем мире, которому приписываем современные чувства? Может быть, римляне глядели на них просто, а наш якобы цивилизованный взгляд привносит двойственность? Марк Аврелий уж никак не был варваром, но и для него определенная форма регулярного убийства была не чудовищной, а только однообразной. Так что он не поможет нам раскрыть эту тайну.

Вправду ли мы неспособны поставить себя на место образованного римлянина — скажем, всадника, устроившегося на своих подушках в третьем ярусе амфитеатра, и взглянуть на арену его глазами? Разделим мы его возбуждение и спортивный азарт при гладиаторских боях или все-таки убережемся от инстинктивного ужаса и нездорового очарования, которое вызывают в нас даже вымышленные реконструкции этих боев? Если такая постановка вопроса кажется надуманной, обратимся к нашим современникам — тем, кто всей душой принимает мерзости чемпионатов по боксу или боя быков, оценивает технику участников, болеет за них, делает ставки. Тогда мы сможем вернуться на две тысячи лет назад: разница между эпохами проявится лишь в степени.

До какой степени доходило гладиаторство при Марке Аврелии, можно догадываться только на основе массы фрагментарных указаний, не дающих оснований для надежной оценки. Перечень монументальных амфитеатров, разбросанных по всей Империи (известно семьдесят настоящих Колизеев и много сотен более примитивных арен), внушают мысль о мощнейшей индустрии зрелищ. В Риме этой индустрией занималась императорская администрация: только она могла взять на себя связанные с ней обязанности и обеспечить надзор. Кроме того, после Августа такой инструмент завоевания популярности нельзя было оставлять частным лицам, хотя императоры от своего имени перекладывали издержки на высших должностных лиц, имевших честь и обязанность устраивать игры народу при вступлении в должность. В провинциях она держалась тщеславием и честолюбием местных властей, которые несли расходы на пышные зрелища ради славы Империи, не рискуя затмить императора. В конечном счете выгода от всей системы доставалась профессиональным устроителям зрелищ (ланистам). Это были вольноотпущенники, чрезвычайно могущественные и

вместе с тем отъявленные мерзавцы.

Все, связанное с этим ремеслом смерти, было двойственным: священным и гадким, высоким и презренным. Гладиаторами обычно были рабы, приговоренные к смерти или военнопленные. Но эти подонки общества были наделены сверхчеловеческой судьбой. Изначально погибшие в сражениях приносились в жертву мертвым: их кровь ублажала покойников. Долго сохранялся обычай устраивать надгробные игры, но уже при Цезаре это был только предлог для зрелища. Вместо гробницы действие могло происходить в любом месте — общественном (Форум) или частном (столовая Калигулы). Но с тех пор как в 20 году до н. э. друг Августа Тавр устроил в Риме настоящую арену — два театра лицом друг к другу, они и стали обычным местом игр. То здание, как и наши цирки, было деревянным, но после нескольких катастрофических обвалов трибун, при самом страшном из которых — в Фиденах близ Рима в 27 году н. э. — насчитывалось пятьдесят тысяч пострадавших, чаще стали строить каменные. Мы знаем обо всех их утонченных украшениях: огромных полотняных кулисах, оркестрах и гидравлических органах, цветном песке и разливавшихся благовониях.

В потоках крови, орошавших этот песок, из-за которых римские арены для нас прокляты, вскоре не осталось ничего сакрального. Они утоляли лишь человеческую жажду зрелищ. Правда, в Риме нередки были пережитки древних обрядов, в том числе человеческих жертвоприношений, несколькими столетиями раньше приносившихся в храмах. Но постепенно эти обряды превратились в чистые символы, суеверия или поводы для праздников. При Марке Аврелии в Риме насчитывалось сто тридцать пять праздничных дней в году. Их надо было устроить так, чтобы заполнить досуг народа. Отсюда потрясающая активность департамента зрелищ: парады сенаторских детей на Марсовом поле; спортивные и воинские упражнения для детей всадников; процессии жрецов Изиды и Кибелы в ярких одеждах, при звуках священной музыки занимавшихся самобичеванием или самоистязанием. В одеонах проходят разнообразные театральные представления, концерты, с участием хоров мальчиков и девочек, литературные чтения; в театрах классические пьесы — греческие или латинские трагедии и комедии — перемежались народными фарсами (мимами); на главных ипподромах — Фламиниевом и Большом — скачки. Поразительные представления устраивались в самом Колизее: выступления ученых зверей, большие охоты, сражения людей со зверями и другими людьми, а иногда даже морские сражения на арене, превращенной в бассейн.

Но в памяти веков с пресловутыми «зрелищами» остались связаны только бои гладиаторов и расправы над христианами, которых бросали хищным зверям. И в современниках, несомненно, эти кровавые зрелища тоже вызывали самые сильные и волнующие чувства. Когда секутор встречался с ретиарием и на кону была жизнь, это возбуждало сильнее всего, как впоследствии возбуждали турниры, Божьи суды и дуэли со смертельным исходом, которые в наш век с таким трудом удалось запретить. Когда христиан сжигали живьем или отдавали на растерзание зверям, публика видела в них осужденных преступников, но притом особого рода — страшных людей, не признававших общего порядка, презиравших мучения, искавших смерти. Понадобится еще много веков, чтобы положить конец таким аутодафе. Так что обвинение в бесчеловечности, вечно выдвигаемое против Рима и Марка Аврелия в том числе, придется предъявить и самой что ни на есть поздней Античности — Новому времени.

Доля кровавых зрелищ на римских играх II века была, несомненно, не преобладающей: как мы увидим дальше, человеческого материала для них становилось все меньше. По-видимому, в это время гораздо больше ходили в цирки, где устраивались конские бега и гонки колесниц, чем на арены. У нас есть множество свидетельств о страсти римлян к возницам, конюшням (народ был за Зеленых, аристократия за Синих), огромных тотализаторах, открытых даже по ночам. Мы видели, как Луций Вер обожал своего скакуна Птаху; теперь Коммод тайком начал карьеру возницы. Отец Коммода скучал и на скачках, жаловал этот вид спорта не больше гладиаторства. Говорит ли это, что у него, как и у других, не было аллергии на кровь?

Если от природы и была, жизнь должна была его приучить. На барельефах мы видим, как он чинно возглавляет жертвоприношения животных и казни вероломных германских вождей. Он ничего не говорит нам ни о какой-то особой привычке к жестоким обязанностям своего положения, ни о каких-то попытках сделать их гуманнее. Лишь через несколько веков Ксифилин, сокращая историю Диона Кассия, донес до нас необычную подробность: «Этот император был так далек от жажды кровопролития, что в его присутствии гладиаторы сражались только тупым оружием». Этот вид боев, известный под названием lusio, обычно служил только для разогрева в начале представлений. В нем было много акробатики и гладиаторы показывали все свое искусство, так что когда распорядитель зрелищ махал белым платком к началу, публика уже была

доведена до экстаза. Если Ксифилин говорит правду, понятно, что Марка Аврелия не жаловали в Колизее. Для самих гладиаторов отказ от риска был обидой: ведь так они не получали ни славы, ни наград, ни вольной.

Идущие на смерть

Перед нами загадка: чем руководствовались люди, осужденные на такое занятие, когда у них не оставалось и десяти процентов шансов на жизнь, или порой никаких, но часто проявлявшие поразительную боевитость и чувство чести. Мы не можем это понять, потому что мы не знаем, кем эти люди были прежде. Говорят, что это были преступники; арена давала им отсрочку, и они предпочитали случайность каторге в рудниках. Военнопленные часто происходили из воинственных племен, где фехтование считалось благородным занятием. Римские граждане — добровольцы (а такие случаи встречались нередко) надеялись избавиться от скуки или нужды, дать волю своей агрессивности. В то время общество производило таких людей десятками тысяч. Ланистам не составляло труда завербовать добровольцев. Гораздо труднее было их обучить.

За редкими исключениями, на арену не выпускали физически и морально неготовых гладиаторов. Такой неопытный боец испортил бы зрелище и опозорил организаторов. Год или два его учили в казарме, где нещадно муштровали и превосходно кормили по специальному рациону под наблюдением аттестованных врачей. Явившись перед публикой в великолепных доспехах, впервые получив стальной меч, о котором боец мечтал два года, он был уже не приговоренным к казни, а претендентом на геройскую славу, готовым рисковать жизнью на глазах у восьмидесяти тысяч зрителей, громко вопящих в его поддержку или наоборот — смотря по тому, в какой школе он был подготовлен. Оставалось два выбора: убивать или безропотно дать убить себя, да и то его подгоняли раскаленным железом, не давая пассивно подставиться противнику. Впрочем, противнику честь не позволила бы прикончить сдавшегося без боя.

Такова классическая схема собственно гладиаторской карьеры, которую редко завершали, оставшись в живых: ради славы и больших наград победители добровольно оставались, так сказать, на сверхсрочную службу. Гораздо менее ясна картина командных боев, на которые выпускали наемных гладиаторов. Такие примеры, как сражения иудейских пленников, которые по приказу добрейшего Тита должны были десятками тысяч убивать друг друга, и даков, украсивших триумф Траяна, если историки

говорят о них правду, не укладываются в нашем сознании. Впрочем, Траян вернул некоторых из бойцов домой. После него военнопленных стало слишком мало для боев такого рода: Марку Аврелию пришлось, наоборот, мобилизовать гладиаторов для войны с германцами. Бойцы стали цениться выше; ланисты подняли на них цены.

Сказалась ли дороговизна боев на прочности института, который по римскому образцу, только что рассмотренному нами, сотнями тиражировался в городах, наперебой, подобно современным спортивным клубам, повышающим цены, чтобы купить лучших бойцов? Настал момент, когда городские власти уже не могли справиться со своими меценатскими обязанностями, и галлы отправили одного соотечественника, члена Римского сената, с жалобой на невероятную дороговизну гладиаторов. Это случилось в 177 году. Марк Аврелий, который как раз тогда приводил в порядок бюджет, прислушался к провинциалам и утвердил сенатус-консульт «De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis» — максимальной цене на гладиаторов разных категорий. Этот текст, про который современные историки говорят много разного, интересует нас прежде всего тем, что его нечаянным следствием стала драма лионских христиан: казнь Аттала, Матура и Бландины.

Дело в том, что галлы, не везде отказавшиеся от обычая человеческих жертвоприношений, часть осужденных на смерть оставляли для священных игр. Сенатус-консульт Марка Аврелия, очевидно, закрыл для лионцев рынок профессиональных гладиаторов (ланисты не желали уступать их по дешевке), и для выхода на арену на празднике Трех галльских провинций в августе 177 года оставались только осужденные. Осуждение христиан пришлось очень кстати. Можно даже предположить, что его специально подстроили лионские эдилы, чтобы выйти из положения. Капитолин пишет: «Марк Аврелий разными способами делал более кроткими гладиаторские бои». Но при этом надо понимать: тем самым император вольно или невольно переключал их бесчеловечность на более слабых. Благодарность галлов, которая до нас дошла, свидетельствует, что введение потолка цен пришлось им политически и экономически кстати, а ланисты тоже остались в барыше. Они не стали платить налоги за поставку осужденных — таковыми в данном случае оказались христиане.

В общем, нам, отравленным мощнейшей христианской реакцией и воспитанным на многовековом стремлении европейского общества к гуманности, трудно представить себя римлянами — любителями цирковых зрелищ. У блаженного

Августина есть прекрасный рассказ о том, как один его друг вернулся в Рим с твердым намерением не дать себя соблазнить проклятыми игрищами. Но приятели силой затащили его туда. Тогда он закрыл глаза. «О, если бы он заткнул и уши!.. Он открыл глаза… Как только он увидел эту кровь, он упился свирепостью… Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой, он опережал их и влек за собой других»[60]. Был ли Марк Аврелий выше риска такой заразы, стоял ли в стороне? Он мог подозревать, что Коммод уже смертельно ранен жаждой насилия, которое завораживало не только простолюдинов. «Некий Ветур, о котором шла дурная слава, — пишет Капитолин, — однажды попросил у Марка Аврелия должности. Тот просил его сначала очиститься в общем мнении, но Ветур возразил, что видит на сенаторских скамьях многих из тех, с кем сражался на арене. Император с терпением снес этот ответ», — замечает автор. Иначе говоря, он взял свои слова назад: ведь любители сражений были повсюду. Коммод, как рассказывают, сражался перед зрителями девятьсот раз — конечно, тупым оружием. Но мечи, пронзавшие сотни тысяч гладиаторов вплоть до 410 года, были заточены хорошо. Будучи главным лицом на играх, император наверняка в этом убеждался.

Глава 11
СОЛНЦЕ ЗАХОДИТ НА ЗАПАДЕ (178–180 гг. н. э.)

Если принять во внимание, что за пятьдесят восемь лет, десять месяцев и двадцать дней своей жизни он ни разу не проявил неровного расположения или непостоянства в образе жизни…

Дион Кассий

Он обладал такой ровностью духа, что никто никогда не видел, чтобы радость или печаль изменили черты его лица.

Капитолин

«Поспешай к своему назначению»

«После смерти Фаустины Фабия приложила все усилия, чтобы выйти замуж за Марка Аврелия, но он, не желая оставлять с мачехой такое количество детей, взял в наложницы дочь приказчика Фаустины».

Мы познакомились с Цейонией Фабией, дочерью Цезаря Аврелия Цейония Коммода и старшей сестрой молодого Луция, когда Адриан, торопясь назначить наследников, обручил ее с Марком, а Фаустину с Луцием. Оба союза получались неравными: невесты были старше женихов. Вскоре Антонин восстановил нормальный порядок в пользу своей дочери, и Цейония Фабия потеряла надежду стать императрицей. В утешение ее выдали за консула Плавтия Квинтилла, потомка блестящей фамилии. Их сын, носивший то же имя, женился на Фадилле; мы видели, как он вместе с Коммодом поднимался на Капитолий 1 января 177 года. Овдовев, Фабия питала планы вернуть себе первого жениха и титул Августы. Клан Цейониев, фаворитов Адриана, отвергнутых судьбой, думал, что берет реванш.

Несомненно, эта попытка — не плод воображения Капитолина. Матримониальная стратегия аристократов не отступала ни перед чем. Среди предков Фабии мы встречаем и

других великих охотниц за женихами, прибиравших к рукам богатства и титулы. Конечно, эти женщины чем-то умели соблазнить. Кроме того, Фабию вместе с братом обвиняют в темных интригах с целью устранения Марка Аврелия. Как бы то ни было, ему пришлось придумывать предлог, чтобы отклонить предложение упрямой вдовы, и этот предлог нельзя не счесть вполне уважительным. Луцилла не вынесла бы, чтобы бывшая сноха встала выше ее, а на горизонте уже виднелась новая Августа, и Коммод не мог согласиться, чтобы его зять Квинтилл укрепил связи с императорским домом. Марку Аврелию хватало благоразумия не впутывать династию в такие взрывоопасные браки.

В то же время он чувствовал, что для нового опыта брака он сам слишком стар. В это самое время он писал: «Брось книги, не дергайся — не дано. Нет; как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков… Ты уже стар» (II, 2). Такая усталость, такое отвращение от жизни в пятидесятипятилетнем человеке — важные знаки; они выделяются на фоне депрессивных симптомов, часто наблюдающихся в этом возрасте. Их следует толковать как примирение со смертью, а может быть, и призывание смерти. Они выражены слишком сильно, чтобы здесь можно было видеть просто стилистическую фигуру моралиста. Они повторяются как бы рефлекторно, то обличительно, то отстраненно. «Глумись, глумись над собой, душа, только знай, у тебя уж не будет случая почтить себя, потому что жизнь коротка. Та, что у тебя, почти уже пройдена, и ты не почтишь себя, ибо в душе других отыскиваешь[61] благую свою участь» (II, 6). Слыхан ли более отчаянный крик человека, обнаружившего, что время обратиться к себе иссякло, что он уже не может отделить себя от своих ближних? Его одолевает нетерпение: «Не блуждай больше; не будешь ты читать свои заметки… Так поспешай же к своему назначению» (III, 14).

Усталость или, напротив, необычайный подъем сознания привели императора к следующему проблеску прозорливости — возможно, величайшему из уроков, какие нам дал стоицизм. «Значит, должно нам спешить не оттого только, что смерть становится ближе, но и оттого, что понимание вещей и сознание прекращаются еще раньше» (III, 1). Для высокой римской традиции желать смерти или даже добровольно уйти из жизни, когда перестал справляться со своим умственным и физическим состоянием, — долг достойного человека. Марк Аврелий прибавляет к этому еще нюанс, не передаваемый словами: «Нет такого счастливца, чтобы по смерти его не стояли рядом люди,

которым нравится случившаяся беда. Был он положителен, мудр — так разве не найдется кто-нибудь, кто про себя скажет: „Наконец отдохну от этого воспитателя. Он, правда, никому не досаждал, но я-то чувствовал, что втайне он нас осуждает“» (X, 36). Красноречивое признание.

Ни в одном другом месте Марк Аврелий не выражал с такой кротостью горькую мысль, что никого не заставил понять и полюбить себя — даже близких. Выслушаем его исповедь до конца: «Ты, как будешь умирать, помысли об этом; легче будет уйти, рассуждая так: ухожу из жизни, в которой мои же сотоварищи, ради которых я столько боролся, молился, мучился, и те хотят, чтобы я ушел, надеясь, верно, и в этом найти себе какое-нибудь удобство» (Там же). Соблазнительно подставить под эти признания какие-нибудь имена, но мы ограничимся и тем, что подглядели такой опыт умирающего монарха. Может быть, он слишком долго прожил, даже в глазах самых верных ему, может быть, был недостаточно терпим к новому поколению, может быть, его бранят за нелюбовь к странствиям и упорное желание жить вдали от Рима. Он чувствует себя непонятым. Ясно, что он отжил, устал от ссор в его собственной семье. «А теперь, ты видишь, какой утомительный разлад в этой жизни. Только и скажешь: приди-ка скорее, смерть, чтобы мне как-нибудь и самому-то себя не забыть» (IX, 3).

Воспитатель он или кто другой, но представляет нам в своих «Размышлениях» не уроки риторики, а потрясающий очерк скрытой стороны власти. Кто бы вообразил, что мудрый император с трудом переносил старение, постепенно уходил в душевное одиночество и отвращение от жизни, если бы сам он в этом не признался? Вполне вероятно, что измена Кассия, другие измены, с ней связанные, слухи вокруг нее поколебали его природную доверчивость, но не возбудили мстительности, как обычно случалось с цезарями. Из всех из них только у Марка Аврелия покушение на всемогущество привело к размышлению, а не к бешенству. Может быть, обращение «приди-ка скорее, смерть» — чистая лирика, но император не испугается, подобно лесорубу из басни, когда его вскоре поймают на слове. Он действительно ищет дверь для достойного ухода из слишком рано ослабевшей жизни. Он чувствует, что время его, как говорится, прошло. И он призывает себя предупредить смерть: «Сел, поплыл, приехал, вылезай» (III, 3).

Наверное, не случайно, что «Размышления» заканчиваются поразительно прозорливым диалогом. Автор оставляет нас восхищенными его писательским талантом: «Человек! Ты был гражданин этого великого града. Неужели небезразлично тебе,

пять лет или три года? Ведь повиновение законам равно для всех. Что же ужасного в том, если из Града высылает тебя не тиран и не судья неправедный, а та самая природа, которая тебя в нем поселила? Так претор отпускает со сцены принятого им актера. „Но ведь я же провел не пять действий, а только три“. — Вполне правильно. Но в жизни три действия — это вся пьеса. Ибо конец возвещается тем, кто был некогда виновником возникновения жизни, а теперь является виновником ее прекращения. Ты же ни при чем, как в том, так и в другом. Уйди же из жизни, сохраняя благожелательность, как благожелателен и тот, кто тебя отпускает» (XII, 36)[62]. И в самом деле, Марк Аврелий играл только в третьем акте, и до трагической развязки не дошло. Император знал, что ему надо еще вернуться на Дунай и закончить там свое дело. Но дальше он уже не пойдет: не осталось ни сил, ни желания.

«Погасить желание»

По всем изложенным резонам понятно, почему император не долго думал насчет Фабии. Но зачем он завел любовницу? Удивительно, что человек, настолько уставший морально и, очевидно, физически, поставивший себе за правило «стереть представление; устремление остановить; погасить желание; ведущее замкнуть в себе» (IX, 7), тотчас после смерти жены, с которой, впрочем, наверное, давно не был близок, кладет к себе в постель дочь ее слуги. Мы не имеем никаких сведений об этой девушке, которая, как и ее отец — мелкий придворный служащий — вероятно, считалась вольноотпущенницей. Ее не сравнить с наложницей Антонина Галерией Лисистратой, которая быстро заняла в жизни этого императора слишком большое, на взгляд некоторых, место (в частности протежировала назначение префекта претория). Императорская наложница не играла роли в придворном этикете, не участвовала в публичных мероприятиях, но все же, как только освобождалось место императрицы, обладала признанным положением. Мы уже говорили о важности царствующей четы в образном строе имперской мистики. Почившая императрица становилась «божественной» и вездесущей. Ее память во славу овдовевшему супругу возвеличивали бюсты, храмы, коллегии девушек, а между тем в покоях Палатина уже незримо царствовала другая женщина, не имевшая ни титулов, ни лица. Так было с дочерью приказчика Фаустины.

Ее роль была предначертана заранее: обеспечить бесперебойную работу служб императорского двора, — и,

вероятно, именно это и было главное. Живя с родителями на Палатине, она, очевидно, коротко знала Марка Аврелия и оказывала ему услуги всякого рода. Насколько важны среди прочих были постельные, составляли ли они часть гигиенических требований, которые римская медицина и обычай считали непременными для мужчин любого возраста, — это в данном случае сказать трудно. Правдоподобней всего предположить, что его чувственность, поздно проснувшаяся, страдавшая от многочисленных телесных недугов и сдерживавшаяся дисциплиной духа, угасла тоже преждевременно. Современные сексологи могли бы много размышлять над таким «размышлением»: «Как представлять себе насчет подливы или другой пищи такого рода, что это рыбий труп, а то — труп птицы или свиньи; а что Фалернское, опять же, виноградная жижа, а тога с пурпурной каймой — овечьи волосья, вымазанные в крови ракушки; при совокуплении — трение внутренностей и выделение слизи с каким-то содроганием… так надо делать и в отношении жизни в целом, и там, где вещи представляются такими уж предубедительными, обнажать и разглядывать их невзрачность…» (VI, 13). Тут можно видеть обычный риторический штамп, можно даже усилием разума освободиться от слишком насущной потребности или привычки, дискредитируя ее. Но если бы всякое усилие мысли, как учат некоторые психологи, было катарсисом, то книгу Марка Аврелия можно было бы толковать бесконечно. Проще буквально понять человека, от которого мы уже слышали: «Ты стар; пренебреги плотью — она грязь…» Тут ни к чему искать борьбу с собой — это простой отказ.

Марк Аврелий всегда, даже в сердечных порывах, сторонился плотской любви. Это был больше естественный рефлекс, нежели нравственное правило: не видно, какой общественной или религиозной заповеди он повиновался, «не став мужчиной до поры» и в конце жизни благодаря богов за это воздержание. Понятно еще, что он радовался, «что не воспитывался долго у наложницы деда» (I, 17): ясно без слов, что атмосфера там была не очень здоровая. Но вот ставить себе в заслугу, «что не тронул я ни Бенедикты, ни Феодота», а в те времена, когда заниматься любовью с отпущенниками обоего пола мальчикам из хорошей семьи отнюдь не запрещалось, было свидетельством особенного пристрастия к непорочности. Никому не удалось точно установить личности этих двоих, с греческими именами. Нам они просто помогают лучше разглядеть сложную природу человека, на всю жизнь которого, кажется, повлияло нежелание стать мужчиной, столь непривычное для его современников.

Вторая германская экспедиция

«Он женил своего сына на дочери Бруттия Презента, и этот брак праздновался как брак частного человека. По этому случаю он вновь дал народу амнистию». Капитолин не говорит нам, почему торжества прошли приватно. Бруттий Презент был сыном знаменитого проконсула, друга Адриана, и сам в первый раз был консулом в 153 году. Так что этот брак был как нельзя более почетным; императорская фамилия внедрялась в среду наидревнейших сенаторов, чья римо-италийская основа на глазах истончалась. Новую императрицу звали Бруттия Криспина; мы знаем ее только в образе хорошенькой девочки-подростка с покалеченного бюста, судьба которого служит образом печальной судьбы, ожидавшей ее саму. Согласно Диону Кассию, «Марк Аврелий устроил эту свадьбу раньше, чем желал, из-за новых военных действий в Скифии (Паннонии), требовавших его присутствия». Все та же озабоченность бесспорностью престолонаследия — теперь она толкнула императора, не уверенного, долго ли он проживет, поторопить взросление Коммода. Он, который, будучи просватан в семнадцать лет, просил еще пять лет на размышление, срочно женит сына в том же возрасте на едва созревшей девочке. Может быть, он, зная о гомосексуализме Коммода, надеялся, что новая Августа приведет его в норму и даст Антонинам нового наследника? Марк Аврелий не мог знать, что не укрепил, а разрушил династию; Луцилле тяжело было терпеть, что Криспина согласно этикету встала выше нее. Началась тайная борьба, повернувшая ход истории.

Вести, встревожившие императора, пришли с дунайского фронта; несмотря на аккламации и триумф в Риме, мир с германцами опять был под угрозой. Паннонским наместникам не удавалось сладить с волнениями квадов и маркоманов, а те, по-видимому, действительно были недовольны условиями договора, который римские войска блюли чересчур строго. Почитав жалобы их послов, которые Дион Кассий передал со всей горечью и весьма правдоподобно, можно понять, почему они взбунтовались: сорок тысяч человек вспомогательных (самых жестоких) войск, расставленные по их территории, мешали обрабатывать поля, перегонять скот, перевозить товары и ездить на ярмарки. Сами солдаты жили на этой земле «и имели все, даже бани». Моравские квады в отчаянии решили переселиться к своим дальним родичам — семнонам, жившим тогда в среднем течении Эльбы. Узнав про их планы, Марк Аврелий распорядился перекрыть дороги на север.

С первого взгляда эта мера выглядит бессмысленной обидой.

Злобный враг в отчаянии снимается с места и уходит — зачем же его держать? Дион Кассий говорит о двух причинах: «Император хотел не только завладеть их землей, но и наказать их». Конечно, провинция, оставленная жителями, — добыча небогатая; пустое пространство тотчас привлечет не менее нежелательных пришельцев. Но теперь Марк Аврелий к тому же не мог не знать, что переселение квадов, нарушив равновесие всех племен на севере, повлечет за собой новую цепную реакцию, теперь уже на рейнской границе. «Наказание» мятежников обернулось бы против него же. Так что причины, по которым он решил задержать на месте народ, угнетаемый его войсками, были серьезными (так и Цезарь не дал гельветам переселиться на другой конец Галлии к аквитанцам). Но подобный образ действий нарушал обычное право и привел к не менее серьезным неурядицам, чем те, которых хотели избежать.

Дело в том, что мятеж квадов в очередной раз нашел поддержку у богемских маркоманов и франконских гермундуров. Приходилось готовиться ко второму германскому походу. Поэтому поспешно женили Коммода, с этих пор повсюду сопровождавшего отца, и отправились на войну, исполнив формальности ее объявления. На этот раз Марк Аврелий не хотел, чтобы события застали его врасплох. Он явился в сенат просить одобрения открытию военных действий. На деле он сам располагал этим суверенным правом, но был до того любезен, что заявил даже так: «Все здесь принадлежит сенату и народу. У меня нет ничего своего — даже дом, в котором я живу, ваш». Затем, пишет Дион Кассий, «он, как говорили мне очевидцы, взял священное кизиловое копье из храма Беллоны, метнул его в сторону вражеской страны и отправился в поход». Это был очень древний обряд, который император исполнил как член коллегии фециалов — должностных лиц, ответственных за соблюдение строгого порядка во всех действиях, касавшихся отношений Рима с другими державами. Наряду с салиями и весталками они исполняли сложные обязанности магического протокола, восходящие к незапамятным временам, формы которого по-своему соблюдают и наши дипломаты.

Одышка Империи

Священная утварь, копья, щиты, выносившиеся из храма и заносившиеся обратно, открывавшиеся или закрывавшиеся храмовые двери были для римлян непременными атрибутами предписанного языка жестов. Принимая решения, они в той же мере слушались суеверий, как и закона, приняв же его,

подчинялись только холодной логике и не знающему законов прагматизму. И теперь, метнув копье, Марк Аврелий решительно взял на себя почин второй германской войны в старых традициях римских завоеваний. Мы очень плохо знаем, как она протекала от отъезда двух императоров 3 августа 178 года до возвращения Коммода в октябре 180-го. Хотя колонна Марка Аврелия воздвигнута не ранее 193 года, сцены на ней, видимо, обрываются 175-м. Мы знаем только от Диона Кассия, что поворотным пунктом была большая победа, одержанная Таррутением Патерном над квадами в 179 году в генеральном сражении, продолжавшемся целый день. Префект претория шел к тому, чтобы стать временщиком, но время его оказалось коротко. Зато Помпеян и Пертинакс еще долго оставались влиятельными советниками. Еще пятнадцать лет, до самой своей гибели, они не выпускали из рук приводные ремни влияния на сенат и войско, хотя и очень натянутые. Именно они наряду с Марком Аврелием договаривались о нейтралитете с язигами в Венгрии, в то время как солдаты громили германцев в Австрии, Баварии и Франконии.

Язиги — те самые, что нанесли такой ущерб римской армии, — добились облегчения условий мира, навязанных им два года назад. Им позволили проезд через Дакию, чтобы возобновить связи с родичами-сарматами — несговорчивыми черноморскими роксоланами. Более того, они выставили свое условие: чтобы римляне, заключив мир с квадами, не вступали затем с ними в союз против язигов, как произошло в 175 году. Благоразумно ли было содействовать восстановлению сарматского блока на юге Европы против задунайских германцев? Оборонительная политика, основанная на смене союзников, еще надолго оставит след в истории Центральной Европы. Перебежчикам из язигов и наристов будут давать даже землю, в чем германцам всегда отказывали. Именно германцы были главной мишенью кампании «в варварских землях». Ее случайное прекращение в 180 году скрыло от нас ее конечную цель.

Мы действительно не знаем настоящих целей римлян в этой войне. Сообщения о победе 179 года (Марк Аврелий получил тогда за свое правление десятую императорскую салютацию, Коммод третью) не означали конца операции. «Я не сомневаюсь, — пишет Дион Кассий, — что Марк Аврелий, проживи он дольше, покорил бы всю страну». Капитолин в конце своего труда пишет то же: «Если бы он прожил еще год, то сделал бы эти земли римскими, провинциями», повторяя слова, сказанные по поводу событий 175 года: «Он хотел устроить одну провинцию в Маркомании, а другую в Сарматии, и осуществил бы

этот план, если бы Авидий Кассий не поднял мятеж на Востоке». Эти утверждения бурно обсуждаются современными историками. Спорным получается один из ключевых для судеб Европы моментов: возможно ли было в то время осуществить и даже задумать столь амбициозное предприятие? Могла ли оборонительная, а затем контрнаступательная война превратиться в захватническую? Последующие знания о действительных силах Высокой Империи заставляют кое-кого усомниться в этом. Римлянам трудно было бы обратить в провинции земли к северу от Дуная, даже те, которые они оккупировали, — разве что истребить все местное население, жестко сопротивлявшееся чужому владычеству и, вероятно, всякому мирному устройству. Это была самая регулярная, самая тяжелая по последствиям и в то же время самая труднообъяснимая неудача римлян.

«Я клонюсь к закату»

В первую неделю марта 180 года, когда паннонские легионы готовились вступить в дело, Марк Аврелий почувствовал себя так плохо, что слег в постель. Мы не знаем симптомов этой болезни, но знаем, что прогрессировала она очень быстро. Геродиан говорит о преждевременном одряхлении, наступившем от трудов и забот. Дион Кассий поддерживает утверждение, будто этот кризис не имел ничего общего с хроническими болезнями, о которых он писал прежде (бронхитом и язвой желудка), — императора будто бы отравили злоумышленники. Понятнее, но гораздо более позднего происхождения, чем свидетельства двух современников, рассказ Капитолина: он говорит о чуме и о том, что окружающие боялись заразиться. Эта версия утвердилась в истории и согласуется с другими деталями, которые передает биограф-компилятор. Она не противоречит и двум другим: изношенный (согласно Геродиану) организм конечно же легче подвержен инфекции (Капитолин), а врачи из преданности Коммоду или по собственному почину могли сократить агонию (Дион Кассий).

Сообщение, что император умер в полном сознании и показал великолепную силу духа, соответствует и действительному, и идеализированному облику этого человека, так что можно считать описания его последних часов, особенно рассказ Капитолина, правдоподобными. Отчет того же автора о смерти Антонина, который мы читали выше, написан в другом тоне, но правдоподобна и его скромная величавость. Глубокая старость, несварение желудка, предсмертный бред, пароль

«ровность духа» — в чем тут можно усомниться? Что касается Марка Аврелия, то его уход, что вполне естественно, был героическим и тревожным. «Вот что передают об обстоятельствах его смерти. Как только начался недуг, он призвал к себе сына и велел довести войну до конца, чтобы его не обвиняли в предательстве интересов Республики. Коммод ответил, что прежде всего желает избежать заразы. Отец позволил ему делать что угодно, но просил только подождать еще несколько дней, чтобы он уехал одновременно с его уходом. Затем, нетерпеливо желая смерти, он отказался от еды и питья и делал все, чтобы усилить свои страдания. На шестой день он позвал друзей, поговорил с ними, насмехаясь над бренностью всего человеческого и показывая великое презрение к смерти, сказал: „Почему вы плачете обо мне, а не думаете о чуме, которая всем вам угрожает?“ Затем, увидев, что они хотят уйти, он сказал со вздохом: „Если вы уже покидаете меня, я прощаюсь с вами и иду вперед вас“».

Если вспомнить, что эта знаменитая картина принадлежит кисти заведомо слабого художника, можно прийти к мысли, что она навеяна гораздо более глубоким источником, нам неизвестным. Как можно немногословнее описать волнующий момент, когда душа стоит на пороге небытия? Марк Аврелий назначил друзьям свидание — но где? В Космосе, о котором он часто говорит, но не дает никакого понятия — ни физического, ни духовного? Видно, как он медлит на пороге бездны. Ему не терпится умереть, но он со вздохом говорит окружающим: «Если вы уже покидаете меня…» Это свидание — одна из самых неприятных его недомолвок: он отправляет друзей за собой, только чуть попозже. Если бы он был фараоном — конечно, велел бы замуровать их в своей гробнице. Он же, в сущности, говорит им: «Во мне смерть, бегите от меня — только не слишком быстро». О бренности человечества он говорит с жестокой тоской, именуемой безразличием. И, как мы сейчас увидим, император оставил крайне двусмысленное завещание.

Когда его спросили, кому он поручает сына, он ответил: «Вам, если он того достоин, и богам бессмертным». Фраза звучит благородно, но скрывает огорчительную безответственность. Собственно, он просто сбывает Коммода на руки друзьям. «Бессмертные боги» — это все равно что случайность. Так что серьезно полагаться можно было только на Помпеяна, Авфидия Викторина и Пертинакса, но им тоже не удалось избежать беды. Невозможно доказать, но мы можем поверить таким словам Капитолина: «Утверждают, будто он желал смерти с того дня, когда увидел, что сын его будет таков, каким явился

впоследствии». И это тяготило его до конца. «В тот же день (после разговора с друзьями) ему стало хуже. Он принял у себя только сына, но и его отпустил, чтобы тот не заразился». Современник — Геродиан — слышал то же самое: «Как только он почувствовал, что конец близок, то занимался только сыном: тому было тогда не более шестнадцати лет, и император боялся, как бы сын, предоставленный самому себе, не забыл добра, которому его учили, и не предался разврату». Дион Кассий, настаивающий, будто императора («как я знаю из верных источников») отравили, говорит еще: «Незадолго до смерти он велел воинам почитать своего сына, чтобы никто не поверил, что сын ускорил его кончину».

Так мы никогда и не узнаем: поторопил ли Марк Аврелий свою смерть сам, прибегли ли врачи, угождая его сыну — то ли преступному, то ли жалевшему отца, — к эвтаназии. Согласно Диону Кассию, он ушел из жизни с фразой в духе Плутарха: «Дежурный трибун спросил у него пароль, и он ответил: „Повернись лицом к восходящему солнцу, ибо сам я клонюсь к закату“». Таким образом, армия должна была узнать о новом главнокомандующем. По Капитолину, император умер не столь помпезно: «Оставшись один (то есть отослав Коммода), он накрылся с головой, как будто желая уснуть, и ночью испустил дух». Это было 17 марта 180 года. Упорная, но восходящая к поздним источникам традиция утверждает, что это произошло в Виндобоне (Вене). Сейчас больше склонны верить Тертуллиану, современнику событий: закат Марка Аврелия случился в Сирмии.

Мы не знаем, умер ли он от той самой всеобщей чумы, которая все еще уносила жертвы, или от другой заразной — либо мнимо заразной — болезни. Физические и моральные силы сопротивляться смерти иссякли, но он мог бы и хотел протянуть хотя бы до конца начатой им кампании. Мельтешение друзей, постоянное появление Коммода около его ложа — свидетельство большой растерянности. Согласно Аврелию Виктору, сын жестко ответил отцу, заклинавшему продолжить войну до победного конца: «Чтобы закончить дело, надо иметь силы. Мертвый ничего не закончит», — давая тем понять, что прежде всего ему надо бежать от заразы и вернуться в Рим.

Впрочем, Геродиан утверждает, что императора при смерти беспокоили не столько качества наследника, сколько риск положения при неразрешенной германской проблеме. Речь на смертном ложе, которую историк вложил в его уста, апокрифична, но если смотреть на нее как на выражение тревог современников, она становится правдой. «Германцы на границе —

всегда опасные соседи. Он покорил еще не все их племена. Некоторых он убедил войти с ним в союз, других победил, прочие укрылись в лесах. Только его присутствие сдерживало их». Его смерть не побудила противника тотчас перейти в наступление, а мир, спешно заключенный Коммодом, не поставил под угрозу границы только потому, что германцы были выведены из боя. Римляне теперь давили на них, так что понятно искушение Марка Аврелия и старой гвардии Императорского совета развить инициативу. Но его наследники не оценили риска и вернули ситуацию к непрочному перемирию, которым был мнимый мир 175 года. В один прекрасный день все началось заново.

Впрочем, ненадолго. Коммод как будто послушался последней воли отца и согласился на уговоры Помпеяна, драматический рассказ о которых передает Дион Кассий. Он действительно нуждался в поручительстве этого наставника, чтобы его легитимность ни на миг не была оспорена ни армией, ни сенатом. Тут Марк Аврелий тоже тщательно подготовил почву. Пожалуй, он не полностью заслуживает упрека в беспечности, который ему часто предъявляют. Если бы он мог довести до благополучного конца свою Третью германскую кампанию и постепенно подготовить Коммода к его обязанностям, кто знает, может быть, обе его надежды и оправдались бы? Можно сказать наоборот: человек, каждую минуту готовый уйти из жизни, не должен играть в азартные игры со временем. Не благоразумней ли было бы поставить на свое место Помпеяна, как Адриан Антонина, и завещать ему соуправление Империей вместе с Коммодом? Ответить на этот вопрос — значит проникнуть в недоступные государственные тайны. В порядке наследования при Антонинах остается еще много загадочного, и ответ на эти загадки погребен под руинами Палатина.

Камарилье, окружившей юного императора, не составило труда подстрекнуть его нетерпение вернуться в Рим. Саотер и Клеандр больше не встречали препятствия для своих интриг. Даже Императорский совет расходился во мнениях, следует ли продолжать войну, и фавориту Перенну, заседавшему там теперь как префект претория, день ото дня становилось все легче нейтрализовать Помпеяна. Он нашел в уставшей и деморализованной армии достаточную поддержку для своего плана: отвезти Коммода на Палатин как султана, при котором он становился великим визирем. Клеандр и Саотер, каждый со своей затаенной мыслью, присоединились к этому плану. Впрочем, подготовка заняла несколько месяцев: самый капризный правитель не может мгновенно демобилизовать военный аппарат, налаживавшийся многие годы. Коммоду несколько раз

приходилось собираться с силами, чтобы освободиться от влияния, которое продолжал оказывать на него Помпеян. Он еще сохранял простой и робкий характер, о котором говорит нам Дион Кассий, и все еще чтил образ отца, слившийся в его глазах с отцовским alter ego.

Коммод любил родителей — это очевидно, — и их преждевременная кончина разладила его мировосприятие. Если бы они остались живы, он, несомненно, так бы и жил в притворной покорности, как дядя Луций Вер. Чего-то добиться он хотел только в спорте и играх, и новое окружение самым первым делом постаралось направить его сильные страсти на атлетические подвиги. Впрочем, инстинкт власти у него никогда и не принимал других форм; он и тираном-то стал только из страха и бьющей через край силы. Можно даже предположить, что мир избежал бы исторической катастрофы, если бы советникам Коммода удалось сделать так, чтобы он занимался только разгулом и цирковыми играми. Но все они были злыми авантюристами. Самый талантливый из всех, италиец Перенн, убрав своего коллегу Таррутения Патерна, возможно, вообразил, что сам станет императором. В 185 году его сверг фригиец Клеандр, прежде в союзе с ним убивший вифинца Саотера. Но на вершине могущества Клеандра его сбросил египтянин Эклект. Затем по трупу Эклекта прошел некий Лет, и, наконец, ночью 31 декабря 192 года сожительница Коммода задушила его руками атлета Наркисса.

Конец Антонинов

Каким образом случилось так, что Палатин на двенадцать лет превратился в восточный сераль, а сенат Марка Аврелия тем временем позволял унижать и уничтожать себя, и легионы по-прежнему законопослушно исполняли свой долг на границах? Почему римский народ, любивший высмеять суровость отца, молча принял жесткость сына? Здесь нам трудно дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Это общая проблема возникновения, поддержки и гибели любой диктатуры. Все происходило с удручающим однообразием. Во всех случаях в центре аппарата оказывается преторианская гвардия — общее имя, которое Рим сохранил для стальных стен, окружавших тиранов. Десяти когорт (семи тысяч человек) хватало для безопасности правителя и его режима. Их задача — охранять безопасность государства, за что им хорошо платят. Если глава государства считает, что угроза безопасности возникает на границах, он отправляет туда и гвардию. Мы видели, как

несколько префектов претория героически погибли на Дунае. Но если власть запирается на Палатине, превращенном в лупанарий, эти семь тысяч человек исполняют уже только полицейские функции. Тогда эта чрезмерная сила может лишь пестовать страх, оправдывающий ее существование. Репрессии прогрессируют и всегда находят свой конец в самих себе.

Конечно, армия, куда более многочисленная, могла бы без труда призвать к порядку привилегированный корпус из италийцев и далматинцев, которому к тому же завидовала. Ее полководцы (Перенну пришлось оставить их на своих местах) были компетентными людьми, которых Марк Аврелий нашел среди сенаторов или ввел в сенат. Только они могли удержать Британию и Испанию, где возобновились волнения, границу от устья Рейна до устья Дуная и Восток. Это был питомник потенциальных императоров: Гельвий Пертинакс, Дидий Юлиан, Клодий Альбин, Песценний Нигер, Септимий Север. Когда настанет время, они и перейдут к действию. Но в тот момент законной властью был Коммод, а они все были заинтересованы держаться подальше от Рима и следить за событиями, находясь среди воинов, которых постепенно превращали в преданных клиентов. Перенн просчитывал, как соотносятся риски и преимущества, если они останутся на постах. Он задумывал заменить этих патрициев людьми своего класса — легатами из всадников. При первой же попытке он, как будто случайно, погиб. Но ни один легион не вошел в Рим: такое святотатство значило бы, что государство уже распадается. К тому же какой военачальник согласился бы пропустить другого? Все прецеденты такого рода были самоубийственными.

А перестал ли народ, на глазах которого император вскоре превратился в гладиатора, относиться к нему с восторженным обожанием, с которым принял его, когда тот с триумфом вернулся в октябре 180 года? Коммод явился на своей колеснице таким прекрасным, таким сияющим, что почти никто не заметил, что он сжимал в объятиях Саотера и целовал его в губы. «Недолгая любовь римского народа», о которой говорил Тацит, могла продолжаться до тех пор, пока император звал его на зрелища, где собственной рукой убивал сто львов сотней стрел. Но однажды он для забавы выстрелил в зрителей, и поток тотчас повернул вспять. И все-таки ничего не менялось, пока его наложница Марция, которой тоже грозила опасность, не велела его убить. Вот тогда покойнику и припомнили все.

Наконец, политические силы, представленные аристократическим сенатом, сохранявшим в своих руках высшие посты в администрации, богатства, клиентелу и легитимность, с

которой нельзя было не считаться. В прошлом это сословие не раз истреблялось за яростное, если не отважное, сопротивление императору. Сейчас его опять ждала гибель, но бесславная. Более того, именно из-за ошибки сенаторов патология Коммода на втором году его правления обострилась. В 182 году по наущению Луциллы, которая, как мы помним, обозлилась, уступив первое по протоколу место новой невестке Криспине, составился заговор. Хотя Луцилла вторым браком была замужем за «новым человеком» Помпеяном, отец имел слабость сохранить за ней привилегии Августы, и после смерти Фаустины она стала первой дамой Империи. Ей не составило труда найти сообщников среди сенаторской молодежи, презиравшей Коммода. Вместе со своим любовником и кузеном Уммидием Квадратом она решила убить брата. Исполнителем стал Клавдий Квинтиан, другой ее любовник, племянник Помпеяна (тот не жил с женой и, несомненно, не был посвящен в заговор). К делу перешли в середине 182 года.

В условленный момент Квинтиан среди придворных, ожидавших императора, встал у входа в цирк и бросился на него с кинжалом, патетически воскликнув: «Это тебе от сената!» Но телохранители тотчас схватили его. Он успел только поцарапать Коммода, получившего нервный шок, от последствий которого он так и не избавился. Квадрата, Квинтиана и еще несколько человек казнили, Луциллу сослали на Капри, а затем убили. Перенну осталось только избавиться от своих соперников, в первую очередь от Таррутения Патерна. Коммод взял сенат под личный высочайший надзор и в конце концов передал под контроль своих друзей — гладиаторов. С этих пор его могло убрать только собственное окружение, но ему, как загнанному зверю, сохранившему только инстинкт самосохранения, долго удавалось натравливать одних фаворитов на других.

Благодаря каким скрытым механизмам эти гаремные страсти и личные пороки, о которых римские жители знали мало, провинциалы ничего, а легионеры и слышать не желали, в конце концов расшатали империю Антонинов? Стоит ли полагать, как некоторые современные историки, что они не имеют никакого отношения ни к экономическому кризису, начавшемуся уже при Марке Аврелии, ни к социальным беспорядкам (Галлию терроризировали «большие братства» разбойников), ни к военной анархии, которая еще до конца века стала хронической? Это значило бы, что моральные факторы в общественной истории не первичны. Тупость Коммода, ярость его сестры, гнусности восточных авантюристов сотрясали порядок в Риме и затрагивали всю систему управления Империи. Начавшись с отвращения или

страха честных чиновников перед подлостью власти, безответственность постепенно парализовала систему громадного аппарата. Империи еще повезло, что Марция — наложница Коммода, христианка-вольноотпущенница положила конец этому безумию тогда, когда сотрудники Марка Аврелия: Пертинакс, Помпеян, Септимий Север могли хотя бы попытаться этот аппарат восстановить.

История не останавливается, но та история, которую мы застали в момент расцвета надежд клана Анния Вера, на этом заканчивается. Антонинов больше не осталось. Пертинакс и еще четыре императора будут возводиться и низлагаться преторианцами, уничтожать друг друга до той поры, пока на арене не останется только один из них: Септимий Север. Афро-сирийская династия придет на смену испано-галлоримской, которая царствовала девяносто четыре года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Легенда веков

«В скором времени будешь никто и нигде, как Адриан, как Август» (VIII, 5). Эта сто раз повторенная сентенция как нельзя лучше выражает состояние души, потерявшей надежду. Думать, что это просто заклинание из требника настоящего стоика — ошибка. Это холодный итог, подводимый человеком, который получил все, хотя ничего не просил, и, как подобает природе, все отдает. В один прекрасный день он увидел, что ему доверена забота почти обо всем известном мире, и понял, что не справится с этой ношей, если не умалит свою личность и свою роль, постоянно упражняя душу. Излишество стучалось в двери его души, но он так и не впустил его. «Смотри, не оцезарей» (VI, 30) — это нескромное размышление стало одним из умнейших высказываний в истории. Оно могло бы надолго изменить ее ход, если бы автор не стал слишком рано «никем и нигде» — и все смешалось вновь.

Впрочем, Марк Аврелий сделал больше, чем то, к чему стремился. В конце жизни его патологически приковал к себе образ небытия, который он делал и обыденным, и в то же время особенно рельефным. «Помысли, скажем, времена Веспасиана; все это увидишь: женятся, растят детей, болеют, умирают, воюют, празднуют… влюбляются, накапливают, жаждут консульства, верховной власти. И вот нигде уже нет этой жизни. Тогда переходи ко временам Траяна — снова все то же, и снова мертва и эта жизнь» (IV, 32). Перечень покойников возобновляется в каждой главе «Размышлений» и насчитывает не менее тридцати пяти имен. В конце концов и он перестает убеждать, переходит в маниакальную депрессию, которая завершается фразой: «Все это мешок смрада и грязи» (VIII, 37). В сравнении с этим образ «праха» Экклезиаста покажется привычным и симпатичным.

История блестяще опровергла хулителя человеческой памяти и могильщика собственной славы. Мы должны теперь сказать, какая поразительно долгая была ему суждена жизнь.

Для нас Марк Аврелий — бессмертный автор «Размышлений», но легенда о нем и держалась пятнадцать веков без опоры на это произведение, дремавшее в каком-то сундуке с папирусами. Народ почитал императора с репутацией философа, рассудительного и мудрого человека. Перед нами даже возникает необычный парадокс: в тот самый момент, когда римское

общество провалилось в эпоху насилия, оно признало себя в добром и в высшей степени цивилизованном человеке. Народ, безжалостно высмеивавший его в театре, упрекавший в недостаточной простоте и щедрости, будет умиленно чтить его память. Геродиан был тому свидетелем: «Он умер, оплаканный всеми своими подданными. И народ, и солдаты были удручены его кончиной, и никто во всей Империи, узнав о ней, не удержался от слез». Капитолин потом заметил: «Некоторые писатели сообщают, что по окончании его погребения народ и сенат в едином порыве и союзе (чего никогда не случалось ни прежде, ни потом) облекли его именованием бога-благодетеля. Тех же, кто, имея средства приобрести изображение императора, не имел его у себя дома, почитали богохульниками».

Так что же: этот момент возбуждения вскоре забудется? Или преемники постараются стереть этот чересчур лучезарный образ, стесняющий их на их темных путях? Или народ возложит на него ответственность за падение сына, за разорительные, ни к чему не приведшие войны? Нет, ничего этого не произошло. Наоборот: всякий новый император считал за благо присвоить себе его популярность и незаконно записать себя в его родственники. Септимий Север объявил себя сыном императора, при котором делал карьеру, и прибавил его имя к именам своего наследника Каракаллы. Два века спустя псевдо-Капитолин якобы посвящал Диоклетиану (на самом деле давно уже покойному) свою биографию Марка Аврелия: «Вплоть до твоего времени его считали богом, и ты, пресветлый император, тоже считал его таковым. Ты посвятил ему особый культ». Еще показательнее такие сведения, которые он сообщает: «Даже до сего дня во многих домах можно видеть статуи Марка Аврелия рядом с Пенатами, а некоторые люди уверяли, будто он предсказывал им во сне, что с ними сбудется». Легенда жила своей жизнью. В нее внесли вклад даже христиане, которые, как мы видели, упрямо пытались воззвать к понятливости и справедливости государя-философа. Они много ожидали и от его сына, который их действительно не трогал (очевидно, под влиянием Марции).

Такое обожествление — не чудо. Образ страдающего героического императора в новом мироощущении, сложившемся к концу II века, был положительным. «Люди, смотря по возрасту, называли его отцом, братом или сыном», — писал Капитолин, который, не будем забывать, жил в последней трети IV века — незадолго до того, как император Юлиан увенчал Марка Аврелия на суде богов. «Подражать богам, — ответил он, — значит иметь как можно меньше потребностей и делать как можно больше добра». Все тотчас замолчали, и суд проголосовал тайными

записками. Большинство было за Марка Аврелия. Он победил Александра, Цезаря, Августа, Траяна и Константина. Значит, через двести лет после своей смерти в политических сочинениях он еще выступал образцом государя. А это значит, что он стяжал бессмертие, которым пренебрегал.

Святой язычник

Перепрыгнем сразу через полтора тысячелетия. Лопнувшая, оставленная на произвол долгой анархии, Империя наконец реинвестировала свои ценности в новое западное общество. Эпоха европейской классики ссылается на императорский Рим Антонинов, узнает себя в Марке Аврелии. Монтескье признается: «Говоря об этом императоре, каждый чувствует внутри себя тайное удовольствие. Невозможно читать его жизнеописание без какого-то умиления: действие его таково, что начинаешь лучше думать о самом себе, потому что лучше думаешь о человечестве». Но над памятью Марка Аврелия тяготеет и старый долг. Начав сводить счеты с язычеством, Церковь не пожелала полностью оправдать Марка Аврелия в раздорах с первыми христианами, причем некоторое отношение к этой дурной ссоре имеет особенная симпатия Юлиана Отступника к императору-«гонителю». Иезуитская школа так и не избавилась от некоторой неприязни к этому почти совершенному государю, нравственная требовательность которого могла поспорить с христианской. Еще более чувствительным недоразумение стало к концу XIX века, когда Ренан воспел Марка Аврелия в своей грандиозной фреске «Происхождение христианства», где представил его «святым язычником».

Желание присвоить чужое здесь очевидно, но кто упрекнет Ренана за то, что он представил в ослепительном свете царствование, полузабытое церковным конформизмом классической эпохи? Стоит прочесть и такой шедевр эрудиции и стиля, как «Смерть Марка Аврелия». В нем, конечно, придется просеять гиперболы, но не избавишься от восхищения перед таким благородным заявлением: «Никогда не бывало столь законного поклонения человеку — мы и теперь ему поклоняемся. Поистине, пока мы существуем, все мы будем носить в сердце траур по Марку Аврелию, словно умер он только вчера. При нем царствовала философия. Благодаря ему на какой-то миг миром управлял лучший и величайший человек своего времени. Это был важный опыт. Повторится ли он?»

На несколько лет раньше в Англии Стюарт Милль в книге «О свободе» открыл дискуссию по существу. «Сочинения Марка

Аврелия — наилучшее выражение античной этической мысли — почти не отличаются от важнейших заповедей Христа, если тут вообще можно говорить о какой-то разнице. И этот человек — более христианин, чем множество якобы христианских государей, правивших после него, — преследовал христиан… Достигнув исполнения всех чаяний прежнего мира, одаренный свободным умом и природой, позволившей ему невольно высказать в своих сочинениях христианский идеал, он не увидел, что христианство несет миру благо, а не зло. Я полагаю, что это было одним из трагичнейших недоразумений в истории».

Политика возможного

Теперь все это кажется праздными умствованиями. История стала историей фактов, и для нас разочарование писателей XIX века гораздо ближе к оторванной от реальности риторике II века, чем к конкретным исследованиям XX. Все конкретные изыскания показывают, что Марк Аврелий не имел ничего общего с основателями нравственных систем и религий. Не был он и из породы реформаторов-иконоборцев, как Эхнатон или Юлиан, или обратившихся конформистов вроде Константина и Хлодвига. Он просто с величайшей добросовестностью проводил политику возможного. Точно так же реализм не велит упрекать его, что он недостаточно прогрессивно распоряжался материальными и людскими ресурсами Империи. Современные экономисты, конечно, могут выражать неудовольствие по поводу отсутствия у него аграрной политики или пассивности власти в социальной области. Оно оправдано, если рассуждать вне времени, в соответствии со схемами современной философии производства. Но императоры следующих веков, признанные новаторами, не сделали ничего лучше, чем Марк Аврелий. Возможно, в римском обществе для этого существовали концептуальные преграды, а может быть, слишком медленно действовали механизмы технического прогресса. Бесспорно, что это общество не достигло в надлежащее время состояния, которое мы называем «стартовым». История не могла ждать, и фаза ускорения все же наступила, но в противоположном направлении.

Критика прошлого в современной терминологии всегда чревата анахронизмом, поскольку неизбежно нарушает интеллектуальные границы, свойственные каждой эпохе. А ведь мы прекрасно знаем от самого Марка Аврелия, какие ограничения он наблюдал в обществе и какие оно ему предписывало. Мы уже слышали от него: «Небывалого не опасайся; все привычно» (VIII, 6), слышали в похвалу Антонину: «Никаких новшеств». У него

удручающе статическое представление о времени. «Сорокалетний, если есть в нем сколько-нибудь ума, некоторым образом благодаря единообразию все уже видел, что было и будет» (XI, 1). Но он идет дальше. Ему недостаточно утверждать, что неподвижно все, что есть, — он гонит мысль о том, что могло бы быть иначе. Что может быть трагичнее вот этого неожиданно резкого обращения: «Так что же ты тут делаешь, представление? Иди, добром прошу, откуда пришло, потому что ты мне не нужно. Ну да, ты пришло по старому обыкновению, я не сержусь — только уйди» (VII, 17). На самом деле — но он не знал этого — Марк Аврелий прогонял все шансы на будущее для Империи.

Взгляд с другой орбиты

Теперь-то мы знаем достаточно, чтобы понять, что нас отделяет от общества II века: нами движет дух перемен, творческое воображение, поиск нового, а общество Марка Аврелия если и верит в лучший мир, то ожидает его только от личной удачи, либо располагает его в прошлом или же в иной жизни. Оно не видит возможности улучшений ни в разработке ресурсов, ни в техническом прогрессе; в нем нет идеалистического предпочтения чисто духовных путей, оно не представляет себе всеобщего и всем служащего повышения уровня жизни. К сожалению, из-за этой психологической пропасти, которая образовалась во времена Милля и Ренана, эпоха промышленной революции, культурные связи, соединяющие нас с греко-римской цивилизацией, могут становиться все проблематичнее. Пока мы будем по-прежнему считать сами себя в первую очередь обществом роста во всех областях, мы не сможем называть себя прямыми наследниками общества античного. Если и есть у нас какой-то общий экономический факт с ранней Римской империей, то это лишь непрестанный рост потребления, и мы несем бремя тех же социальных и нравственных следствий из него. Но недавно мы открыли и возможность непрестанного роста промышленного производства, что взорвало тысячелетний материальный и психологический порядок. С этих пор мы уже не чувствуем себя столь солидарными с нашими предками. Мы думаем, что выработали культуру на совершенно иных основаниях — культуру безграничной экспансии, которая уже ничем не обязана конечному миру римлян. Мы перешли на другую орбиту.

Если так, то что же остается для нас из наследия императора-философа? Молитвенник неизбежного разочарования. Достойный подражания пример гражданского мужества и, возможно,

предостерегающий пример политической слепоты. В любом случае — исторический урок, который стоит обдумать современным европейцам.

И прежде всего — можно ли утвердить отчет Марка Аврелия по управлению государством? Самым убедительным и трезвым кажется нам ответ Моммзена — мэтра римской историографии: «Следует не только признать за ним решительность и упорство государственного человека, но и оценить то, что он делал, как правильную политику». Но от этого проблема еще не до конца проясняется: ведь надо уточнить, какова же истинная природа соответствия этого человека своему времени. Был ли он инициатором «правильной политики» или только проводил ее? Шел он впереди великого потепления II века или только сопровождал его? А раз это потепление закончилось с его смертью — следует ли отсюда, что посмертное поражение делает сомнительным и успех его жизни? Каждый читатель этой книги может составить собственное мнение на этот счет. И тогда остается ответить еще на один вопрос: какие уроки наше время может извлечь из судьбы общества, которое, достигнув, казалось бы, апогея, вдруг сгорело в плотных слоях атмосферы?

Был ли упадок?

Как вы поняли, мы говорим здесь о явлении, которое носит название «упадок Римской империи» и вокруг которого построена столь сомнительная мифология, что соблазнительно отрицать и реальность, которая за ней стоит. Этим занимался не один современный историк, а уж при византинистах и вовсе не стоит заикаться об ослаблении императорской власти. И все же кто будет отрицать, что в Империи на несколько веков воцарилась военная анархия, в которой вскоре разложились великие римские традиции? Какие бы смелые попытки реставрации ни предпринимали провинциальные генералы, получались только карикатуры на принципат Августа. Некоторые из таких случайных императоров даже не появились в Риме. Уже при африканце Септимии Севере и его ничтожном сирийском потомстве власть потеряла преимущественно западный характер. Благодаря старой всаднической администрации структуры управления еще какое-то время продержались, но эта бюрократия, а особенно фиск, стали очень уж обременительны. Войско превратилось в простое собрание больших провинциальных ополчений, набранных на границах и занятых обороной своего ближайшего тыла. Оно не могло воспротивиться беспорядку и необеспеченности существования, которые разваливали Империю, а часто и

способствовало им.

Следы, оставшиеся от всего этого, для нас не лишены интереса. Вновь возникшие перегородки, замкнутость народов, сами их беды питали искусство более непосредственное, более шероховатое, более близкое к современному. Сюда же прибавились великие наивные порывы христианства. В восточной части Империи деспотизм воплотился в гигантизме и блеске. Современные критики трактуют все эти новые формы как могучий взлет искусства, освобожденного от оков классицизма. Иные видят здесь зарю плодоносной цивилизации, где благодаря разумному отношению к бедности расцвела духовность. Говоря о «поздней Античности», историки стараются избежать всяких отрицательных коннотаций. И действительно совершенно верно, что симптомы вырождения проявились не одновременно во всех частях Империи и что не все социальные слои ощущали их таковыми. Но зачем же их отрицать?

В наше время это, пожалуй, просто мода, связанная с такими эстетическими и этическими течениями, для которых источники крепкой организации западного общества всегда нечисты. Но эта мода уже проходит. Невозможно принять за образец так называемые прогрессивные явления, в том числе тенденцию к социальному уравнительству, экономическому дирижизму и бюрократизму, проявившиеся уже спустя пятнадцать лет после смерти Марка Аврелия, начиная с династии Северов. Видеть во всем этом выбор общества — грубый анахронизм: правители просто затыкали дыры. Конечно, это было необходимо после сумасбродств Коммода и войн за наследство, в которых пали пять крупнейших полководцев его отца. Признаем также, что и наследство этого достойнейшего отца было обременено долгами. Можем даже отчасти возложить на христиан ответственность за нетерпеливое ожидание конца света, превратившее их религию в спасительное убежище. Многое можно объяснить и извинить, но нельзя найти ни следа большого реформаторского плана. Время поздней империи все-таки остается плохо контролируемым распадом.

Уроки для нас

Следует ли отбросить Марка Аврелия на задворки истории, как изгнали афиняне Аристида, под тем же предлогом: он-де слишком праведен для хорошего правителя? Он сам, как мы видели, был к этому готов: «Разве не найдется кто-нибудь, кто про себя скажет: „Наконец-то отдохну от этого воспитателя…“» (X, 36).

И действительно, после него по всей Европе стали носиться орды авантюристов и варваров, разорявших города и села, а мы до сих пор завороженно воспринимаем эту дикую скачку. Но это значит бесчеловечно относиться к своим предкам, десятками поколений страдавшим от голода и опасностей и лишь затем открывшим, а вернее — заново научившимся способу жизни и мысли, которые мы неправильно называем современными: ведь в основном они, когда умирал Марк Аврелий, уже существовали. Не забудем, что толстые стены средневековых городов были воздвигнуты против завоевателей из камней изящных античных построек. Только бесчисленные клады, за которыми так и не вернулись владельцы, остались свидетелями великого страха, тайные рубцы от которого наши страны хранили до самого недавнего времени. Так что нельзя уйти от вопроса: какие происшествия могут завтра разрушить, затормозить, сбить с пути нынешнее европейское общество? Гарантированы ли мы, что новые завоеватели, новые неудержимые орды переселенцев не уничтожат наши открытые, слишком хитроумные общественные структуры? Другими словами, скажем ради конкретного, но и символического примера: окажется ли статуя Марка Аврелия, которую Микеланджело поставил перед Капитолием как знак возрождения Рима, вновь на сотни лет лежащей неизвестно где? [63]

Как Фронтон играл риторическими упражнениями, так и мы долго играли формулой «Каждая цивилизация знает, что она смертна». Вдруг на наших глазах рухнула империя, подтверждая ее справедливость. Эту империю, более пространную и организованную, чем Римская, строили люди, выдававшие себя за наследников Цезаря: белые и красные цари. Они лгали: римский плуг никогда не пахал их земли. Не всякий желающий может стать наследником Ромула. Пускай теперь этот плод византийского перевоплощения Империи ищет свои корни, где хочет: мериться с отсутствием меры — его наследственная проблема, не наша. Суть в том, что самая крепко сцементированная империя может взорваться.

Западная Европа с большим правом может претендовать на римское наследство, хотя и долго оставалась его лишена. Можно ли было избежать цивилизационной аварии, обошедшейся так дорого? В чем была главная ошибка, как минимум на тринадцать столетий прервавшая нормальный процесс перехода наследствия, которое, накапливаясь от поколения к поколению, теперь теоретически должно было бы дорасти до невероятных размеров? Вернее всего говорить о цепи таких ошибок. Последней и самой тяжелой по последствиям из них был отказ от плана Марка

Аврелия и Помпеяна романизировать германцев южнее Судетских гор, включить маркоманов и квадов в «Содружество», в которое уже входили галлы, белги, рейнские племена, часть британцев, испанцы и племена к югу от Дуная. Этот проект был вполне по силам объединительному гению римлян. Там, в прежде вассальных германских королевствах, как и в других местах, было бы введено преторское право при уважении к местным обычаям, латынь стала бы разговорным языком наряду с местными наречиями, были бы построены города, и постепенно эти неукорененные, ненадежные, беспокойные народы вошли бы в состав организованного общества.

Несколько веков спустя они и вошли в него, но уже увлекаемые собственным движением, собственной волей к власти и могуществу. И вот в Трире, Отене и Тулузе — городах, где шестью веками ранее блистали школы греческого и латинского красноречия, Карл Великий начнет заново учить детей грамоте. Много времени пропало даром. Впрочем, у империи Каролингов — другой подделки под Римскую — окажется не больше, чем у Византии, той цивилизующей силы, которой в ходе трудного исторического опыта научились квириты. Разматывая цепь ошибок далее, увидим, что римляне слишком долго увлекались ближневосточной политикой в ущерб Европе. Они сочли себя наследниками мировой эллинистической империи Александра. И вот Красс, Помпей, Антоний, Август, Траян, Марк Аврелий, а позже Септимий Север, Валериан и Юлиан друг за другом тратили себя в попытках сохранить за собой мир, под греко-римским флером всегда остававшийся по сути иранским, сирийским, египетским, иудейским, и продвинуться в глубь него. На самом деле в их руках было только средиземноморское побережье с космополитическими торговыми и культурными центрами. Вскоре парфянские фанатики положат конец римской мечте о восточном синкретизме.

Ошибка с противником

В основе своей это была геополитическая ошибка. Ее можно оценить по пробелам римской картографии, особенно что касается Северной и Восточной Европы. Походы Друза при поддержке флота доходили до устья Эльбы и даже до оконечности Ютландии. Но их неудача отвадила римлян от продолжения. Балтийское побережье и даже континентальная Германия их пугали и не представляли для них интереса. Лишь немногие купцы по Янтарному пути решались туда отправляться, но он так и остался менее проторенным, чем престижные пути

пряностей и Шелковый. Между тем, как мы видели, именно на этом меридиане решались судьбы Империи. Когда Марк Аврелий понял, что остановить натиск с севера можно не на ближних рубежах империи, а на передовых, практически уже на территории агрессора, было поздно. До самой смерти он, очевидно, так и не понял природы процесса, который сам не смог обуздать.

С парфянами все казалось проще. Две империи, две армии, два главнокомандующих, два дипломатических ведомства из века в век повторяли одни и те же удары, те же ошибки, те же бесплодные перемирия. Группы интересов оказывали эффективное давление на власть в связи с серьезными экономическими ставками. Парфяне в своих интересах преграждали торговые потоки из Индии и с Дальнего Востока, так что китайцы даже жаловались, что «не могут вступить в прямые сношения с западным императором *(ань дунь)*». Римляне мечтали о контроле над Басрой в Персидском заливе, а парфяне хотели бы иметь выход к Средиземному морю через Селевкию Антиохийскую или Бейрут. Уладить эти отношения мог бы хороший торговый договор, да и караванные города (Пальмира в пустыне и Дура-Эвропос на Евфрате) прекрасно выполняли посреднические функции. Обе империи в действительности были обречены на постоянные компромиссы.

Но все показывает, что римляне ошиблись в определении постоянного противника. Они гнались за парфянами, каждый раз уходившими в непосильную для контроля Месопотамию и недоступный Иран. Тем временем в Центральной Европе германцы вели разведку слабых мест на границе, оставленной без войск. Угроза здесь была постоянной, ответ — неадекватным. Как защищаться от противника без лица и без очертаний, где нечего осаждать и нет столицы, которую можно взять? Как только Траян победил Децебала в его крепости, он овладел Дакией, когда забрал трон Дария — Мидией. Рим умел сражаться с государством, с армией в боевом порядке, но не с толпой косматых воинов, бившихся каждый за себя с единственной целью — побуянить. Вскоре никакая река, ров, ограда или стена легионеров уже не могли остановить этих захватчиков. Их всегда толкали в спину другие, но отчасти их поощряло и то, что они подмечали недостатки в устройстве Империи. Впрочем, о «германской войне» говорить вскоре перестали, потому что не стало «римского мира». На многие века война на границах, с краткими перерывами, станет подобна чумной эпидемии.

В 213 году в хрониках впервые упоминаются аламаны («все люди»). Это было не новое племя, а устойчивая коалиция.

Каракалла задержал их на Рейне, затем спешно отразил квадов на Дунае и, наконец, желая повторить ненужные подвиги своего отца, пошел на парфян на Евфрате. Там он и сложил голову. Ему наследовал племянник Александр Север, но тому пришлось срочно останавливать аламанов на Рейне — там он и погиб. Максим Фракиец, а за ним Филипп Араб насмерть сражались в Европе с готами, наседавшими со всех сторон. Тем временем униженных властителей Парфии сменила иранская династия и взяла сакральный реванш: Сапор I в 260 году взял в плен императора Валериана. Так и шло дело до конца III века, когда иллириец Диоклетиан как будто бы овладел ситуацией от Темзы до Тигра. Но история продолжала повторяться. Шестьдесят лет спустя Юлиан сражается с аламанами при Лютеции и отправляется на смерть под стенами Ктесифона. В промежутке на Запад налетали франки, саксонцы, вестготы и гунны.

Через двести лет после конца Антонинов все эти кочевые народы по-прежнему были не уважаемыми врагами (hostes), а бандами грабителей (latrones). Теперь мы, может быть, постарались бы их понять, нашли бы им извинения: их было много, они требовали доли в разделе благ, которых не умели производить. У римской дипломатии, несомненно, был кое-какой опыт и в диалоге Запада с Востоком, и в сотрудничестве Севера с Югом, но римское терпение и уважение к правам человека имели пределы. Парфян римляне считали сумасбродами, которых время от времени следует сурово учить. Германские племена, не соблюдавшие верности клятве, не могли рассчитывать ни на какое уважение и снисхождение от императора. Марк Аврелий ограничился тем, что резко отодвинул этих «друзей римского народа». Но как-то в миг усталости, на берегу Дуная, он позволил себе страшное признание проклятого охотника: «Паук изловил муху и горд, другой кто — зайца, третий выловил мережей сардину, четвертый, скажем, вепря, еще кто-то медведей, иной — сарматов. А не насильники ли они все, если разобрать основоположения?» (X, 10). Если цивилизованный человек так укоряет себя — это означает конец цивилизации. Среди всех уроков, оставленных нам правлением Марка Аврелия, этот, пожалуй, самый актуальный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БЕЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Переписка Марка Аврелия с Фронтоном была открыта в 1815 году кардиналом Маи, архивистом Амброзианской библиотеки в Милане. У него был хороший нюх, потому что в 1823 году, став хранителем Ватиканской библиотеки, он нашел другой ее список, так называемый Кодекс Фронтона. Поверх этой рукописи был текст деяний Халкидонского собора (451 год) в списке X века: то было время великой нужды, когда многие сокровища римской литературы пустили в переработку ради благочестивого чтения.

Есть французское издание 1823 года (перевод Левассера), с редкими сохранившимися экземплярами которого можно познакомиться в университетских библиотеках. Сейчас исследователи обычно работают с превосходным критическим изданием на английском языке в знаменитой оксфордской серии Луба, включающим письма с 146 по 166 год.

Можно еще понять, что французские издатели не хотят рисковать деньгами ради перевода неравноценного текста, где проблески душераздирающей искренности изредка сверкают в пустой породе педантичной учености, где больше говорят о больных коленях, чем о сердечной боли. Но совершенно непонятно, что эти удивительные послания до сих пор не приняты во внимание психоаналитиками и семиотиками — специалистами по недомолвкам и подтекстам. Их выводы дали бы историкам поразительный материал.

Невозможно не видеть, что формальные правила этой светской игры не пришли в забвение: их можно почти точь-в-точь наблюдать в прециозной литературе и эпистолярном этикете нашего XVII века. От этой легкой болтовни не так легко избавиться. Конечно, когда Марк Аврелий писал о пустяках, в этом выражалась инфантильная сторона его души. Но выражается здесь и вообще неспособность римлян одновременно давать слово и своему крепкому реализму, и своей чрезвычайной чувствительности. Цезарь — соправитель, молодой консул, регулярно избегает в своих письмах любых намеков на государственные дела — кажется, что он о них и думать забыл. Из осторожности? Но ему нечего таить от лучшего друга, также бывшего консула, участвующего в разработке важных решений. Вероятно, здесь надо видеть невозможность одновременно употреблять два регистра общения. Литературность и

эмоциональность полностью вытесняют конкретику и политику: они требуют иного жанра, иного стиля. Мы, к сожалению, практически не знаем той деловой переписки, которой занимался Марк Аврелий, закончив докучную болтовню с Фронтоном.

Почему так трудно представить себе, что эти чисто личные письма написаны двумя столетиями позже писем Цицерона к Аттику, столетием — писем Сенеки к Луциллию? Старые писатели с их неприукрашенным стилем и мощным реализмом кажутся нам современнее. II век нашей эры демонстрирует нам (тому есть веские доказательства) упрощение и даже ослабление творческой мысли в Риме. От этого предположения никуда не деться; его подтверждают литературное бесплодие и возврат изобразительного искусства к расплывчатости.

Действительно, в окружении Марка Аврелия нам встречается мало писателей, в его правление — мало произведений, не считая его собственного. Между тем свобода слова тогда была полной, что доказывают немногие авторы, воспользовавшиеся ею: Лукиан Самосатский, Апулей. Первый из них был сирийцем, второй африканцем. Рим зачитывался их писаниями, романом Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Чтение было легкое, захватывающее, похожее на сон; в романе действовали люди, превращенные в животных, веселые проходимцы, отбросы общества. У Лукиана и Апулея наверняка были последователи, известность которых быстро угасла. Мы вскользь говорили о них в связи с восстанием вуколов, с простонародными египетскими романами. Вокруг, если доверять дошедшим до нас отголоскам и отзывам, — удручающая пустота: ни одного эпического поэта, ни одного талантливого историка, ни одного вдохновенного оратора. Мы не берем в расчет христианской литературы — очень сильной, но практически лишь недавно, благодаря запоздалым переводам, вышедшей из подполья («Пастырь» Герма, «Октавий», «Послание к Диогнету» и «Против ересей» Иренея). Впрочем, надо отдать должное важным сочинениям Галена и Клавдия Птолемея, к сожалению, в значительной части утраченным.

Вся эпоха сводится к инвентарям, энциклопедиям и риторическим упражнениям. Она отсылает к известному и каталогизирует его, а не ищет нового. За неимением лучшего, важным считается сочинение грамматика Авла Геллия под интригующим заглавием «Аттические ночи» — серии зарисовок литературного быта. Одна из них кажется нам особенно показательной. Мы видим Фронтона в кругу друзей, видим, чем занималась пресыщенная элита.

«Однажды я пришел в гости к Фронтону, у которого сильно болели ноги. Мы нашли его на покойном ложе в греческом вкусе,

а вокруг сидело много друзей, все из высшего — по образованию, богатству и рождению — общества. Там же было несколько подрядчиков — строителей, которых Фронтон позвал для постройки нового бассейна. Они показывали ему планы на пергаменте. Фронтон выбрал один образец и спросил, сколько будет стоить работа. „Около трехсот тысяч сестерциев, да сверхсметно тысяч пятьдесят“, — ответил архитектор. Фронтон, велев ему прийти в другой раз, спросил одного из друзей, что значит „сверхсметно“. „Мне это слово незнакомо, — ответил тот, — надо спросить грамматика“. Нашелся и грамматик, но этот ученый сказал: „Такие слова до нас не относятся. Это выражение простонародное, из языка ремесленников“. Но Фронтон сердито возражал: „Как же ты можешь, учитель, считать это слово простонародным, когда Катон и Варрон считали его полезным и истинно латинским?“» — и так далее.

Нескончаемый спор о значении слова по поводу роскошного бассейна (300 тысяч сестерциев — годовое жалованье высокопоставленного чиновника) показывает, в какое тесное культурное пространство «новая софистика» замкнула римскую интеллигенцию. Видимо, с тех пор как Траян и Адриан наряду с миром и процветанием установили также определенную упорядоченность нравов, чистопробный конформизм сделал бесплодной творческую мысль. Патернализм Антонина тоже отнюдь не будил умы. И Марку Аврелию — чистому продукту этой системы — было не дано вернуть времена Августа и Мецената.

БАЛЕТ ФАМИЛИЙ

Структура римских имен подчиняется совершенно непонятным для нас правилам, обычаям и причудам[64]. Можно набросать такую схему происхождения и эволюции имени Марка Аврелия.

Во II веке человек из хорошей семьи был звеном в цепи почтенных предков; от них он и заимствовал по своему выбору «тройное имя»: praenomen — личное имя, nomen — фамильное и cognomen — прозвище. Таким образом, Марк Аврелий унаследовал от отца имя Марк Анний Вер. Но семнадцати лет он по приказу Адриана был усыновлен Антонином. При этом Антонин, в свою очередь усыновленный Адрианом, переменил имя, с которым жил пятьдесят лет: Тит Аврелий Фульвий (тройное имя его отца) Бойоний (фамильное имя прадеда по матери) Аррий (другой прадед по матери) Антонин (прозвище деда по матери). Отныне он звался Тит Элий Адриан (его

собственное имя плюс фамильное имя и прозвище Адриана) Антонин (прозвище, взятое, как мы только что сказали, от деда по матери). Взамен от отдал свое прежнее фамильное имя Аврелий приемному сыну, который стал Марком (собственное имя) Элием (фамильное имя Адриана) Аврелием Антонином (прозвище приемного отца), а собственное прозвище Вер отдал названому брату Луцию Коммоду, превратившемуся в Луция Аврелия Вера. В этой чехарде, на первой взгляд произвольно, но где все имело свой смысл, повторяется одно исконное имя — рода Аврелиев. Прозвище Антонин, которым Марк Аврелий часто называл себя при жизни, стало, как мы видели, источником многих исторических ошибок. В официальных публичных актах он именовался так называемой «титулатурой» — ежегодно обновлявшимся перечнем важнейших составляющих его верховной власти. Вот титулатура императора на 179 год (в 180-м, после смерти, он и сам стал «божественным»): Император Цезарь Марк Аврелий Антонин, сын божественного Пия, брат божественного Вера, внук божественного Адриана, правнук божественного Траяна Парфянского, праправнук божественного Нервы, Август, Великий Германский, Сарматский, великий понтифик, в тридцать третий раз облеченный трибунской властью, девятикратно провозглашенный императором, пятикратный консул, Отец Отечества.

РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ

Исследование «Размышлений» показало нам, что, проведя в этом сочинении поперечные разрезы, можно выделить рассуждения об одном предмете, причем необычайно напряженные для античного автора. Тот же эффект уплотнения произошел, когда разрозненные «Мысли» Цаскаля в посмертных изданиях сгруппировали по темам. В обоих случаях никто не может утверждать, что авторы именно так распорядились бы этими беглыми записями и что они вообще предназначали их для какого-то связного сочинения. Таким образом, всякая попытка восстановить целостность отрывков будет произвольной. И все же соблазнительно попытаться это сделать: результатом этого упражнения получаются настоящие эссе в классическом смысле этого слова. Мы уже набросали некоторые моралистические и метафизические опыты Марка Аврелия. Очень симптоматичным и показательным будет и то эссе, где он излагает свой интеллектуальный метод.

«Как все превращается в другое, к созерцанию этого найди подход и держись его постоянно, и упражняйся по этой части,

потому что ничто так не способствует высоте духа» (X, 11). Мы узнаем тот урок, за который он был благодарен наставнику Сексту: «Постигающее и правильное отыскание и упорядочение основоположений, необходимых для жизни» (I, 9). Но это не просто применение зазубренного правила, а постоянное усилие аналитического ума, смесь подхода юриста, тщательно подбирающего слова, с механицизмом стоического толка, стремящимся разобрать все идеи и вещи до элементарных частиц, чтобы найти объединяющий их принцип. «Всегда находить пределы и очертания тому или иному представляемому, рассматривая его естество во всей наготе, полно и вполне раздельно, и говорить себе как собственное его имя, так и имена тех вещей, из которых оно составилось и на которые распадается» (III, 11).

Страсть к номенклатуре здесь — свойство не научного ума, а прагматического моралиста, ученика Эпиктета: правильно жить — значит понимать, кто ты и где ты. «Ничто так не возвышает душу, как способность надежно и точно выверить все, что выпадает в жизни, и еще так смотреть на это, чтобы заодно охватывать и то, в каком таком мире и какой прок оно дает, и какую ценность имеет для целого, а какую для человека…» (Там же). Мы уже на пути к полному и точному исчислению составляющих, метод которого будет открыт гораздо позже: от палатки Марка Аврелия в области квадов — прямой путь к камину Декарта в области батавов: «Что оно, из чего соединилось и как долго длиться дано ему природой — тому, что сейчас создает мое представление? И какая нужна здесь добродетель — нестроптивость, мужество, честность, самоограничение, самодостаточность, верность и прочие. Вот почему всякий раз надо себе говорить: это идет от Бога, а это по жребию и вплетено в общую ткань, а это так получается или случай…» (Там же). Если вспомнить, что «общая ткань» тогда представлялась насмерть запутанным клубком, можно оценить, какие требования предъявлял такой ход мысли. Не имея ни интуиции, ни воображения, Марк Аврелий знал, что может рассчитывать только на исчерпывающее рассмотрение.

Без всякого сомнения, он именно для себя формулирует строжайшую линию поведения: «Не делай ничего наугад, а только по правилам искусства — только так достигается совершенная жизнь»[65]. Это слова не художника-жизнетворца, а ремесленника, усердно делающего свою работу. Мы уже много раз видели, как важно было для Марка Аврелия не разбрасываться, экономить время и силы. Он все время опасается как-нибудь случайно рассеяться: «Надо осознавать, что говорится — до единого слова,

а что происходит — до единого устремления. В одном случае сразу смотреть, к какой цели отнесено, а в другом уловить обозначаемое» (VII, 4). С этим связаны трезвость мысли и лаконизм: «Пусть вычурность не изукрасит твою мысль; многословен и многосуетен не будь» (III, 5); «И в сенате, и с кем угодно веди беседу благопристойно, не вычурно — здравой пусть будет речь» (VIII, 30); «Спеши всегда кратчайшим путем, а кратчайший путь — по природе, чтобы говорить и делать все самым здравым образом» (IV, 51).

Постепенно это формальное требование начинает довлеть над самой сутью мысли: «Приучать себя надо только такое иметь в представлении, чтобы чуть тебя спросят: „О чем сейчас помышляешь?“, отвечать сразу, что так и так…» (III, 4). Скупость мысли режет даже по живому: «„Мало твори, когда желаешь благочувствия“, — сказал Демокрит[66]… Ведь в большей части того, что мы говорим и делаем, необходимости нет, так что если отрезать все это, станешь много свободнее и невозмутимее. Вот отчего надо напоминать себе всякий раз: „Да точно ли это необходимо?“ И не только действия надо урезать, когда они не необходимы, но и представления — тогда не последуют за ними и действия сопутствующие» (IV, 24). Получается поистине качественный скачок мысли — вперед с точки зрения житейской мудрости и назад с точки зрения политической ответственности. Марк Аврелий отчаянно пытается ограничить круг своих занятий. Поскольку он никак не может присоединиться к анахоретам в пустыне, которых преследует его же полиция, то силится устроить пустыню в собственной душе: «До чего же нетрудно оттолкнуть и стереть всевозможные докучливые или неподходящие представления и тут же оказаться во всевозможной тишине» (V, 2). Это упражнение, по крайней мере в теории, проводится весьма радикально: «Сними свое мнение[67] — снимется „обидели меня“; сними „обидели“ — снята обида» (IV, 7).

Сотри, сними, удали — такое душевное расположение явно полностью противоречит долгу перед государством, которое в то же самое время велит: встречай, принимай, бери на себя. Компромисс находится в том, чтобы смириться с неизбежным и защищать главное. Отсюда двойственность политической морали, колеблющейся между самоотстранением и героизмом: «Можно не дать этому никакого признания и не огорчаться душой, потому что не такова природа самих вещей, чтобы производить в нас суждения» (VI, 52). В конце концов, иногда отвага государственного деятеля в том и есть, чтобы заявить о своем нейтралитете. Желание Марка Аврелия быть безразличным — не безответственность, а расчетливая сдержанность. Если хорошо

вглядеться в стиль его поведения, станет видно, что он все прекрасно понимал и тогда, когда предпочитал не вмешиваться. Видеть и предвидеть (то же, что английское «wait and see») — очень старый метод управления. Марк Аврелий правильно понимал, в чем его миссия: «Искусство жить похоже скорее на искусство борьбы, чем танца, потому что надо твердо и с готовностью к неожиданному, а не к известному заранее, стоять» (VII, 61).

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СТАТУИ

Среди чудес мысли и словесности, спасенных от огня и крыс, есть и конная статуя, чудесно избежавшая переплавки и коррозии. Впрочем, кажется, что она от сотворения мира стояла на Капитолийском холме — там, где ее поставил Микеланджело. Хотел ли художник сделать ее символом Возрождения? Чем он руководился — великими планами или простым архитектурным планом? Оправа была создана для драгоценного камня или камень для статуи?

Вполне возможно, что на этом месте мог бы стоять и другой всадник, но этот был под рукой и девать его было некуда. Имя Марка Аврелия для того времени было не бог весть какой рекомендацией, а его бронзовое изображение несколькими поколениями ранее благомыслящие иконоборцы чуть было не отправили в печь.

Дело в том, что этот всадник в позе императора долгое время считался Константином, и как статую Константина в 1187 году поставил «Коня» Климент III перед базиликой Сан Джованни ди Латрано, называвшейся также Константиновой. Откуда ее взяли? По-видимому, первоначально она стояла на Старом Форуме рядом с аркой Септимия Севера. Согласно исследованиям Луазеля, в 545 году она была вывезена из Рима при его разграблении готским королем Тотилой, но Велизарий по дороге в Остию отбил ее. Вернулась ли статуя на Форум? Потом она мелькнула в винограднике около Святой Лестницы, куда ее перенес в XI веке антипапа с тем же именем Климент III. Наконец, в 1538 году папа Павел III Фарнезе дал Микеланджело разрешение поставить ее на Капитолии.

Статуя простояла там спокойно всего четыреста лет. В 1982 году ее состояние сочли аварийным. На самом деле еще в 1835 и 1912 годах предпринимались попытки ее реставрации. Можно ли будет современными методами, которыми с ней работают уже восемь лет, вернуть ей первоначальный вид, чтобы водрузить на место? Так или иначе, для аутентичности всегда не будет хватать

третьей фигуры — коленопреклоненного варвара со связанными за спиной руками под копытом коня. Кто-то — может быть, и Микеланджело — рассудил, что это эстетически или нравственно неприемлемо. Образ Марка Аврелия от этого выиграл, но пострадала историческая истина, а потом и конская нога: она деформировалась.

Со статуей связаны странные легенды, как будто в нее переселились сомнения насчет самого императора. В 1616 году сенатору Орджо Альбато пришлось издать специальный декрет против тех, кто кидал в нее камни и грязь. Всего полвека спустя фигуру Марка Аврелия сняли с вершины колонны и поставили туда апостола Павла. Но конь остался волшебным. Римское простонародье верило, что «если конь станет золотым, значит, скоро конец света». Некая коллективная галлюцинация превратила косичку, заплетенную между конскими ушами, в сову, и люди говорили: «Когда ухнет сова, исчезнет Рим».

СТИЛЬ МАРКА АВРЕЛИЯ

Марк Аврелий как писатель изучен весьма недостаточно: литературоведы отсылают к философам, а те его не слишком жалуют. Как римлянин, писавший по-гречески, он не привлек особого внимания ни латинистов, ни эллинистов. В антологии он не попал рядом ни с Платоном, ни с Сенекой. Поэтому создалось впечатление, что мысль его не слишком оригинальна, а стиль не из лучших; отсюда и неуклюжие оправдания мнимой неуклюжести слога: говорили, будто свои мысли он набрасывал в палатке в часы бессонницы, что это сырой материал для будущего произведения и т. п. Кроме того, замечают ученые, никто не может сказать, на каком языке он думал: ведь Марк Аврелий пользовался двумя одинаково родными языками — греческим для философии, по моде на эллинизм, латинским для народа и повседневной жизни в Риме. Он должен был поминутно переходить с одного языка на другой, так же как, по собственным словам, ему приходилось почитать «и мать, и мачеху» — придворную жизнь и философию (VI, 12). Но стоит ли вступать в подобные споры, нуждается ли стиль Марка Аврелия в оправданиях?

Нелегко судить об изначальной ценности произведения двухтысячелетней давности — ведь мы плохо знаем понятийные рамки того времени. Страшны, как мы все учили в школе, ловушки дословного перевода, но еще страшнее — смысловые искажения. А ведь мы, за исключением немногих специалистов, вынуждены читать греческих и латинских писателей на наших

родных языках. Как мы можем быть уверены, что хорошо понимаем, что они хотели сказать; лучше ли они до нас доходят в несколько формалистических переводах классической эпохи или переделанные под современный стиль? Иначе говоря, где больше риск анахронизма?

Как ни поразительно, при современном состоянии классической филологии у нас нет ответа на этот вопрос. Семиотика, которая должна была бы стать ведущей дисциплиной исторических исследований, мало интересуется языком Сенеки и Марка Аврелия, которые кажутся обманчиво ясными. А между тем какие понятия стоят за привычными словами, под которые мы без проблем подставляем свои: libertas (свобода), gravitas (солидность), Fortuna (судьба)? Мы видели, как трудно перевести эпитет Pius, присвоенный Антонину, какие двусмысленности роятся вокруг «паратаксиса», в котором Марк Аврелий обвиняет христиан. На каждом шагу перед нами выбор и, может быть, предательский. Кроме того, мы плохо представляем себе, как откликались те или иные слова в картине мира римлянина, ибо мало изучили душу его общества, членом которого он был. Разве не ясно, что в этом обществе, заложником которого был человек, требования выживания племени еще смиряли сильные порывы индивидуализма, что торжествующей рациональности часто приходилось уступать магии?

При сравнительном исследовании наше внимание привлекут многие переменные — смотря по тому, какие эпохи и культурные процессы мы будем сравнивать. Время Марка Аврелия, как мы видели, служит прообразом прециозности XVII века, но оно же предвещает и энциклопедизм века Просвещения. Впрочем, его либерализм существует в контексте административного централизма и патернализма, которые мы обнаруживаем в мировых империях XIX века. Любое столетие Нового времени привязывало свою литературу, политическую мистику, архитектуру и символику к императорскому Риму, ссылалось на него. Кроме того, старались не забывать уроки Республики: постоянные искушения цезаризма и соответствующие им тираноборческие мифы — все это и есть возвратная лихорадка минувших веков. Сколько же идеограмм записано в нашу коллективную память, сколько всего приспособлено к обстоятельствам, изменяется вместе с языком!

Эти перемены и могут нарушить правильную передачу образов. Если облик Марка Аврелия дошел через века неизменным, если его «Размышления» всегда казались актуальными и животворными — то это потому, что его стиль чрезвычайно выразителен, а мысль убедительна.

И его секрет не стоит искать далеко. Он в искренности постановки вопросов нравственности, который ясен уже на самом первом уровне. Автор не блуждает, а постоянно идет по собственному следу, употребляя все средства прямой и настоятельной диалектики. Он не заботится о блеске, иногда повторяется, но если взглянуть поближе, то каждое новое доказательство одной и той же идеи привносит что-то свое, нажимает на какую-то новую точку. Никакие рассчитанные эффекты не увлекли бы читателя больше, чем эта спонтанная речь, которая хочет отнюдь не понравиться, а принудить к согласию.

Конечно, Марк Аврелий не мог избавиться от влияния своих многочисленных наставников. Фронтон и Герод Аттик тяжелой рукой вбили в него правила софистики, в частности, постоянное употребление сравнений. От них он перенял некоторые недостатки, например, тот, в котором упрекает его Жюль Ромен: «Ни одной фразы без редкого или трудного, во всяком случае чуждого общему употреблению слова». Но скорее здесь надо усматривать скрупулезное стремление к точности. «Осознавать, что говорится — до единого слова… Уловить обозначаемое» (VII, 4) — такая точность велит автору докапываться до корней слов и не бояться архаизмов, которые ввел в моду еще Адриан. Впрочем, изысканность, которую мы видели в переписке с Фронтоном, исправляется под влиянием Рустика: «Отошел от риторики, поэзии, словесной изысканности… письма я стал писать простые, наподобие того, как он писал моей матери из Синуессы…» (I, 7).

Может быть, он не во всем следовал урокам простоты Рустика, но уж точно от него он получил книгу Эпиктета, а через нее — сильнейший отпечаток этого мэтра стоицизма. Здесь мы не будем перечислять позиции философского учения, взятые Марком Аврелием у Эпиктета: тогда пришлось бы дойти до истоков системы (ведь Эпиктет тоже не был ее создателем). Стоическая философия в Риме утратила трансцендентность, довольствовалась самой общей метафизикой, откуда выводила до предела упрощенные правила личного поведения. Это поведение подчинялось нескольким предписаниям здравого смысла, но еще требовалось, чтобы они возобладали над всеми блужданиями чувств и ума. Человека следовало не увлечь радужными перспективами, а кратчайшим путем ввести внутрь самого себя, чтобы там он встретил наилучшего вождя — «гения» своей личности.

Чтобы центр тяжести личности вернулся в собственную природу, где человек почувствует согласие со всеобщей природой, Эпиктет призывает к экономии — средств,

устремлений, желаний и слов. Его поучения — перечень нарочито неискусно изложенных практических рецептов. Мы словно читаем пособие по правильному образу жизни (избегай ходить по театрам, будь благопристоен за столом, не смейся слишком громко, любовью занимайся с умеренностью и т. д.), но ясно видно, что внешнее поведение — гарантия душевного здоровья. Сравнения Эпиктета тоже банальны — кувшин, сандалии, сковородка, лук и тому подобное, — но они делают общедоступной мораль, которая все равно остается аристократической. Бывший раб поработал хорошо: новому императору оставалось только идти следом за ним, пользуясь собственным стилем.

Правила этого стиля те же: обращаться к читателю, много раз загружать одну мысль, заключать ее в возвышенные или обыденные сравнения, в строгие дилеммы, негодовать и тут же протягивать руку. Но природа Марка Аврелия побеждает условности, под ними бурлит жар, поминутно сталкивая автора с избранной позицией невозмутимости. Язык сердца не может быть сдержанным; сила и обилие образов ослепляют, как ни хочет писатель сделать их тривиальными.

В глазах мелькают пчелы, муравьи, бараны, реки, горы, алмазы, мешки и сундуки — всегда неожиданные, но искусно примененные. Прямые обращения докучали бы, не будь они выражением глубокого отчаяния: «Глумись, глумись над собой, душа!», «Поспешай же к цели», «Так что же ты тут делаешь, представление?» …Не будем видеть в этих обращениях простые школьные упражнения, а спросим себя: не выражалась ли здесь мысль Марка Аврелия самым непосредственным образом, если угодно — в первородном состоянии? «Размышления» написаны в эпоху господства риторики, когда литературные произведения диктовались и предназначались для публичного чтения, и сами они — мысли автора вслух. Если бы не было так, его политических и философских достоинств не хватило бы, чтобы сделать книгу цитатником, которым привыкли пользоваться даже многие наши современники. Конечно, здесь нечто большее, чем прямое действие гения, загадочная производная стиля…

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Марк Аврелий.

Фаустина Старшая, жена Антонина Пия.

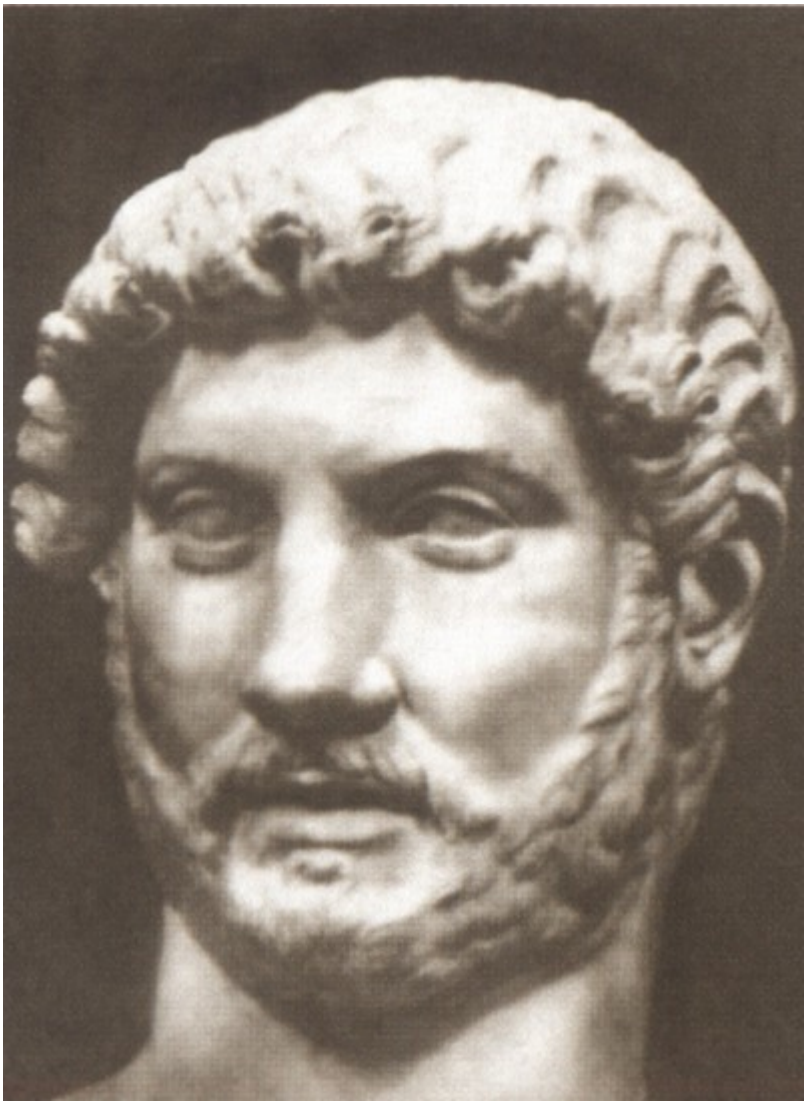
Фаустина Младшая, жена Марка Аврелия.

Марк Аврелий.

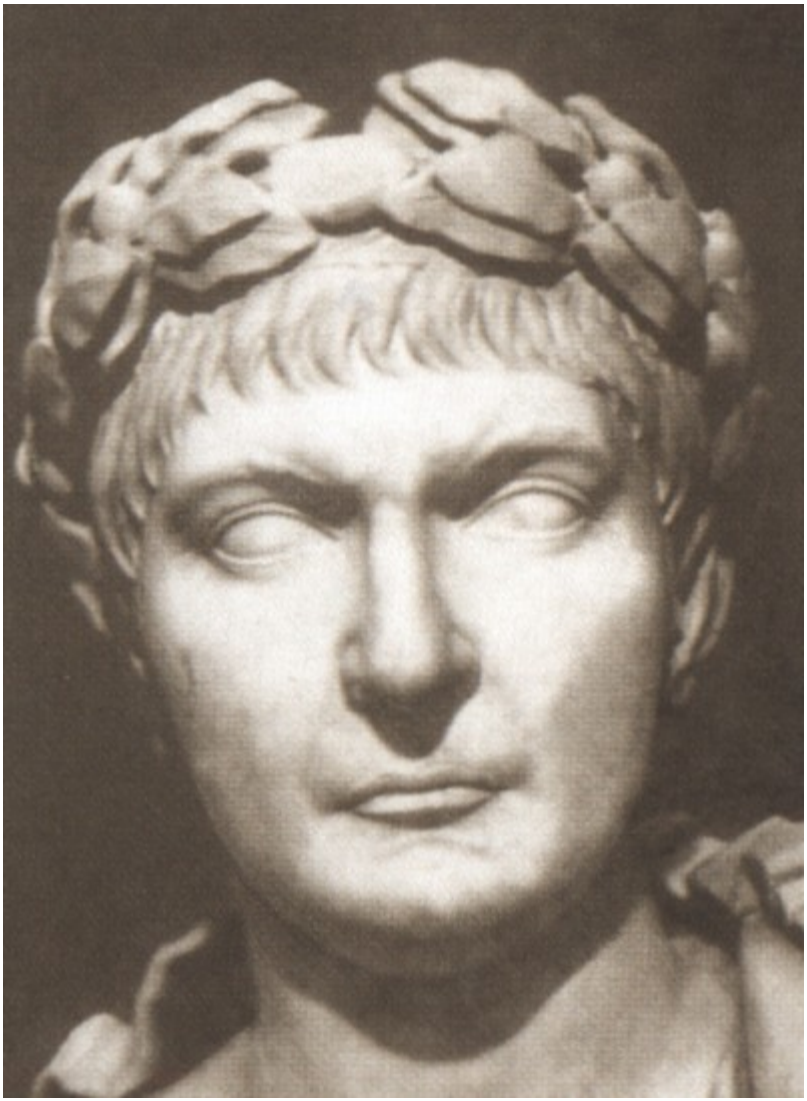
Памятник Траяну.

Колонна Траяна в Риме.

Арка Траяна в Беневенте.



Адриан.

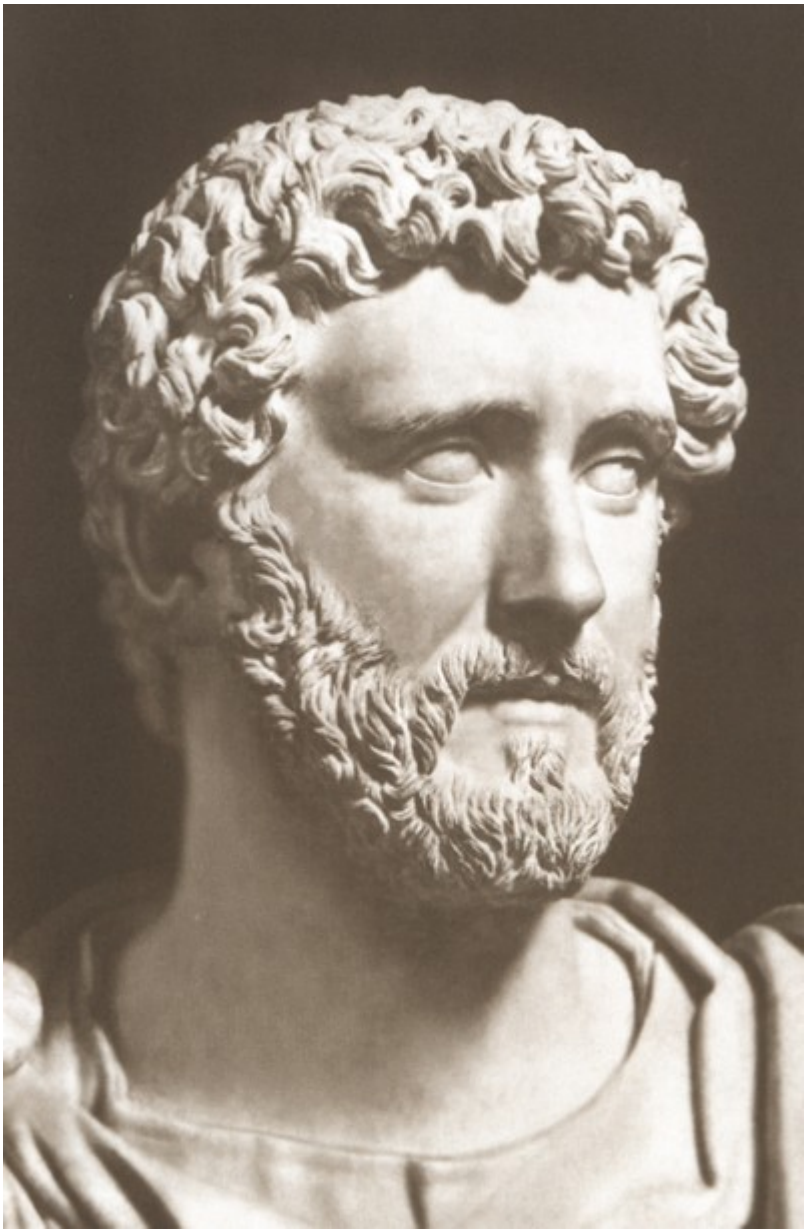


Траян.

Вилла Адриана в Тиволе.

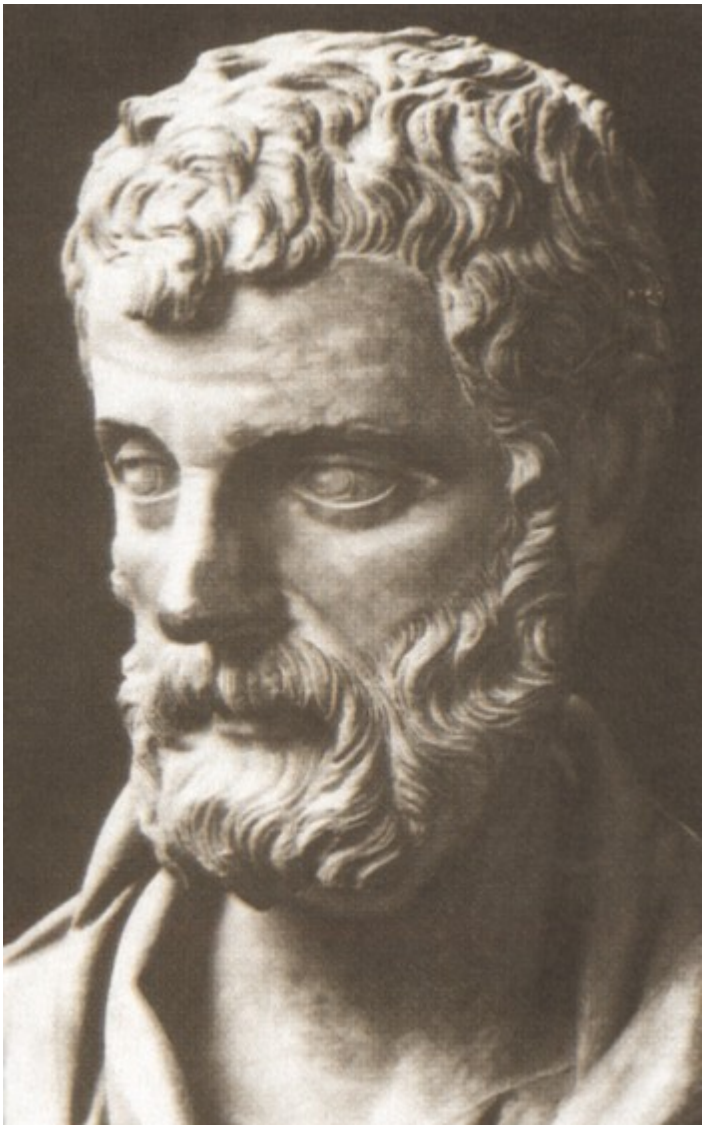
Антиной-Дионис. Деталь.

Статуя императора Антонина Пия в тоге.



Антонин Пий.

Луцилла.

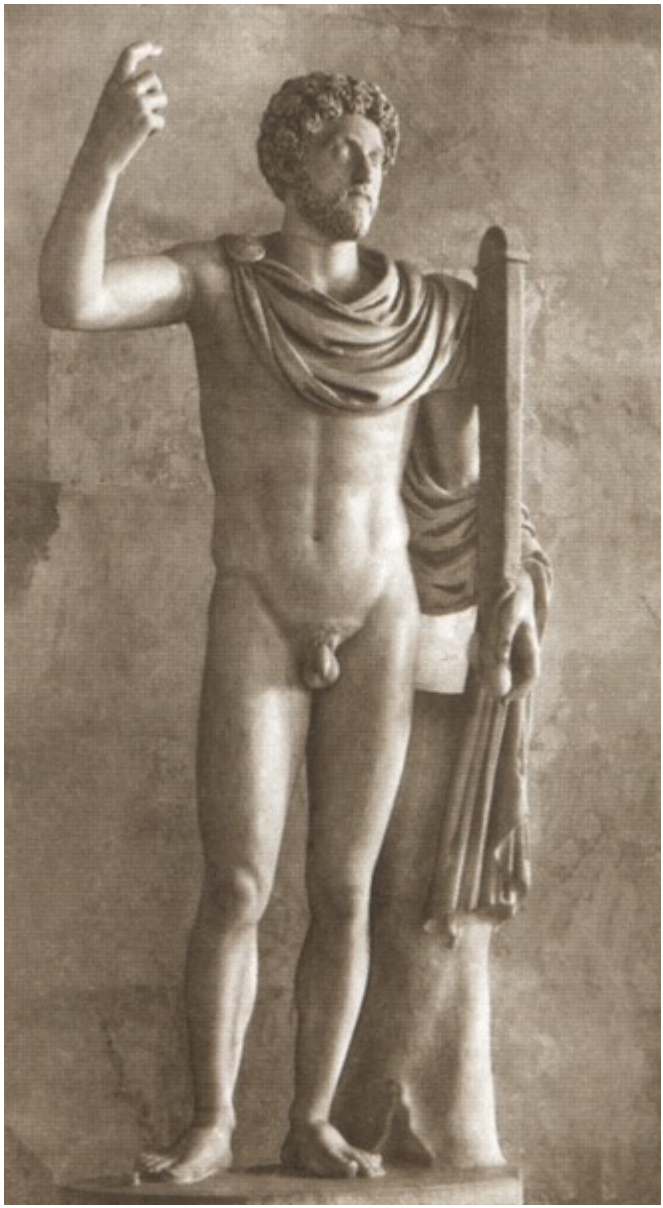


Герод Аттик, наставник и друг Марка Аврелия.

Кружок философов. Сцена с египетского саркофага.

Люций Вер.

Рельефная резьба арки Тита. Деталь.



Статуя Марка Аврелия.

Монета с изображением Марка Аврелия.

Военная сцена с колонны Траяна.

Марк Аврелий.

Коммод, сын Марка Аврелия.

Храм Антонина и Фаустины.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

ОТ КОНЦА РЕСПУБЛИКИ ДО МАРКА АВРЕЛИЯ

До н. э.

44 г., 15 марта — убийство Цезаря.

43 г., ноябрь — триумвират Октавия, Антония и Лепида.

43 г., декабрь — убийство Цицерона.

42 г., октябрь — битва при Филиппах. Гибель Брута и Кассия.

31 г., сентябрь — морская битва при Акции — победа Октавия над Антонием.

30 г., август — самоубийство Антония и Клеопатры.

27 г., январь — начало Империи. Октавий принимает титул Августа.

12 г., март — походы Друза в Германию и Тиберия в Паннонию.

Н. э.

4 г. — смерть наследника Августа Гая Цезаря в армянском походе.

9 г. — поражение Вара в Тевтобургском лесу.

11 г. — походы Тиберия и Германика в Германию.

14 г., август — смерть Августа. Императором становится его зять Тиберий.

15–16 гг. — Германик доходит до Эльбы.

28 г. — отъезд Тиберия из Рима на Капри.

37 г., март — смерть Тиберия. Императором становится правнук Августа Калигула.

41 г., январь — убийство Калигулы. Императором становится Клавдий.

43 г. — поход Клавдия в Британию.

47–49 гг. — поход Корбулона в Британию.

51 г. — вторжение парфянского царя Вологеза I в Армению.

54 г. — смерть Клавдия, отравленного Агриппиной. Императором становится Нерон.

58–62 гг. — поход Корбулона против парфян.

59 г. — убийство Агриппины.

63 г. — рандейский договор с Парфией о возвращении Армении.

68–69 гг. — самоубийство Нерона. Гражданская война. Императором становится Веспасиан.

70 гг. — осада и разрушение Иерусалима Титом.

79 г. — смерть Веспасиана. Императором становится Тит.

81 г. — смерть Тита. Императором становится Домициан. Дальнейшее укрепление границы с Германией: создание

Десятинных полей.

88 гг. — начало похода против Децебала и дакского царства.

93 г. — поход против язигов, квадов и маркоманов.

96 г. — убийство Домициана. Императором становится Нерва.

98 г. — смерть Нервы. Императором становится Траян.

101 г. — первая дакская война.

105–106 гг. — вторая дакская война. Присоединение Дакии. Создание провинции Аравия.

114 г. — завоевание и присоединение Армении.

115–116 гг. — война с Парфией. Завоевание Ассирии и Месопотамии. Траян доходит до Персидского залива.

117 г. — подъем восстаний на Востоке. Траян на обратном пути умирает в Селинонте (Малая Азия). Императором становится Адриан.

123 г. — нормализация обстановки на Востоке и в Дакии. Граница Империи установлена по Евфрату.

123–138 гг. — инспекционные поездки Адриана по провинциям. Укрепление границ. Строительство стены в Британии.

138 г. — смерть Адриана. Императором становится Антонин.

ЖИЗНЬ МАРКА АВРЕЛИЯ

121 г., апрель — родился Марк Аврелий.

128 г. — приступил к начальному образованию.

133 г. — начал среднее образование.

136 г. — надел взрослую тогу. Обручен с Цейонией Фабией, дочерью Луция Коммода, усыновленного Адрианом и ставшего Луцием Элием Цезарем. По приказу Адриана совершил самоубийство его шурин Сервиан; убит внук Сервиана Педаний Фуск.

138 г., январь — умер Элий Коммод.

5 февраля — Аврелий Антонин, дядя Марка по матери, усыновлен Адрианом, а Марк и юный Луций Коммод — Антонином. Дочь Антонина Фаустина обручена с Луцием Коммодом.

10 июля — в Байях умер Адриан. Антонин объявлен императором. Разорваны помолвки Марка с Цейонией Фабией и Луция с Фаустиной. Марк обручен с Фаустиной. Антонин получил прозвище Пий.

139 г. — Марк переселяется на Палатин и приступает к высшему образованию, преимущественно под руководством Фронтона.

140 г. — Марк в первый раз назначен консулом и введен в Императорский совет.

143 г. — консульство наставников Марка Герода Аттика и Фронтона.

145 г. — второе консульство Марка вместе с Антонином. Весной заключил брак с Фаустиной.

147 г., 30 ноября — родилась старшая дочь Марка и Фаустины Домиция Фаустина. Фаустина объявлена Августой, Марк получил трибунские полномочия.

148 г. — девятисотая годовщина основания Рима.

150 г. — родилась вторая дочь Марка Луцилла.

154 г. — консульство Луция.

161 г. — консульство Марка и Луция. 7 марта — смерть Антонина. В возрасте 39 лет становится императором. Принимает имя Цезарь Марк Аврелий Антонин Август. Объявляет соправителем своего названого брата Луция.

31 августа — родились близнецы Антонин и Коммод. Наводнение на Тибре. Парфяне переходят в наступление в Армении. Разгром римлян под Элигией.

162 г. — Луций отправлен на Восток. Родился Анний Вер.

163 г. — отвоевана Армения.

164 г. — свадьба Луция и Луциллы в Эфесе.

165 г. — смерть маленького Антонина.

166 г. — победа над парфянами. Начало чумы.

Октябрь: возвращение Луция и триумф в Риме. Коммод объявлен Цезарем.

167 г. — чума достигла Европы. Германцы переходят в наступление на Дунае и грозят Риму.

168 г. — Марк и Луций отправляются на войну. Зимовка в Аквилее.

169 г., январь — умирает 39-летний Луций. Марк возвращается в Рим.

Луцилла выходит замуж за Клавдия Помпеяна. Смерть семилетнего Анния Вера.

Осень — Марк отправляется на Дунай.

170–175 гг. — первая германская война.

170 г. — родилась младшая дочь Марка Вибия Сабина. Неудача римского контрнаступления. Германцы врываются в Северную Италию.

172–173 гг. — Марк в Карнунте. Победа над германцами.

174 г. — поход против язигов. Марк Аврелий в Сирмии. К нему приезжает Фаустина.

175 г. — мятеж узурпатора Авидия Кассия на Востоке. Мир с язигами. Коммод вызван в Сирмий. Отъезд на Восток. Гибель Авидия Кассия.

176 г. — Зима в Египте.

Весна — в Галале (Малая Азия) умирает Фаустина[68]. Остановка в Афинах и Элевсине.

23 декабря — триумф в Риме.

177 г., январь — Коммод в возрасте шестнадцати с половиной лет объявлен соправителем.

178 г. — брак Коммода с Бруттией Криспиной.

3 августа — оба императора отправляются на Дунай (вторая германская война).

179 г. — победы римлян и мирные переговоры.

180 г., 17 марта — Марк Аврелий умер в возрасте 58 лет.

ОТ СМЕРТИ МАРКА АВРЕЛИЯ ДО ДИОКЛЕТИАНА

180 г., октябрь — возвращение Коммода в Рим.

182 г. — заговор Луциллы, ее гибель и казнь ее сообщников. Падение Таррутения Патерна. Перенн остается единственным префектом претория.

185 г. — падения Перенна и возвышение Клеандра.

186 г. — волнения в Галлии (война дезертиров), бунт в Британии, натиск германцев на Дунае.

189 г. — Эклект свергает Клеандра.

192 г., декабрь — убийство Коммода. Императором становится Пертинакс.

193–197 гг. — убийство Пертинакса. Междоусобица Дидия Юлиана, Септимия Севера, Нигра и Альбина.

197 г. — Септимий Север остается единственным императором. Новая война с Парфией. Оккупация Месопотамии.

208 г. — поход Севера в Британию.

211 г, — Септимий Север умирает в Йорке. Каракалла, убив Гету, становится единовластным императором.

212 г. — «Антонинова конституция»: все свободные мужчины получают римское гражданство.

213–218 гг. — столкновения Каракаллы с германцами, язигами, квадами. Первое упоминание об аламанах.

215 г. — Каракалла выступает против парфян.

217 г. — Каракалла убит под Карами.

217 г. — императором становится узурпатор Макрин, бывший префект претория.

218 г. — Юлия Меса возводит на престол своего внука Гелиогабала.

222 г. — убийство Гелиогабала. Императором становится Александр Север по протекции своей матери Юлии Маммеи.

235 г. — Александр Север и Юлия Маммея убиты в Германии. Императором становится фракийский военачальник Максимин, продолживший войну с аламанами и язигами.

238 г. — Максимин убит солдатами, его сменяют кандидаты

от сената: Гордиан, Бальбин и другие. Готы и карпы проникают за оголенную дунайскую границу.

241 г. — Парфянских Аршакидов сменяют персы — Сасаниды. Сапор I отвоевывает Месопотамию.

244 г. — Гордиан III возвращает римлянам Месопотамию. Филипп Араб, узурпировавший власть, отражает готов.

247 гг. — Тысячелетие Рима.

249 гг. — Декий узурпирует власть в Империи и проводит жестокие гонения на христиан.

252 г. — первое нашествие аламанов и готов на Галлию. Новый император Валериан ведет войну на всех фронтах.

259 г. — Валериан попадает в плен к Сапору, а следом за ним его сын Галлиан.

270 г. — Император Аврелиан с трудом сдерживает аламанов на Роне и готов в Малой Азии, разрушает Пальмирское царство, завоеванное царицей Зенобией, и отвозит царицу в Рим.

275 г. — Аврелиан убит во Фракии.

275–284 гг. — период военной анархии и разбойничества.

284 г. — Диоклетиан, военный из Иллирии, объявлен императором. Он реорганизует империю под коллегиальной властью.

305 г. — Диоклетиан отрекается от престола. После него до V века правило еще около тридцати императоров, в том числе Константин (306), Юлиан (361), Феодосий (379) и, наконец, Ромул Августул (475). Напомним также, что в 410 году вестготский вождь Аларих взял Рим и разграбил его.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю благодарность профессору Жану-Луи Вуазену, любезно согласившемуся прочитать мой труд в свете последних открытий и научных исследований, в которые он вложил и свой весомый вклад.

Не могу не высказать признательности Центру изучения античного права при Парижском университете под руководством профессора Мадлена, а позже профессора Энбера. Там я встретил драгоценную помощь г-жи Перрен-Марешаль, г-жи Жоливе и г-жи Сотро, одаривших меня нежданными сокровищами, хранящимися в залах Коллине и Ноай.

Благодарю свою жену Элен, терпение и доверие которой сопровождают меня на столь поздно избранной стезе исследователя истории Римской империи.

Франсуа ФОНТЕН

notes

Примечания

1

Перевод С. М. Роговина.

2

Перевод С, М. Роговина.

3

Перевод С. М. Роговина.

4

Авторы жизнеописаний августов. Перевод С. П. Кондратьева.

5

Перевод С. П. Кондратьева.

6

Здесь и далее цитируется перевод А. К. Гаврилова по изд.: *Марк Аврелий Антонин.* Размышления. Л., 1985 (отдельные исключения оговариваются). Ссылки на этот текст — далее без указания источника. — *Прим. пер.*

7

Во времена Республики мог быть назначен диктатор, но не более чем на шесть месяцев. Только со времен Суллы честолюбивые полководцы стали стремиться силой установить диктатуру на неопределенный срок. Правда, это вызывало гневный протест республиканцев. — *Прим. науч. ред.*

8

Октавий, будущий Август, был сыном сенатора, хотя и незнатного рода. Провинциалом он не был. — *Прим. науч. ред.*

9

Ему было 56 лет, когда он наследовал Августу. — *Прим. науч. ред.*

10

Адриан родился в Риме. Отец его был двоюродным братом Траяна и был воспитан своим дядей. — *Прим. науч. ред.*

11

Марк Аврелий, по-видимому, читал не Катона Младшего, стоика, а знаменитого оратора II века до н. э. Катона Старшего. — *Прим. науч. ред.*

12

См.: Приложение «Балет фамилий».

13

Различия между патрициями и плебеями отошли в глубокое прошлое. — *Прим. науч. ред.*

14

Туника.

15

Пусть меч уступит тоге — слова Цицерона. Тога — одежда мирного гражданина. — *Прим. науч. ред.*

16

Обращение Адриана к собственной душе. — *Прим. науч. ред.*

17

Это неверно. Достаточно сказать, что из двенадцати Цезарей, описанных Светонием, обожествления удостоились пять, то есть меньше половины. — *Прим. науч. ред.*

18

См.: Приложение «Балет фамилий».

19

Здесь перевод наш с французского текста с учетом перевода А. К. Гаврилова. — *Прим. пер.*

20

См.: Приложение «Недостаток письменных памятников».

21

Лампадарий — слуга-факелоносец.

22

Аристотель был воспитателем Александра Македонского; но Платон не был наставником царевичей. — *Прим. науч. ред.*

23

Зеленые и Синие — спортивные команды в Цирке, имевшие многочисленных болельщиков. Пармуларий (от *parmula* — маленький щит) — фракийский боец-гладиатор. Скутарий — гладиатор в галльском вооружении. — *Прим. науч. ред.*

24

Дан примерный пересказ русского перевода, соответствующий французскому тексту. — *Прим. пер.*

25

Они приходились не сыновьями, а внуками Августу, детьми его дочери Юлии, однако Август усыновил их и воспитывал как своих наследников. — *Прим. науч. ред.*

26

Трибун времен Республики имел право наложить вето на любое решение сената или должностного лица. — *Прим. науч. ред.*

27

См.: Приложение «Без писателей».

28

Я не достоин.

29

См.: Приложение «Балет фамилий».

30

Германские племена, которые вторглись в Италию и все сокрушали на своем пути. Были разбиты Марием у Варцелл в 101 году до н. э. — *Прим. науч. ред.*

31

Календы — первое число месяца. — *Прим. науч. ред.*

32

Лукиан называет эту красавицу даже «супругой Цезаря». Марк Аврелий после смерти Вера напишет с горькой иронией: «Сидят ли поныне Пантея и Пергам у гробницы Вера?.. Уже самый вопрос смешон». VIII, 37. Пер. С. М. Роговина. (Пергам — вольноотпущенник Вера). — *Прим. науч. ред.*

33

Общий город.

Евксинское море — Черное море.

35

Наше море — римское название Средиземного моря.

36

Марий — реорганизатор римской армии (конец II века до н. э.) — заставлял воинов нести тяжелую поклажу и выполнять трудные работы. За это их прозвали «Мариевы мулы». — *Прим. науч. ред.*

37

Квириты — римские граждане.

38

Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы, 2 / Пер. А. С. Бобовича. — *Прим. пер.*

39

См.: Приложение «Рассуждение о методе».

40

Album — букв, «белая таблица». На такие таблицы заносились распоряжения преторов, списки и прочие официальные бумаги. — *Прим. науч. ред.*

То есть по окончании династии Флавиев. — *Прим. науч. ред.*

42

Corona muralis — почетная награда — золотой венок, украшенный изображением стенных зубцов. — *Прим. науч. ред.*

43

«Германия» Тацита цитируется по переводу А. С. Бобовича. — *Прим. пер.*

44

Смерть Люция.

45

Асклепий (*лат.* Эскулап) был богом, покровителем всех врачей. Его храмы — асклепейоны — были в то же время лечебницами. — *Прим, науч. ред.*

Апофеоз — обожествление. — *Прим. науч. ред.*

47

Такие парики или крашенные в золотой цвет волосы были в моде, по крайней мере начиная с Августа, а вероятно, еще и при Республике. — *Прим. науч. ред.*

48

Первое издание Марка Аврелия представляло собой греческий текст с латинским переводом и примечаниями. Издание это послужило образцом для последующих изданий 1568, 1590, 1628 годов, причем последнее вводит впервые деление книг на параграфы. Цюрихское издание Ксиландра представляет огромную ценность, так как это единственная копия с утерянного Палатинского списка. Второй список, Ватиканский, находится в неудовлетворительном состоянии. В 1652 году в Англии было выпущено четырехтомное научное издание с новым латинским переводом, прекрасными комментариями и конъектурами. — *Прим. науч. ред.*

49

Των εισ ε'λυτόν (Ton eis heaton). Этот подзаголовок в испорченном Ватиканском списке вовсе отсутствует. Поэтому подлинность его долго вызывала сильные сомнения. Но затем его удалось дважды констатировать в одном из неполных списков. Так что теперь он имеет полное право на существование. — *Прим. науч. ред.*

50

См.: Приложение «Стиль Марка Аврелия».

51

Сохраняем неточность французского перевода (повелительное наклонение вместо неопределенного), поскольку она больше соответствует авторскому тексту. — *Прим. пер.*

52

Сын Клавдия, почитавшийся его законным наследником. Был отравлен Нероном. — *Прим. науч. ред.*

53

Имеется в виду роман Псевдолукиана (прежде его приписывали самому сатирику) «Лукий или осел», написанный на тот же сюжет, что и «Золотой осел» Апулея. — *Прим. науч. ред.*

54

Водяные часы, отсчитывающие время оратора. — *Прим. науч. ред.*

55

Имеется в виду убийца Цезаря, друг и соратник Брута. — *Прим. науч. ред.*

Автор ошибается. Таким центром Александрия стала еще в III веке до н. э. Там учился знаменитый Архимед, была создана первая гелиоцентрическая модель мира и т. д. — *Прим. науч. ред.*

57

Считалось, что только мисты наследуют жизнь вечную. Все остальные пребывают во мраке Аида. — *Прим. науч. ред.*

58

Перегрин, согласно Лукиану, был преступник и обманщик. Одно время он входил в христианскую общину и даже пользовался большим влиянием. Но потом христиане разоблачили его и изгнали. «Распятым софистом» Лукиан называет самого Христа. — *Прим. науч. ред.*

59

В переводе А. К. Гаврилова «переноси». — *Прим. пер.*

Перевод М. Е. Сергеенко. В оригинале текст Августина дан в пересказе. — *Прим. пер.*

61

В переводе А. К. Гаврилова. Согласно другому чтению: «…у каждого жизнь — и все»; «…не стыдилась перед собою и в душе других отыскивала…»

Перевод С. М. Роговина.

63

См: Приложение «Злоключения статуи».

64

Во времена Республики имя гражданина подчинялось четким правилам. Но во времена Империи правила эти поколебались и действительно царил произвол. — *Прим. науч. ред.*

65

Окончание фразы, вероятно, добавлено во французском переводе для прояснения общего смысла. — *Прим. пер.*

66

«Сказал Демокрит» — глосса из французского текста. — *Прим. пер.*

67

Так во французском тексте; перевод А. К. Гаврилова дает другой смысл. — *Прим. пер.*

Серьезные современные историки (Бирли, Ле Гле) относят смерть Фаустины к осени 175 года, считая, что она умерла по пути в Египет. Мы пока не решаемся принять их точку зрения.